Патрик
Уайт

XX
век
The BEST

Какаду

[повести и рассказы]



Какаду
Патрик Уайт

Аннотация
Патрик Уайт. Какаду
Женская рука. Повесть
Ночь мародера
Сытое брюхо
Двадцать минут шестого
Сицилийская вечерня
Какаду

Аннотация

Повести и рассказы Патрика Уайта, вошедшие в сборник «Какаду», впервые опубликованный в 1973 году и успевший войти в классический фонд не только австралийской, но и мировой литературы XX века, – это своеобразный «мир одиночества», населенный людьми, лишенными способности «разговаривать». Кто бы они ни были и где бы они ни жили – в тихих буржуазных городках и уютных пригородах процветающей послевоенной Австралии или голодной, пронизанной кромешным ужасом немецкой оккупации Греции, – каждый из них несет в себе свой собственный ад и борется со своими демонами в одиночку. Любая попытка пробить стену тотального одиночества приводит лишь к еще большему непониманию и отдалению друг от друга даже самых близких и любящих. В воздухе разлито ощущение скорой трагедии, избежать которой может помочь лишь чудо… и иногда оно происходит – причем не в метафорическом, а в самом прямом и буквальном смысле этого слова…

Патрик Уайт
Какаду

Patrick White
THE COCKATOOS
(collection)

© Patrick White, 1966, 1968, 1974
© Перевод. Н. Виленская, 2019
© Перевод. Е. Калявина, 2019
© Перевод. Р. Облонская, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Женская рука

Повесть

Ветер бушевал среди скал, сметал отражения с листьев зеркальных кустов, терзал извечных мучеников — местные деревья. Некогда суровый ландшафт — вырвавшаяся к морю длинная скалистая гряда и вечнозеленые заросли — теперь был лишен своего естественного выражения из-за чуждых ему домов, что лепились к скалам так же упорно, как воск к больным ветвям апельсиновых деревьев. Не то чтобы дома эти, почти все, были неприятны на вид, в иные, хоть бы и в «Очаровательный приют», стоило вломиться. Владельцы, конечно же, сознавали это и, однако, выставили напоказ за цельным зеркальным стеклом чуть не все свое достояние. Им явно хотелось любоваться открывающимся видом, но в конце концов, похоже, он стал их угнетать. Или прискучил. Владельцы очаровательных прибрежных домов сидели в своих отнюдь не монастырских обителях и играли в бридж, слизывали с пальцев шоколад, а в одной занимались любовью на широченной постели, покрытой розовым шенилем.

Ивлин Фезэкерли отвернулась. Во всяком случае, день, можно сказать, божественный. Она запыхалась, так быстро шел Хэролд, да и воздух был пронзительно резкий.

— Шел бы помедленней, — предложила она, желая напомнить о себе. — Ты ж на пенсии.

Подобные замечания Хэролд пропускал мимо ушей. В их браке такого предостаточно. И нет в этом ничего неприятного.

Быть может, оттого, что ему пришлось уйти на пенсию так неожиданно, так внезапно, в это с трудом верилось, и он искал спасения в постоянной смене мест, хотя было у них и свое пристанище — они снимали квартиру.

Ивлин опять покосилась на зеркальные окна теснящихся друг к другу домов. Слепящий свет, что заливал все вокруг, и физическая усталость от необязательной, но целительной прогулки всколыхнули в ней жаркую волну желания, какую могут вызвать лишь причины материальные.

— До чего вульгарно все это выглядит, — сказала она.

И ее сразу отпустило.

— Что плохого в роскоши?

Если голос Хэролда прозвучал устало, виной тому не усталость от прогулки — физически он

по-прежнему в отличной форме, — но воспоминание о лепнине в новотюдорском стиле напротив их квартиры в новотюдорском стиле.

— Ну послушай! — сказала Ивлин. — Есть же определенные нормы, тот, кому они известны, не вправе ими пренебрегать.

Ивлин они были известны. И Хэролду тоже. Да только его не очень это заботило.

Опять он ломал голову все над той же загадкой — как ему, пенсионеру, теперь жить. Прежде он обычно говорил: когда уйду на пенсию, стану читать книги, которые купил и так и не прочел, перечитаю «Войну и мир» и, быть может, пойму Достоевского. Возможно, напишу что-нибудь сам, что-нибудь солидное, достоверное — о хлопке в Египте или путевые записки. Быть может, статью-другую для «Черного леса». Меж тем на пенсии все оказалось совсем иначе. Уж скорее это походило на затянувшееся ожидание мига какого-то откровения или свершения, не зависимое от книг, от чужих умов и лишь отчасти зависящее от самого себя.

Повезло ему, что есть Ивлин.

— По-твоему, эта дорога куда-нибудь ведет? — спросила она и улыбнулась окружающему их простору.

Хотя ее можно было ошибочно принять за женщину слабенькую и ей нравилось воображать, будто она нуждается в защите и опоре, была она скорее не хрупкая, а выносливая, жилистая. Правда, иной раз, когда подвергалась испытанию ее чувствительность, у нее болела голова, но физической усталости она почти не знала. Ее беда в том, заявляла она, что она никак не найдет, чем занять свой неугомонный ум. Сидеть сложа руки она не способна. Пожалуй, следовало бы заняться благотворительностью, затеять что-нибудь вроде столовых на колесах. Она умеет разговаривать с пожилыми людьми, и такое испытываешь удовлетворение, видя по их старым лицам, что тебе признательны за совет.

— А почему бы ей не вести куда-нибудь? — спросил Хэролд.

— Прошу прощенья?

— Я о дороге. Сегодня день загородной прогулки, верно?

— Да, — сказала она. — Такое у нас было намерение.

В закусочной, на шоссе, в саду с декоративными каменными горками, им подали отвратительный второй завтрак — обуглившиеся отбивные и зажаренный банан, сваленные вместе на лист

салата-латука. После этого только и оставалось пойти по одной из боковых дорог.

Ивлин нарвала букетик трав и глубоко вдохнула их аромат, слишком глубоко, так что мгновенно перенеслась в ту пору, когда еще мало что понимала.

— Да, — сказала она, — нам повезло, о еде можно не беспокоиться. И о климате. Австралийский климат. Представляешь, окажись мы на месте Бердов. Заправляли бы этой жуткой станцией обслуживания. Не говоря ни о чем другом, в долине Темзы такая сырость.

Хэролд все шел упругим шагом, под ногами похрустывал песок. Ивлин ощущала приятный запах трубочного табака. Она предпочитала общество мужчин по той простой причине, что любила нравиться. Женщинам не нравилась ее прямота.

— Выходит, хорошо, что мы австралийцы, — сказала она.

Но опять кольнуло ощущение вины. И она уткнулась подбородком в букетик серебристых трав.

— Как по-твоему, Уин Берд и правда работает на этой их станции обслуживания? — спросила она как бы между прочим. — Заливает бензин в

чужие машины?

— Если так она тебе написала.

— Иные женщины не слишком правдивы, — сказала Ивлин. — А Уин, сам знаешь, всегда была склонна все драматизировать. — Она сказала это со смешком, какой приберегала для тех, с чьими недостатками вынуждена была мириться.

Похоже, Хэролда это ничуть не трогает.

— Все равно, заливает она бензин или нет, просто думать об этом не могу, — продолжала Ивлин. — Уин и Дадли — на станции обслуживания!

Она скорбно сжала губы, словно беда эта приключилась с ней самой.

— Большинство попало в такой же переплет, — сказал Хэролд. — Большинство англичан… После Суэца.

— Но ведь Берды многое могли продать и купить, — возразила Ивлин. — Одна эта лестница, которую они вывезли из Италии, наверно, стоила больше всего, что было у других.

Она намеренно не включила в их число себя с Хэролдом.

— Ну до чего была прелестная лестница! — вздохнула она. — Розового мрамора.

Приглашенные поднимались по розовым сту-

пеням, Берды встречали их наверху — одних с заученной сердечностью, других с иронией, замаскированной под тактичность. Ивлин, женщина неглупая, все это понимала и всегда радовалась, что над ней Уин и Дадли не иронизируют. Оттого что Хэролд управлял их делами в стране с населением неподходящего цвета кожи, она была, можно сказать, членом семьи Бердов.

Уин Берд получала наслаждение от приемов. Она не могла устоять против маскарадного костюма. Ее красивые длинные бедра и ноги были созданы, чтобы выставлять их напоказ, и она этим пользовалась. Взять хоть червонного валета из золотой парчи в год, когда Богач проявлял к ней слишком горячий интерес. Несмотря на скандал, Уин, наверно, была безмерно довольна, что пренебрегла такой персоной. В то лето, когда Фезэкерли проводили свой затянувшийся отпуск в Австралии, Уин настояла, чтобы Ивлин взяла с собой червонного валета: он так пригодится на пароходе, а потом можно его кинуть за борт. Ивлин согласилась только потому, что не умела отказывать. Хотя, конечно же, она никогда не носила ничего такого вызывающего, уж не говоря непристойного, как никчемушная туника Уин. И во время плавания и после Ивлин с грустью

думала о щедром подарке их работодательницы, стараясь при этом не вспоминать о своих всегда довольно тощих бедрах. Когда плавание закончилось, она костюм продала.

— Может, Уин и сумеет приноровиться к заправочной станции, — сказала она Хэролду. — Есть в ней эдакая жилка. Не то чтобы вульгарность. Грубоватость. Наверно, люди правду говорили.

— О чем?

— Да ты знаешь. Что была хористкой.

— Не помню, — сказал Хэролд, а она уверена, он помнит.

— Бедняжка Уин, сердце у нее золотое. Но до чего ж некрасива!

— Физиономия козья, а фигура — что тебе статуя. Не всякой женщине такое везенье.

— Ох, Хэролд, разве можно так!

— А что особенного? Иные мужчины неравнодушны к козам и даже, говорят, к статуям.

— Ох, Хэролд, это ужасно! Это извращенность!

Но она была рада. Рада случаю произнести словечко из языка посвященных.

Дома преуспевающих владельцев, рассыпавшиеся по горной гряде, казалось, подпрыгнули, одобряя ее веселую умудренность. Но дома явно встречались все реже. Да к тому же из расщелины

подул ветер, и ей стало холодно. Вспыхнувший было смех дрогнул и погас.

— Я очень надеюсь, войны не будет, — сказала Ивлин.

— С чего это ты вдруг?

— Из-за моих скромных капиталовложений, разумеется. Хороши бы мы были без них.

— В пиковом положении, как все прочие.

Спорить Ивлин была не готова. Что бы там Хэролд для себя ни решил, а она — не прочие.

Дорога превратилась в едва заметный рубец на песчанике по низу все не кончающегося кряжа.

— Вот видишь, я говорила, она заглохнет, — сказала Ивлин. — Кому взбредет в голову строиться на такой бесплодной земле, разве что совсем чокнутому.

Потом, на последнем всплеске исчезающей дороги, глазам представился исхлестанный непогодой дощатый домишко.

— Кто-то здесь все-таки поселился, — сказал Хэролд.

— Что? Здесь? В такой лачуге!

И вправду, деревянный домишко иначе как лачугой не назовешь. Он притулился прямо к скалистому утесу, и сработали его, видно, без намека на свободу и мастерство. Этот беззащитный плод

неумелых усилий возбудил в Ивлин яростное презренье. А Хэролда непринужденность, что ощущалась в неуклюжих пропорциях, в кривой, хлипкой деревянной лестнице и открытой в сторону моря веранде, растрогала, пробудила тоску по чему-то, что никогда ему не давалось. Наверно, с таким же успехом можно увидеть в этом домике и лачугу или представить, как ворочаются на соломе большие мягкие звери или огромные шелковистые птицы созерцают океан из-за деревянных перекладин. Воображение часто его выручало, хотя жене он никогда бы в этом не признался.

Но тут действительность озадачила Хэролда Фезэкерли.

На наружной наклонной лестнице возникла голова, лицо, широкие плечи заслонили крышу, дорогу, и человек заглянул в почтовый ящик, при этом явно не ожидая никаких писем.

А потом все с тем же выражением сомнения и надежды лицо неизвестного обратилось к путникам.

И тут Ивлин услышала, как ее муж не позвал — скорее проговорил растерянным, не своим голосом. Дико было слышать этот тонкий голос от такого Хэролда:

— Клем! Клем, ты? Даусон?

На красном, обветренном лице под жестким ежиком волос выразилось застенчивое признание. Ивлин пришла в ярость. Слишком много об этом человеке она знала наперед. Тугодумы вызывали в ней бешенство, почти такое же зримое, как кровь. О да, она знала!

Хэролд запинался от волнения:

— Ивлин, помнишь Клема?

И он обернулся к жене.

Пораженная, она увидела: он вдруг помолодел. Нет, спешить ей незачем.

— Клем Даусон?

Она могла бы гордиться своей неспособностью вспомнить.

— «Симла». «Непал», — подсказывал Хэролд.

И вот смутно, со вздохами она стала припоминать, позволила себе припомнить грузного инженера-механика на одном пассажирском пароходе, потом на другом. С тех пор солнце и ветер изрядно его подсушили. В те дни, в жаре и духоте машинного отделения, он был румяный, лоснящийся, точно сдобный пирог. Плотный. Позже, на берегу, она могла бы узнать его лучше, но ей это не удалось.

— А, да, конечно.

Независимо от своих чувств приходится соблюдать приличия, и Ивлин пустила в ход свои чары. Но корабельные механики всегда были ей не по вкусу. Начальники интендантской части в нынешние времена почти все народ компанейский, старшим помощником капитана иной раз можно и пленириться, а механики, даже когда заказывают на всю компанию коктейль «Дама в белом», кажется, все равно пребывают в недрах корабля со своими двигателями, или как оно там называется.

— Вот, оказывается, где вы спрятались! — Ей хотелось, чтобы это прозвучало как милая шутка.

— Да, — сказал Даусон.

Он не пробовал оправдываться, хотя его крепко сбитое тело, опирающееся на шаткие перила, чуть подрагивало. Будто под ударами ветра, но от ветра он укрыт своим нелепым домом. Ивлин позволила себе представить, как в других обстоятельствах он почти так же стоял, держась за манговое дерево.

И потому, взглянув на него сейчас, сказала:

— Не припомню, сколько же прошло времени с тех пор, как мы взяли вас с собой в Дельту?

— Довольно много, — пробормотал Даусон, толстыми волосатыми пальцами перехватив

перила.

Он казался еще топорнее из-за короткой стрижки, без сомнения, таким способом надеясь сделать менее заметной лысину. От этого глаза казались еще синее, лицо нелепей и незащищенней.

В сущности, все трое сейчас были обнажены друг перед другом, — в молчании застыли среди камней, точно статуи, не способные укрыться за словами.

Но вот Хэролд прервал неловкое молчание с той непосредственностью, которая сперва огорчила Ивлин, но она тут же решила, что это проявилась его истинно мужская наивность.

— Послушай, Клем, — сказал Хэролд, — не пора ли показать нам твое убежище? Полагаю, ты его сам строил.

Даусон засмеялся. Повернулся. Повесив голову, все еще привычно покачиваясь, зашагал по деревянным ступеням. Хоть он ни слова не сказал Хэролду, но, совершенно ясно, это и был его ответ.

Как он и ожидал, Фезэкерли последовали за ним.

— Но до чего *удобно!*

Еще не переступив порога, Ивлин избрала линию поведения. Так это просто. Так она это умеет.

Обращаться с застенчивыми, наводящими скуку мужчинами.

— Неужели вы и *это* сделали сами! Этот хитроумный шкафик с вращающимися полками!

Даусон перехватил ее руку в перчатке, сжал крепко, до боли.

— Только пальцем, — предупредил он. — Довольно чуть тронуть.

Ивлин могла бы обидеться, но уж слишком пустячный был повод. И она просто прошла дальше.

— А это что? — спросила она. — Эта сюрреалистическая штуковина из проволоки?

— Одно из моих изобретений. Вынимать яйцо… автоматически, как только сварится.

— Но до чего занятно!

Или жалостно:

— Вот бы Хэролду хоть долю вашего таланта. Сейчас, когда мы остались не у дел, он только грозится, что будет читать, да никак не раскачается.

Она взглянула на мужа, словно прося прощения за ранку, что ее угораздило ему нанести. Но он, кажется, ничего и не почувствовал. Мужчины много чего не замечают.

В кухне все как полагается. От гостиной она ждала большего, думала, там должна полнее ощу-

щаться личность хозяина, ведь увидеть спальню надежды нет. Но гостиная разочаровала. Слишком здесь голо, слишком слепяще. Два кресла в чересчур тесных чехлах. Письменный стол, на нем два-три инструмента, которые ей вовсе не интересны, пузырьки с цветными чернилами, книга — похоже, словарь. Даже ни единой фотографии. Ивлин любила сравнивать фотографии с оригиналом, а еще того больше любила загадочные фотографии.

Но вот на уродливом желтом столике корзинка с шерстью. И на яйце для штопки натянут носок. Обманутая было надежда вновь вспыхнула.

Вскоре Даусон уже поил их чаем, как и следовало ожидать, очень крепко заваренным, в белых толстого фаянса чашках, в которых, едва чаю поубавилось, обнаружился по внутреннему краю коричневый ободок от танина. Хэролд сосредоточенно пригнулся к своей наклоненной чашке, по серым глазам, честностью которых Ивлин всегда гордилась, она с досадой увидела — он озадачен какой-то мыслью, никак не решится высказать ее вслух.

— Ну и чем же ты тут занимаешься?

Можно подумать, ему неловко обсуждать при жене такие сугубо личные дела.

Даусон теребил пучки волос на пальцах. Потом глубоко вздохнул и обратил на Хэролда взгляд пронзительно голубых глаз:

— Сижу и смотрю на море, — прямо ответил он.

Похоже, этот ответ нисколько не удивил Хэролда, но Ивлин чуть не задохнулась от возмущения, будто услышала нечто непристойное.

— Но оно такое пустынное. Почти все время. Разве что пройдет какой-нибудь неинтересный корабль. Корабль только тогда интересен, когда сам на нем плывешь, — ухитрилась она проговорить.

Мужчины пропустили ее слова мимо ушей.

— Тебе повезло, что ты это умеешь, — продолжал Хэролд.

Будто Ивлин тут и не было.

Даусон засмеялся — словам Хэролда. Смех прозвучал неожиданно мягко.

— Не сказать, что это далось само собой. Поначалу.

— То-то и оно, — сказал Хэролд. — Но начало и есть самое трудное.

Потом Даусон подался вперед и спросил:

— А как стихи, ты ведь тогда писал?

Ивлин подняла голову.

— Стихи? — чуть не со страхом спросил Хэролд.

— В школе.

— А, да. В школе это было.

Ивлин слегка покачивалась на стуле.

— То было начало, — подсказал Даусон.

У Ивлин разболелась голова. Она, конечно, знала, давным-давно слышала, что Клем Даусон и Хэролд вместе учились в частной подготовительной школе. Голова — это от ветра, а может, от скуки, что всем своим существом источает хозяин дома.

— Подумай, ты помнишь про стихи, — сказал Хэролд и засмеялся. — А я забыл.

Он не забыл.

Хэролд Фезэкерли, долговязый мальчишка с торчащими ушами и вечно синими, потрескавшимися от холода руками, своими ни на что не похожими каракулями писал стихи и прочее на клочках бумаги и всегда трясся от страха, вдруг они разлетятся, попадут кому-нибудь на глаза, иди тогда объясняй, что это такое. А он не способен был объяснить и половины того, что у него получалось. Но в ту пору он не мог не писать. Позднее, когда он сумел разобраться в своих ощущениях, он понял: те подросточьи пробы пера

были для него точно горячий душ в холодный день или мягкий стул в теплое утро. В то время его часто по нескольку дней мучили запоры. Стихи, казалось, утишали его страхи.

Всю зиму пронизывающий ветер истязал школу. Но летом, когда вновь появлялся дикий виноград, и лавровые деревья покрывались толстым слоем пыли, и от бурлящих писсуаров поднимался запах дезинфекции, жизнь буквально подавляла мальчишек своими возможностями.

Полно было сплетен. Хэролд Фезэкерли плохо в них разбирался. Они его пугали. Не хотел он, чтобы ему растолковывали, что к чему, избегал тех, кто готов был его просветить.

Клем Даусон был этакий молчаливый мальчишка, чуть постарше и много крепче Хэролда — толстые лодыжки выпирают из пестрых шерстяных носков, коленки вытарчивают из бриджей. Клем, вероятно, рано начал бриться. Держался по большей части особняком, но с одиночеством справлялся. Ни к чему и ни к кому не питал неприязни, хотя кто или что ему по вкусу, понять было трудно — разве что птичьи яйца, поджаренный хлеб и травка, которую можно пожевать. Странный он, вероятно, был, да и вправду странный, с таким за дверями школы и

встречаться постесняешься.

Но вот однажды после полудня, когда в воздухе попахивало дымком, Хэролд Фезэкерли подошел к нему и показал два своих стихотворения. И Клем Даусон прочел их и отдал обратно. Он улыбался. У него были широкие зубы с щербинками внизу.

— Они нипочем не поймут, — сказал он. — Больно мудрено сочиняешь.

И Хэролд Фезэкерли тотчас успокоился. Притом у них появилась общая тайна; пожалуй, этого он и хотел.

Ничего между ними не было, ничего такого, чего можно бы стыдиться. Ничего Хэролд такого не делал, а какие-нибудь пустяки ведь не в счет. Ничего предосудительного, как выразился бы он потом, в дни, когда писал сообщения для печати. С Клемом, во всяком случае, такого не бывало.

Иногда они слонялись вокруг загонов в поисках гнезд. Как сиял Клем ясным весенним утром, стоя по щиколотку в жухлой траве, когда о морщинистую кору могучего дерева разбивал для Хэролда яичко сороки. К губам больше чем друга подносил пятнистую скорлупу яичка, пронизанную красноватым трепещущим светом.

— Мой высокоинтеллектуальный супруг не рас-

крыл секреты, очевидно известные вам обоим.

Ивлин Фезэкерли изогнула губы, полузакрыла глаза, всем своим видом подчеркивая, сколь тонкая ирония скрыта в ее словах.

Ветер, поутихший было из уважения к воспоминаниям, вновь принялся терзать комнатенку, где они сидели. Примостившийся на скале над морем домишко сейчас казался особенно ненадежным.

Ивлин взглянула на Хэролда и простила ему боль, которую он, быть может, ей причинил. Она всегда легко прощала.

Она даже повернулась к Даусону и спросила:

— Мы с вами еще увидимся?

Хотя ему-то она простила лишь наполовину. Сейчас она его поставила в неловкое положение. И знала это. Сделала это намеренно. Так всего лучше разрубить узел. И Даусон повозил по полу резиновыми подошвами и напряженно улыбнулся, даже не Хэролду, своей комнате.

— Боюсь, нам не заманить Клема в нашу чудовищную квартиру, — сказал Хэролд.

На взгляд Ивлин, это было сказано с излишней искренностью, однако она подыграла ему:

— При моей-то стряпне! У нас теперь, знаете, никакой эмансипации.

Легкая горечь этих слов была ей сладостна.

— Я к вам загляну. Как-нибудь, — пожалуй, с трудом выговорил Даусон, но под конец запнулся.

Никому, казалось, и в голову не пришло дать или взять адрес.

Хэролд Фезэкерли, видно, опять маялся, пытаясь поймать все ту же упорно ускользающую мысль. Никогда еще жена не видела его таким землисто-бледным, словно выцветшим от блеска океана, усохшим и хрупким в сравнении с податливым спокойствием Даусона. Неужели придет час, когда Хэролд перестанет быть мужчиной?

Всерьез Ивлин об этом не задумывалась, слишком страшные то были мысли, однако часто отваживалась пожелать себе пережить мужа, чьи мужские достоинства и по сей день влекли женщин. В сущности, ей грех жаловаться, ведь она сама этому способствовала, то подобрав ему что-нибудь эдакое из одежды, то множеством иных, более интимных способов, возьмет, например, своими маникюрными ножничками подрежет прихотливый волос, который выбился из усов или торчит из ноздри.

— Я что хочу сказать, Клем намного лучше подготовлен к жизни на пенсии, чем большинство из нас, — нудно твердил Хэролд. — Я что хочу ска-

зать, он умеет просто сидеть без всяких занятий. Он умеет думать.

Да нет у него в голове ни единой мысли. Стоит только поглядеть на него. Или, может быть, мужчины, особенно когда они вместе, испытывают что-то, чего женщинам испытать не дано?

Ивлин пристальней вгляделась в Даусона, и увиденное еще сильней прежнего ей не понравилось. Если как следует в него потыкать, наверно, окажется, он из упругой резины.

— Мистер Даусон, конечно, устроился очень удобно. Прелестно. Этот уютный домик. Все его изобретения. Одна яйцеварка чего стоит. Но порой, наверно, все-таки одиноко.

Ивлин не сомневалась: вот теперь она попала в точку.

Тут Даусон взглянул на нее — впервые взглянул, во всяком случае впервые с тех давних пор, когда они стояли под манговым деревом в курящейся дельте Нила.

— Время, проведенное в одиночестве, никогда никому не шло во вред.

— Ну, раз вы так уверены, — сказала Ивлин.

И поднялась, смахнув с подола несуществующие крошки — ведь их не угостили хотя бы покупным печеньем.

Впрочем, поднялись сразу все.

— Приятно было повидаться, Клем, — говорил Хэролд Фезэкерли. — Нам надо переписываться. Не терять друг друга из виду.

Для большей убедительности он взял Даусона за локоть, но тот стоял повесив голову: не верил он, что это возможно. Старше Хэролда, полнокровный, с отросшим брюхом — похоже, его в его одинокой жизни вот-вот хватит удар, — он теперь казался младшим из них. Ивлин не знала, довольна ли она этим. Глядя на юношески статного Хэролда, она часто склонна была и себя считать молодой. Сейчас стать не молодила его.

Они ухватились за перила шаткой наружной лестницы над пригнувшимися к камням травами и злополучными кружащимися под ветром фуксиями, и на Ивлин вдруг снизошло милосердие.

— Куда писать, — начала она, прорываясь сквозь налетающий со всех сторон ветер, — как нам связаться с вами?

— Просто напишите «Даусону», — был неправдоподобный ответ. — «Даусону, — повторил Клем. — Пестрый пляж».

Хэролд Фезэкерли стоял на рыхлой дороге, ветер задувал ему в брюки, спиралью закручивался вокруг ног, а он мысленно представлял себе

огромных допотопных зверей и огромных шелковистых птиц, важно озирающих океан из-за деревянных решеток. Со столь далекими от нас тварями можно общаться в молчании, которого нам всегда недостает.

Однако с Даусоном он все-таки немного пообщался, с надеждой подумал Хэролд.

Всю дорогу, особенно в автобусе, Ивлин без конца твердила, как прелестно они провели день.

— Да, — согласился он наконец, ведь от него этого ждали, — и какая удача повстречать старину Клема.

— Он мне нравится, — сказала Ивлин, вызывающе выставив подбородок.

Хэролд пропустил это мимо ушей. Возможно, полагал, что, кроме него, никто не способен оценить Даусона по заслугам.

— Завидую Клему, — сказал он.

— Ты что? — Ивлин даже задохнулась.

— Он счастлив.

— Вот еще, — возразила Ивлин. — А мы разве не счастливы?

— Да, — согласился он. — Из окна не очень дует?

Ивлин покачала головой, бросила на Хэролда мечтательный взгляд — в нем еще сохранилось

кое-что от ее девичьих чар.

— Воздух такой прелестный, — сказала она; уж так она решила: в этот день все должно быть прелестно.

Их везли, потряхивая, мимо разбросанных по берегу крохотных домишек, что поджидали еще не докатившуюся сюда приливную волну.

— Не сказала бы, что так уж он счастлив. В этой его лачуге. Со всеми этими никому не нужными штучками.

— Почему?

Хэролд не отодвинулся, только от движения автобуса его иной раз подбрасывало на бугристом сиденье, но Ивлин почувствовала, он весь напрягся, внутренне отшатнулся от нее.

— Потому что… ну… там недостает женской руки, — сказала она.

И глянула на свои руки, чинно затянутые в перчатки. Какие там у нее ни есть несовершенства, а руками можно гордиться. Во время чуть ли не бесконечного плавания из Коломбо во Фримантл один художник попросил разрешения их нарисовать и уговорил ее — Хэролду это было известно.

Но сейчас он незаметно отодвигался, наконец выпрямился и довольно неуклюже, вызывающе переменил положение.

— Не понимаешь ты таких людей, как Клем Даусон, — выпалил он.

— Ну, значит, не понимаю, — решила она согласиться.

Ведь уступить в споре значит подтвердить, что ты разумнее.

Хэролд, казалось, этим удовлетворился, и так и должно быть Никто не мог бы усомниться, что и теперь, когда жизнь у них стала убогая, она ему преданнейшая жена, в широком смысле слова, как в прежние добрые, более благополучные времена, в пору силы и почета. Когда Египет стольким женщинам вскружил голову.

После Первой мировой войны Хэролд Фезэкерли вернулся в Египет. Его друг, Дадли Берд, сдержал слово. Сперва отец Дадли, потом он сам давали Хэролду Фезэкерли работу. Были они скорее друзьями, чем работодателями, хотя Ивлин постоянно утверждала, что дружба вовсе не такое растяжимое понятие, как хочется верить Хэролду. Однако он привык обращаться к своему работодателю по имени и, не ожидая приглашения, наливал себе из графина, а Дадли Берда, казалось, забавляло, что управляющий у него австралиец и его, Дадли, жену называет «крошка».

Для богатого и высокопоставленного англи-

чанина вроде Дадли Берда очень даже мило и занимательно — сдобрить свою речь колониальным словцом, но Ивлин терпеть этого не могла. Долгое время ей не удавалось держаться с Бердами просто по-приятельски, чего они, видно, искренне хотели. Стакан джина у нее в руке дрожал. Волнуюсь с непривычки, решила она: какое мученье представлять, что цвета в ее одежде негармоничны или что на званых обедах она допускает какие-нибудь промахи, а в речи ее чувствуется австралийский выговор.

— Ох, нет, сэр Дадли, — могла она сказать. — Спасибо. Право слово. Лучше я не буду. Понимаете, не каждая австралийка умеет ездить верхом. — И прибавила, хихикнув: — И не у каждой чувствуется австралийский выговор.

Противно было слышать свое хихиканье. Но запах джина придавал храбрости, заглушал собственную неотесанность. И надо признаться, приятен был слабый запах кожи, и пота, и лошадей, и едущих верхом мужчин.

Или Уин: эти неотступные, всепоглощающие, сменяющие друг друга запахи Уин Берд.

— Ив, дорогая, ну какие зануды эти Роклифы, набиваются на обед! А куда веселее наджиниться вдвоем и потом блаженно погрузиться в сон.

Впрочем, вы не пьете, Ивлин?

— Нет-нет, леди Берд! Не беспокойтесь, мне и так прекрасно, очень.

Опять это хихиканье. А ведь она не дура. Пожалуй, не дурее леди Берд.

Берды давно предложили, чтобы она не называла их сэр и леди. Но не могла она себя заставить. Раз уж не начала сразу, потом получилось бы неестественно и она бы только чувствовала себя неловко.

И, пожалуй, приятно произносить эти титулы.

— Это так ужасно мило с вашей стороны, леди Берд… Да, леди Берд… Мы бы с превеликим удовольствием.

Потому что Уин, бывало, позвонит и невнятно, полупьяным голосом спросит, не хотят ли Ивлин и Хэролд провести субботу и воскресенье в Дельте, что означало: дом в поместье, как его называли англичане — нахлебники Бердов, в вашем распоряжении. Поначалу Ивлин была счастлива возможностью свободно пользоваться этим домом, только вот надо было остерегаться, не высказать девчоночьего, плебейского восторга, а пуще всего следить за своей речью. Она ведь не Уин Берд, чтоб так пренебрегать грамматикой и произношением. Только английской знати

любое преступление сойдет с рук.

Порой, когда Хэролд получал отпуск, чета Фезэкерли проводила в поместье неделю-другую. Бердам там было скучновато, они предпочитали Эгейское море и роскошь продуманно простого, переделанного по их вкусу каика. Но Ивлин, несмотря на египтян и мух, решила полюбить Дельту. Чувствовала себя знатной госпожой, владелицей бердовского, почти спартанского, зато прохладного, со ставнями на окнах, беленного известью дома. С полосами земли, что тянулись между каналами. И манговыми деревьями со множеством тошнотворных плодов.

— Ну что бы им завести хоть новые диваны и кое-какие современные удобства, — пожаловалась однажды Ивлин. — Матрацы совсем никуда, будто лежишь прямо на земле.

Хэролду пришлось оправдывать Бердов:

— Им нравится иногда пожить неприхотливо.

— Можно понять, — согласилась Ивлин. — Если потом возвращаешься к такой роскоши, как розовый мрамор.

Но даже без преимущества, какое давала мраморная лестница, Ивлин Фезэкерли брала свое в роли хозяйки — стоя, например, в дверях, отделяющих столовую от кухонных помещений, она

хмурилась и кричала слуге: «Gibbou ahed foutah, Mohammed!»[1]

— Дорогая, ну почему англичане должны кричать на иностранцев? — скажет, бывало, Хэролд.

— Но я не кричу, — возразит Ивлин. — Просто хочу, чтобы меня поняли. И какие же арабы «иностранцы», выходит, по-твоему, они не хуже европейцев? Я вовсе не поклонница европейцев! Они там у себя в Европе… знаем мы их… но я ни с одним не знакома и вовсе не жажду знакомиться.

— А может быть, это ограниченность?

Ивлин взглянула на него. Оттого что он был в нее влюблен, у него это прозвучало чуть ли не как добродетель. И она успокоилась.

— Меня осудили, — мягко сказала она и опустила глаза на тарелку с жирным фасолевым супом.

Ивлин Фезэкерли была тоненькая. Она любила носить белое. В задумчивой полутьме старого особняка Бердов, в этом ленивом, дышащем жаркими испарениями краю, она чувствовала себя духом прохлады. Только вот были бы руки не так тонки да не так заметны поры на безукоризненно гладкой коже.

---

[1] Примечания: 1

Принеси салфетку, Мухаммед! *(египетск. диалект, искаж.). (Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Но ее могущество позволяло забыть о подобных мелочах. Ее изумляла, даже коробила страсть, которую она, видно, будила в муже в эти душные летние месяцы.

— К тому времени, когда настает октябрь, я совсем разбита, я прямо александрийская блудница, — говорила, бывало, Уин Берд.

Уин, разумеется, была экстравагантна во всех отношениях. Могла себе это позволить.

Однажды летом, когда они были еще сравнительно молоды, Берды предоставили чете Фезэкерли дом в Дельте, захотели, чтобы те получили неделю передышки. Ивлин это больше не радовало: опять будет все то же — манговые деревья, темные комнаты, запах и, еще того хуже, вкус примуса, египтянки в черном плывут по каналам и смеются, а над чем, никогда ей не узнать, только и перемен что Мухаммеда заменили Мустафой, а Мустафу Османом.

Более того, с грустью размышляла Ивлин, они живут в доме Бердов только летом, в самую жару и духоту.

До отъезда в Дельту оставалось две ночи. Она задумалась и не сразу заметила, как в комнату вошел Хэролд.

— Помнишь, был на «Непале» такой Даусон,

корабельный механик? Я еще учился с ним в школе. В общем, он в Александрии, Ивлин. Хворал. Только что вышел из больницы.

Вечер был нестерпимо жаркий, влажный, совсем уж непотребный. Да еще изволь вспоминать какого-то механика, прямо зло берет.

— Я сперва приняла его за шотландца, — сказала Ивлин. — Но он оказался не шотландец.

Хэролд был сейчас сама доброта. И доброта протягивала во все стороны свои чуткие усики.

— Мне кажется, ему некуда себя девать. Малость одиноко ему, пожалуй. До отправки на корабль у него еще десять свободных дней. Я ему сказал, пускай лучше поедет с нами в Кафр-эз-Зайят.

— Ох, милый! Ведь это мне придется еще массу всякого накупить! Ты поступаешь иногда ужасно неразумно.

— Позвонишь утром в «Нильский холодильник», только и всего, — сказал Хэролд.

Она рассмеялась чуть ли не весело. На ней был едко-зеленый тюрбан.

— Ты опять меня изобличил, милый, — сказала она. — И почти всегда ты совершенно прав.

Подобные минуты и делали их отношения такими неповторимыми.

Хэролд поцеловал ее. Он выпил, но не больше,

чем принято. Это лишь прибавляло ему мужественности.

— У Даусона есть друг, — сказал он.

— Друг? Тогда почему же он одинок?

Хэролд замялся:

— Ну, то есть… В некотором роде. И этот друг — грек. Это ведь не свой брат.

— Грек? Никогда не была знакома с греком.

— Пожалуй, будет интересно. Он только что с археологических раскопок где-то в Верхнем Египте.

— Ты что же хочешь сказать… — продолжать Ивлин была не в силах.

— Некуда было податься. Он приезжий и друг Даусона. Пришлось его пригласить.

— Пришлось! Сидишь, выпиваешь где-то в баре, и оглянуться не успел — уже пригласил весь тамошний сброд! Нет, милый, надо все-таки думать, в какое ты нас ставишь положение. Мало нам этого зануды механика. Он по крайней мере честный, хоть и неотесанный. Но грек. В доме Уин и Дадли.

— Уин и Дадли приглашали армян, сама знаешь, и что-то я не слыхал, чтоб они потом недосчитались серебряных ложечек.

— Это совсем другое дело. Берды сами за себя

отвечают.

Обед прошел в молчании, Ивлин только и сказала:

— Esh, Khalil. Gawam![2]

Сухость воздуха всегда была для нее мученьем, а тут стало уж так сухо — даже удивительно, откуда взялось столько слез, что хлынули, когда они с Хэролдом пили кофе.

— Ох, милый! Какая я глупая! Какая глупая! — И от этих слов все стало еще глупей.

Когда Хэролд подошел и сел рядом, знакомые очертания его тела, которое она ощутила сквозь помятую рубашку, лишили ее остатков сдержанности. Заливаясь слезами, Ивлин целовала руки мужа. И оба они таяли в аромате жасмина и влажных цветочных клумб.

И наутро, после того как Ивлин позвонила в «Нильский холодильник», Хэролд обещал позвонить Даусону. Здравый смысл решил не в пользу грека. Ивлин сказала, Даусон такой простодушный, его нетрудно будет уговорить. Хэролд сказал — надеюсь.

Утром в день отъезда, как раз когда Ивлин заметила, что «Нильский холодильник» забыл

---

[2] Примечания: 2
Хлеба, Халиль! Быстро! *(египетск. диалект)*

прислать pâté[3], а полиция зверски избивает на улице нищего, она увидела, к дому направляется грузный, неуклюжий человек — тот самый механик Даусон. И следом еще кто-то. Ивлин была вся в испарине, а тут вмиг похолодела. Неужто грек? У каждого в руках чемоданчик.

Даусон уж чересчур крепко пожал руку. Грек — это был он — представился. Ивлин и слушать не хотела, но услышала — имя его взорвалось фейерверком.

Тогда, не то чтобы собравшись с духом, в приступе головокружительного и столь же взрывчатого вдохновенья она начала свою партию:

— Ох, но какая неловкая, какая ужасно огорчительная ошибка! Ох, но мистер Даусон, ведь Хэролд конечно же?.. Или это еще один фокус чудовищных александрийских телефонов? Видно, Хэролду не удалось толком объяснить. Мы бы и рады, но мы ведь, в сущности, здесь не хозяева, нам только на время уступают этот дом. Сэр Дадли и леди Берд так любезно разрешают нам приглашать еще и наших друзей, — тут она с подчеркнутой благосклонностью повернулась к механику, — но идти дальше значило бы злоупо-

---

[3] Примечания: 3
Паштет *(франц.)*.

требить их добротой. Быть может, мистер Даусон объяснит? — Она воззвала к Хэролду: — Яснее? Своему другу?

Утро и так выдалось достаточно безжалостное, тут не до намеков и околичностей. Вот Ивлин и отгородилась от создавшейся неловкости, точно стеною, надежной громадиной — Даусоном.

Она улыбалась. Все улыбались. Хэролд кряхтел, будто его колотили по ребрам. Шире всех улыбался грек. Был он маленький, во всех отношениях неприметный человечек. Галстук, который он, похоже, обычно завязывал ниже положенного, а сейчас старался поправить, был мятый, прямо какой-то жеваный.

Ивлин, исполнив свою партию, отвернулась, но разок глянула через плечо. Даусон отступил с другом к живой изгороди, усыпанной пепельно-голубыми цветами, к тому месту, где ее разрезал проход. Они стояли рядом в белой пыли. Рука Даусона опустилась на плечо грека.

— Мы поступили мерзко, — говорил Хэролд. — Я думаю, мы обидели обоих.

— Глупости, — сказала она. — Люди вовсе не такие тонкокожие, как тебе кажется.

А все же она решила те несколько дней, что Даусон проведет в Дельте, быть с ним особенно

милой.

Она начала уже по дороге. Хэролд вел машину, а она то и дело поворачивалась к Даусону, который сидел на краешке заднего сиденья, крепко ухватясь за спинку переднего. Получалось этакое задушевное трио. Он на редкость простодушен, конечно же, он ее простил. И однако она чувствовала, лицо у нее вспыхивает — от света и ветра, а быть может, и от воспоминания о недавней, пусть незначительной «сцене».

Однако можно бы уставиться и в слепящее египетское марево, по крайней мере ничего не увидишь, пожалуй, и Даусон ничего не увидел бы. Но всякий раз, обращаясь к гостю, она чуть опускала веки — уловке этой ее научило зеркало. Самоуверенность позволяла ей говорить, позволяла поворачиваться к нему лицом.

Она вела обычную легкую беседу, какой привыкла занимать заезжих гостей: про буйволов, про ибисов, перемежая свои рассказы жаргонными словечками и цифрами, которых наслушалась от специалистов.

Как вдруг против воли заметила:

— Я, право, надеюсь, ваш друг не обиделся из-за нелепой ошибки Хэролда… из-за нашей общей ошибки.

Даусон улыбнулся своей зыбкой улыбкой:

— Он не из тех, кто ждет от жизни хорошего.

Такого Ивлин не ждала.

— Мне всегда говорили, греки — я имею в виду нынешние греки, а не те, настоящие, — они, в сущности, азиаты, — сказала она.

— Протосингелопулос из настоящих, — возразил Даусон.

Обнаженное ветром солнце воспламенило его бескровное лицо.

— Вам виднее, — сказала Ивлин. — Он ваш друг. Вы давно знакомы?

— Три… да, три с половиной дня.

— Ох, но, право… вы всегда так уверены?

— Всегда, — ответил Даусон.

Теперь она поняла, что сидит он, подавшись вперед и ухватясь за спинку их сиденья, не для того, чтобы им всем быть поближе, а чтобы надежней укрыть свою скрытную душу. Какая отвратная у него тыльная сторона пальцев с этими пучками красноватых волос! Ивлин отвернулась, уставилась на длинную, прямую, наводящую скуку дорогу.

Как ни странно, в доме Бердов Даусон явно почувствовал себя в своей стихии. Если он не слушал Хэролда или не разъезжал с ним, комнаты

с толстыми стенами окружали его тишиной, что было под стать его внутренней тишине; их грубые пропорции словно нарочно предназначены были для его топорной фигуры. Когда он бродил по окрестностям, все вокруг словно не замечало чужака, хотя он, казалось, об этом не подозревал, знай топал куда глаза глядят, ведомый лишь собственными мыслями.

Ивлин должна была признать: этот новый Даусон раздражал ее, и она искала в нем какую-нибудь слабость, которая вознаградила бы ее за то, что он не желает быть таким, каким она хотела его видеть. Как у многих заезжих гостей из других стран, его одежда совсем не подходила для здешнего климата. Когда Даусон расстался с пиджаком из синего сержа и стал ходить в несуразной рубашке и сержевых брюках, это не просто насмешило Ивлин. Она обрадовалась, увидав, до чего он здесь неуместен, а значит, уязвим.

Иногда, шагая по извилистым тропинкам в манговой роще или мимо клумб с гвоздиками, он держал под мышкой книгу. Случалось, Ивлин заставала его, некое средоточие полумрака, в комнате с плотно закрытыми ставнями, где он если и не читал, то сидел с открытой книгой.

Наконец, уже не в силах устоять, она взяла у

него книгу. Удовлетворить свое любопытство.

— Читая при таком слабом свете, вы погубите глаза, — сказала она почти мягко.

Это был перевод с греческого. Стихи Кавафиса.

— Но вы же не интеллектуал! — Ивлин улыбнулась, словно в утешение.

— В общем, нет, — сказал Даусон.

— Хэролд иной раз воображает, будто он интеллектуал. Нет-нет, я его не принижаю. Он куда умней меня. Я всего лишь легкомысленная женщина.

Она подождала, не возразит ли Даусон, но он промолчал.

— Какие трудные, чтоб не сказать странные, стихи! — Она отдала то, с чем еще предстояло освоиться. — Если вы понимаете эти стихи, значит, вы ужасающий интеллектуал, и мне следует относиться к вам по-иному.

Даусон сидел потирая руки, словно разминал табак для трубки. Голову на могучих плечах повернул так, что Ивлин пришлось смотреть на его кое-как выточенный профиль. Да, в характере Даусона она ошиблась, приятно, что с виду он все равно грубый и от его рубашки попахивает потом.

— А понимать необязательно, — услышала

Ивлин, — понимать все, каждое слово. Я и не претендую на это. Это профессор мне дал, — прибавил Даусон.

— Какой профессор?

— Протосингелопулос.

— Этот человечек — профессор? Вот удивительно! Хотя чего, собственно, удивляться? Ведь жизнь полна неожиданностей.

От их разговора Ивлин и сама почувствовала себя чуть ли не интеллектуалкой. Но Даусон, казалось, не заметил этого либо занят был лишь собственными мыслями и ощущениями.

— Может, вам хлопотно, что я живу здесь? — вдруг спросил он.

— С чего вы взяли? Я только боюсь, вам скучно. Мне кажется, я понимаю, что значит для деятельного человека вынужденная праздность. Сегодня, по крайней мере, Хэролд поедет в эль-Мансуру посмотреть какие-то интересующие его посевы. Вы можете поехать с ним. И потолковать обо всем, что интересно вам обоим.

— О чем же? — неожиданно спросил Даусон и засмеялся, пытаясь смягчить странность вопроса.

Уж не хитрец ли он?

— Если бы я знала, вы больше бы мне дове-

ряли.

В эту самую минуту Хэролд распахнул дверь и сказал:

— Болван араб только теперь объявил мне, что вчера испортился насос, мы остались без воды. Теперь придется ехать за де Буазэ. Хочешь со мной, Клем? Только не скажу, что поездка интересная.

— Нет, не хочу, Хэролд, — ответил Даусон. — Я погляжу, что с насосом. Возможно, там как раз что-нибудь по моей части. Тогда не к чему тебе отказываться от поездки в Мансуру.

Ивлин видела: человек дела, он явно обрадовался, что может быть полезен. Легкость, с какой они с Хэролдом называли друг друга просто по имени, порождала в ней лишь презренье. То, что должно было сделать их сильнее, казалось ей слабостью.

Когда Хэролд уехал, а Даусон занялся насосом, стало ясно: утро нечем заполнить, разве что душными испарениями Дельты. Ивлин села и принялась просматривать книжку стихов, которую читал Даусон, и перед нею начали возникать разрозненные мерцающие образы. Сперва то одно, то другое слово, потом целая строчка, оживая, приводили в смятение. Любовь здесь была такая, о какой Ивлин знала лишь понаслышке,

теперь же, в смутном свете поэзии, чувство это стало чересчур ощутимо плотским, удушливо благоуханным. Вспомнилось, как рассказывали об одной англичанке, которую в парке изнасиловал араб. Ивлин отложила книжку. Нет, если не хочешь, никто тебя не изнасилует.

Но все преследовал аромат пышных слов, испарины и темно-красных роз, распустившихся на нильском иле по ту сторону закрытых ставней.

Пришел Даусон, ему понадобились тряпки. Он казался таким довольным, ничуть не скованным.

— Вы ужасно перемазали рубашку, — сказала она, впрочем, вполне равнодушно.

— Потом постираю, — сказал он.

— Ох, нет! — возразила Ивлин. — Без вас постирают.

Роясь в кладовой леди Берд в поисках подходящей тряпки, она с удовольствием почувствовала, что вновь стала самой собой. Вернулась она со старым шелковым лоскутом.

— А тряпка не слишком хороша? — спросил Даусон.

— Да нет, не думаю, — засмеялась Ивлин. — А если и так, плакать по ней не станут.

Кто-кто, а Уин не заплачет. Приглашенная к

кому-то на свадьбу, она авиапочтой выписала из Парижа шляпу, тут же отослала ее авиапочтой обратно и выписала другую.

— А как насос? — спросила Ивлин.

— Починим, — уверил Даусон.

Но ответа Ивлин не услышала. Она завороженно глядела на шелковый лоскут, свисающий с обнаженной руки Даусона, на кожу этих обнаженных рук, забрызганную машинным маслом и перепачканную сероватым жиром.

Они лишь ненадолго встретились за вторым завтраком. Улегшись отдохнуть, Ивлин слышала прерывистый стук металла о металл, жестяно-легкий по сравнению с давящим бременем жары. Даусон только что был болен, как бы его не хватил солнечный удар, но разве отговоришь человека, если ему чего-то хочется. Хорошо, что она вышла за Хэролда — если он чего и захочет, его легче переубедить. Как это она нашла Хэролда и в каком сне найдет его опять?

Но вот она набрела на него, нет, на Даусона, тот сидел за круглым железным скособоченным столом. И набивал рот дешевым засохшим сыром, какой кладут в мышеловку. *Но почему надо так есть!* — спросила Ивлин. — *Потому,* — пробормотал он с набитым ртом, — *вы ведь не помираете*

с голоду, миссис Фезэкерли? — Ее передернуло, когда она услышала свое имя, и не меньше покоробил вид падающих крошек.

Проснувшись, Ивлин заметила, что отлежала щеку. И обозлилась, но потом искупалась, напудрилась и уже могла бы пожалеть любого, кто в этом нуждался. Все еще преследовали мелодии старых танго и запах палубы лайнера в ночи. Вполне естественно. У стольких австралийцев полжизни проходит в море, в пути куда-нибудь, подумалось ей.

И когда встретила Даусона, спросила, блеснув ярчайшей помадой:

— Мой Хэролд не вернулся?

— Нет, — сказал Даусон.

В свежей рубашке и в тех же синих сержевых брюках — других, очевидно, с собой не взял, — он был точно карикатура на самого себя.

— Вот тоска! — сказала Ивлин. — Обед будет ужасен. Да все равно он был бы ужасен.

Налив Даусону виски, она спросила:

— Вы рады, что вы австралиец?

— Забыл и думать об этом.

— А я рада, — сказала Ивлин. Не все ли равно, верит он или не верит.

Но она и правда рада — такой полнокровной,

здоровой была ее юность в Австралии. И спасибо тому яблоку, что вкусила она и сумасбродно отбросила.

— Как по-вашему, не мог Хэролд попасть в аварию? — спросила она.

— Нет. Почему? — сказал Даусон. — Никаких оснований опасаться. Люди обычно возвращаются, даже когда думаешь, что они не вернутся.

Наверно, это джин виноват в ее мрачных мыслях. Обычно такое в голову не приходит, есть чем отвлечься.

— Вы не понимаете, что для меня Хэролд, — сказала она. — Хотя вы-то можете разговаривать с ним или не разговаривать и все равно додуматься до чего-то, в чем мне вовек не разобраться.

У Даусона вид был озадаченный, бестолковый.

— Как так? — сказал он.

Ивлин предложила пройтись. Это здоровее, чем сидеть и пить и вынашивать мрачные мысли об автомобильных авариях и о браке.

— Да мы ведь о браке не говорили, — заметил Даусон.

Вот такой он был человек.

Ну и пошли они шагать во тьме. Волшебный слайд нильской дельты уже убран, но запах ее остался — пахло увядшим клевером и тлеющим

навозом. Когда Ивлин только приехала в Египет, ей объяснили, что жгут навоз, это тоже ее возмутило, как многое другое. Но при постоянном кочевье, каким была и остается жизнь любого иностранца в Египте, постепенно стало даже утешать. Сегодня вечером и звезды светят — вначале она часто смотрела на них, а потом привыкла, что здесь они всегда видны.

— Разве мы не говорили о браке? — продолжала Ивлин и в темноте обо что-то споткнулась. — Мне казалось, мы, в сущности, все время об этом говорим.

В первую минуту лодыжку пронзила боль, Ивлин намеренно захромала, но Даусон не пытался ее поддержать.

— Я этого не понял, миссис Фезэкерли, — сказал он, — хотя, полагаю, эти мысли изрядно вас донимают.

— Значит, вы не были женаты! — выпалила Ивлин.

— Не был, — согласился он.

Интересно, скроет ли тьма, как искривились ее губы, подумала она.

— Говорят, если мужчина к тридцати годам не женат, он либо завзятый эгоист, либо завзятый распутник. Интересно, из каких вы!

По крайней мере стало ясно, что хромать незачем.

— Женатые ли, одинокие ли, почти все мужчины в меру эгоистичны и в меру распутны, — сказал Даусон.

— Но вы не хотите понять! — воскликнула Ивлин. — Я же говорю о холостяках, они не знают меры.

— Не понимаю, почему это вас так занимает, миссис Фезэкерли, — был ответ. — Ведь у вас есть то, что вам надо.

— Ох, знаю! Знаю!

В темноте она ударилась лицом о манговое дерево. И ее захлестнули листья и собственные возгласы досады.

— Но мы ведь разговариваем, чтобы поднять настроение, разве нет? — упорствовала она. — И чтобы понять друг друга. Почему я вас не понимаю?

— На это я не могу ответить. Если нам суждено понять человека, мы его поймем.

В ярком свете звезд Ивлин неплохо различала лицо Даусона, но ничего не могла по нему прочесть. И это было страшно.

— Мне кажется, вы ничего не страшитесь, — сказала она. — Это само по себе устрашает любого,

кому страшно.

— Что же вам страшно? — спросил он.

— Почти все. Жить в этой стране. — Мысли ее закружились в беспорядке. — Произношение англичан. *Скорпионы!* — Она ухватилась за скорпионов. — Даже сейчас, после стольких лет в Египте, я дрожу — вдруг забудусь и, не глядя, суну ногу в туфлю, а там скорпион.

Неожиданно для себя она уцепилась за мускулистую руку Даусона. И показалось — впервые в жизни она коснулась мужчины, ее потянуло к нему, повлекло, ближе, ближе, к более глубинному ощущению ночи и ужаса. Страшные и пугающие сами по себе, скорпионы оказались необходимы для начала Так же, как топорное, неуклюжее тело Даусона могло служить свидетельством некоего унижения, к которому в трезвые мгновенья она будет мысленно возвращаться во хмелю угрызений совести.

Они вышли на край плантации, где в зеленовато-серебряном свете текла черная вода и громкие голоса арабов рассекали кубы деревенских домов. Только Даусон оставался неподатливым.

— И обнаружили вы хоть одного? — спросил он.

— Кого? — выдохнула Ивлин.

— Скорпиона.

Он засмеялся как мальчишка. Свободной рукой он обхватил ствол молодого мангового дерева.

— Нет, — сказала она. — Но ждать этого все равно страшно.

Хотя за долгие световые годы их странствия она в согласии с правилами, которые каким-то образом узнала, прильнула к нему, прилепилась, оба, как ни странно, словно оставались бесплотными. Не ощути Ивлин в этом неподатливом теле едва уловимую дрожь, можно бы подумать, что душа его с ним рассталась.

— Еще даже не надев туфлю, вы ожидаете смерти, верно? — продолжал болтать Даусон. — Нет, бросьте об этом думать. Не то и жить не под силу.

— Ну да, я глупая, знаю! Такая моя судьба, надо, чтоб мне вечно об этом напоминали!

Судорожно подавляя трепет пробудившейся плоти, она сдавала позиции.

— Знаю! — задыхаясь, повторяла она.

В зеленой египетской ночи она стояла подле Даусона и плакала. Сейчас, когда от вожделения, да и не вожделение это было, остался лишь беспокойный отзвук в памяти, будто покалывал жесткий волос, она жаждала одного — хоть бы

Даусон поверил, есть в ней что-то, не совсем она пустоцвет.

— Простите. — Она слушала себя из далекого далека. — Я сама не своя от горя. Из-за нашего малыша. Вы ведь знаете, мы потеряли ребенка.

— Нет! — воскликнул Даусон, безмерно пораженный.

И с такой печалью он теперь смотрел на нее.

— Упал в канал. — Она уже беспомощно всхлипывала. — Вот оно как, мистер Даусон. Вы ведь поймете?

Ее по-прежнему захлестывало желание обнять большую щетинистую голову младенца. Младенца, который для нее потерян.

— Сколько лет было малышу?

Она чуть не расхохоталась, спасибо, с самого начала взяла такой серьезно-торжественный тон. В полных сочувствия глазах Даусона мерцали зеленые отсветы.

— Пять, — подсчитала Ивлин.

Но он не заметил, что вытянул это из нее, и на миг она завладела его тупыми потными пальцами, хоть они уже не так ей были и нужны, даже противны стали, и сама себе она стала противна.

— Смотрите никогда ни слова об этом Хэролду, — сказала она, припоминая, как надо коман-

довать. — Он в таком горе, не передать, — торопливо продолжала она. — Мы никогда об этом не говорим.

Чудак Даусон все еще испуганно таращил глаза, а ее все еще мучила собственная лживость.

Вскоре на длинной прямой дороге сверкнули приближающиеся фары.

— Ивлин, милая, прости, — сказал Хэролд. — Нет у меня никаких оправданий. Просто опоздал.

Она даже не почувствовала обиды.

— Мы уже начали беспокоиться, — сказал Даусон.

— Почему? — спросил Хэролд.

Никто не нашелся что ответить.

— Не беда, — сказала Ивлин. — Вот только обед. Ну, я за него не в ответе.

Смахнув с волос паука, она пошла в дом привести в порядок лицо.

Утром Хэролд подошел к Ивлин и сказал:

— Даусон решил вернуться в Александрию. Хочет заказать машину. Но я сказал, что сам его отвезу.

— Вот как? — сказала она. — Странный человек! У него же остается несколько свободных дней.

— Возможно, он еще хочет побыть со своим

другом, прежде чем отправиться в Порт-Саид, на корабль.

Когда Ивлин вышла к машине, Даусон старался заново запереть один из замков своего чемодана.

— Мне ужасно жаль, что вам надо так спешить, — начала она. — Но я понимаю, вам хочется до отъезда побыть еще немного с профессором Прото. Мне всегда будет казаться, у него против меня зуб, оттого что нельзя было пригласить и его тоже.

Когда тебя это уже ни к чему не обязывает, легче говорить искренне.

Даусона, верно, озадачило, что замок его дешевого чемодана явно сломан. Он все мудрил над заржавевшей защелкой.

— Побыть с Протосингелопулосом? — сказал он. — Я думаю, он уже уехал в Грецию.

— Но Хэролд сказал…

Хэролд звал араба, чтобы тот протер ветровое стекло машины. Он стоял к ним спиной. Кто знает, уловил ли он обрывок разговора между нею и другом. Вечно он поглощен уходом за машиной. Или хлопком. Или, надо признать, тут она ощутила укол совести, женой.

А Даусон ничуть не озадачен, поняла она. Смотрит в сторону, скрывая то, что понял, и уедет,

увозя с собой ее тайну. К счастью, он слишком туп или слишком честен, чтобы тайной воспользоваться.

— До свидания, мистер Даусон, — сказала она. — Надеюсь, вы скоро совсем окрепнете.

Он странно засмеялся и, глядя на свои ножищи, ответил:

— Я вовсе не чувствовал себя больным. Ничего такого не замечал. Просто мне сказали, что я болен.

Потом Хэролд повез своего друга, свою обузу, прочь. Даусон помахал или просто поднял коротко-копалую руку. Хэролд тоже помахал в знак, что скоро они будут вместе и одни, без помех; а она смотрела на Хэролда. Ей случалось ловить себя на мысли — вот бы Хэролд серьезно заболел, тогда можно будет доказать свою преданность ему, скрытую за ее манерой держаться. Представлялось — он лежит под противомоскитной сеткой, в приглушенном свете виден его изможденный, восковой профиль. И она оттягивает, вбирает в себя его жар.

Но болезни одолевали не Хэролда, а ее, пустяковые, досадные. Это было унизительно.

В свои шестьдесят Ивлин недурно сохранилась. Хотя в молодости она казалась тощей, к

шестидесяти, можно было счесть, у нее стройная фигурка, и она еще подчеркивала это впечатление шляпами. По счастью, у нее хороший вкус, в этом ее уверило зеркало. Это подтверждали и окна, окна автобусов, когда во время движения она, покачиваясь, позволяла себе прислониться к плечу мужа, ведь, оказавшись на пенсии, он почти всегда был рядом.

Порой она задумывалась, в какой мере мужчина, истинный мужчина, вроде Хэролда, сознает ту роль, какую играет в его жизни нежность женщины. Задумалась об этом и в послеполуденный час, когда автобус увозил их от того побережья. На ней было пальто с воротником из чернобурки, не столько модной, сколько неустаревающей, как наряды вдовствующей королевы.

— Взять хоть глажку, — говорил Хэролд. — Непростая задача. Правда, можно заплатить какой-нибудь женщине. Наверно, Клем так и обходится. Да еще покупки. Видеть не могу мужчину с сеткой.

— Ты меня удивляешь, — сказала Ивлин. — И не скучно тебе думать про этого скучнейшего Даусона.

— Клем мне невероятно интересен.

— Ну, о вкусах не спорят. Что за книги ты поку-

паешь! В русском романе я и имена-то никак не удержу в памяти от страницы к странице.

Она засмеялась, но снисходительно. Стоило Хэролду пожелать, и она нередко занималась отчаянной скучищей.

— Ох уж этот Даусон. Помню, увидала его с книгой в руках, — заново начала она, полузакрыв глаза. — А только сомневаюсь, вправду ли он способен читать.

— Думаю, ему это необязательно.

— Ну, знаешь, милый!

Свет, в котором Хэролд видел своего друга, заставил ее вовсе закрыть глаза.

— Мне кажется, Клем так же ни в ком и ни в чем не нуждается, как что-нибудь цельное, скажем… — он с трудом подыскивал сравнение, — глыба стекла.

Ивлин открыла глаза. Хэролд даже вспотел от напряжения.

— Да кто он такой? — спросила она. — Был всего-навсего корабельным механиком. С тем и вышел на пенсию. Торчит один в глуши на австралийском побережье. И что? И больше ничего!

— Возможно, сам он прожил жизнь ничем не интересную. Но он поглощает… и отражает… опыт.

Хэролд чуть не поперхнулся своими словами. Под конец он достал трубку.

Ивлин не на шутку встревожилась.

— А чем он болел? — спросила она. — Когда его в Египте ссадили с корабля?

— По-моему, у него был нервный срыв.

Ивлин облизнула пересохшие губы.

— Ты никогда мне не говорил, — сказала она.

— Не говорил? Наверно, я вообще не все говорю. А ты все?

— Стараюсь, — сказала она.

Автобус въезжал в город. Сейчас, вновь глядя на город, каждый смутно недоумевал, неужели они сами захотели тут поселиться.

— Больше всего меня восхищает в Даусоне его способность поступать, как решит, — резко сказал Хэролд Фезэкерли.

— А разве мы, в сущности, не всегда поступаем, как решили? — сонно, покачиваясь на сиденье, пробормотала Ивлин.

Но вдруг повернулась к мужу и спросила с величайшей серьезностью, что было несвойственно ей, даже в самые серьезные ее минуты:

— Хэролд, ты думаешь, Даусон гомик?

— С чего ты взяла?

— Не знаю. — Ивлин пожала плечами. — Гово-

рят, это от моряцкой жизни.

— Он же не в военно-морском флоте служил. На пассажирском пароходе женщины не очень-то оставляют им такую возможность.

— Да уж!

Ивлин хихикнула. Ей нравилось, как он рассуждает. Хорошо, что она вышла за Хэролда, стоит дать ему повод для эдакого пикантного разговора, и он не упустит случая. Он уважал в ней утонченность, которую многие мужчины, едва распознав, постарались бы придушить.

Скоро они уже были затворены в лифте своего многоквартирного дома. Пыль осела на веточках с железными розами, на стеблях некогда позолоченных лилий, на двери, которую подчас заедало. Этаж за этажом скользили вниз навстречу медленно поднимавшемуся лифту коричневые полосы сосновых панелей — одинаковые лестничные площадки. Супруги Фезэкерли старались считать лифт одним из выпавших на их долю благ. Но Ивлин всегда держалась поодаль от его зарослей металлических цветов, боялась прикоснуться к их пыльной шерстке, к жирной росе.

В этот вечер, когда они только ввалились в холл, которому так и не нашли применения, она сказала со вздохом, не стесняясь банальности:

— Что может быть лучше своего дома?

По крайней мере, немалое облегчение — облегчиться. Хэролд боком пристроился в узком стойле уборной и стоял, точно конь, припавший на колени. Снизу, из шахты лифта, уже доносилась взрывами невнятица ночи. Для Хэролда Фезэкерли, справляющего малую нужду, железные вены в стене новотюдорского дома стали артериями жизни.

— Я думаю, даже Даусон привязался к своему шаткому домишку там, на отшибе, — сказала Ивлин, как часто бывало, заключая разговор, в который Хэролд так и не вступил.

Ивлин, его жена, что-то там делает с волосами. Она уже позаботилась о самом первостепенном — подкрасила губы. Они источают малиновый свет и цвет. Без Ивлин он бы, разумеется, обойтись не мог. На последней из оставшихся от Египта наволочек ему представилась ее посмертная маска, и пришлось включить радио.

Актеры разыгрывали какую-то пьесу, но муж с женой не слушали, потому что, принеся херес, который оба они не очень-то и любили, Ивлин повернулась к мужу и, щурясь, начала:

— Меня осенила блестящая идея… как бы ты к ней ни отнесся.

— Ну так говори, — сказал он, потягивая «Амонтильядо». Ивлин опять прищурилась.

— Знаешь, — сказала она, — у меня нет охоты соваться не в свое дело. Но я вдруг подумала о Несте Сосен… ну, в связи с… только не смейся… с этим Даусоном.

И она сделала именно то, что не велела делать ему: откинула голову и рассмеялась, теребя еще уцелевшее жемчужное ожерелье.

— Несту Сосен? Боже милостивый! Что это ты? *Неста Сосен!*

В отличие от Ивлин ему было совсем не смешно.

— Ну вот! — самодовольно сказала она. — Так я и знала, тебе это покажется престранным, а я готова доказать тебе, что тут есть смысл.

Она села, и стало видно все, что у нее всегда было чересчур тощее, но Хэролд любил ее. Только он и знал, как завидовала Ивлин ногам Уин Берд.

— Право же, Неста заслуживает, чтобы жизнь наконец хоть чем-то ее одарила, — убеждала Ивлин.

— Но ведь по-твоему, Клем Даусон далеко не подарок.

— Ах, по-моему! — Она опустила глаза. — Ты разве считаешься с моим мнением?

Хэролд уже заинтересовался и возражать не стал.

— Неста слишком молчаливая, — сказал он.

— А он разве нет?

— Да.

Дело серьезное, но ей, кажется, невдомек. Да он от нее этого и не ждет. Это его забота. В свое время он внимательнейшим образом присмотрелся к Клему, разглядел даже тот вросший волосок, из-за которого, по словам старшей больничной сестры, и вздулся фурункул. Старшая сестра вскрывала фурункул, и Клем вытерпел. Но сумеет ли он вытерпеть самые что ни на есть благие, далекие от всего земного устремления Несты Сосен?

— Она отлично стряпает, — сказала Ивлин.

Хэролд не перебил ее, уж так он привык за их долгую совместную жизнь. Они до сих пор спали вместе, пожалуй, раз в две недели. Он и правда ее любил.

— Я это знаю, — сказала Ивлин. — Когда она жила у миссис Бутройд, я однажды там обедала.

— Интересно, как Неста ладила с этой старой сукой.

— Не думаю, чтоб старуха была такая уж сука, — сказала Ивлин. — Неста тоже может быть трудной на свой лад. Хотя с мужчиной будет

все иначе. Но я-то имею в виду ее стряпню. А для пожилого человека это всего важней. Очень недурно стряпает. Пищеварение, это так важно.

— М-да, — промычал Хэролд.

— Ее выучила мать, — сказала Ивлин. — Мне правда жаль Несту. В прежние времена воспитанной, практичной, незамужней женщине без средств, из приличного семейства, было куда себя девать. Теперь на них просто нет спроса. Так же как на горничных.

— У принцессы ей жилось совсем не плохо. Тогда ни о какой стряпне и речи не было.

Ивлин покачала ножкой и захихикала:

— У принцессы она как сыр в масле каталась!

Ивлин совсем развеселилась. Они и прежде не раз об этом говорили. После второго бокала хереса уже и Хэролд наслаждался разговором.

— Жила в свое удовольствие, — сказала Ивлин. — Еще как!

Она неторопливо отпила из вновь наполненного бокала.

— И ни следа не осталось, — со вздохом сказала она.

— Чего и следовало ожидать, — сказал Хэролд. — У половины этих вернувшихся австралиек такой вид, будто они побывали не дальше Лиры.

Ивлин кивнула с улыбкой.

— Они, кажется, были в родстве? — спросил Хэролд. — Неста и принцесса.

— Что-о? — вспылила Ивлин. — Но я ж тебе рассказывала, Хэролд, конечно рассказывала!

То была одна из их игр.

— Неста Сосен и Эдди Вулкок были дальние родственницы. По материнской линии. В Мельбурне. Мамаша Вулкок была твердый орешек. Никто особенно не удивился, когда Фернандини Лунго ухватился за Эдди в первый же их сезон в Европе. Отвратный человечек, по-моему, но он до нее не касался. Эдди хватало его титула, а принцу — ее колбас.

— Про колбасы я помню.

— Ну конечно. В свое время они пользовались успехом. Был там один сорт, мясо смешивали с томатом. Ужас, — сказала Ивлин.

Супруги Фезэкерли потягивали херес, забыв и думать про напитки, которые поднимали им дух прежде. Они сами были духи определенной эпохи.

— Надо бы пойти заняться обедом, — вздохнула Ивлин.

Хэролд не поддержал ее. Опыт научил его равнодушию к еде. Вдобавок его насыщал образ

Несты Сосен — крупной, белокожей, погруженной в себя, вечно с какими-то свертками. Свертки свисали на бечевочках с ее пальцев, точно гроздья коричневых, готовых вот-вот лопнуть плодов. Знакомые позволяли ей делать для них покупки.

Ивлин все сильней клонило в сон.

— Представляю, как она сидит и вяжет в этой нелепой комнатке над морем. — Ивлин с удовольствием бы покачалась, будь стул подходящий. — Так уютно. Неста увлекалась вязаньем. Пристрастилась к нему еще в школе. В Маунт-Палмерстоне она никому из девочек особенно не нравилась. И я думаю, вязанье отчасти ее утешало. Она нередко предлагала научить нас. Но нас ничуть это не соблазняло. Ну и скверные же мы были девчонки!

— Я думал, Неста тебе нравится.

— А как же! С годами такие люди начинают нравиться. Не то жизнь была бы совсем уж несносна.

— Ни на какую мою помощь не рассчитывай. — С таким же успехом Хэролд мог противостоять ножу.

— И не надо, — сказала Ивлин. — Я и сама не собираюсь уж очень надрываться. Мужчин и женщин чересчур подталкивать незачем. Надо

лишь слегка помочь природе. Направить их друг к другу. Свести их.

Она напустила туману, и не ведающий, что творит, холодный сумрак пробрал Хэролда до костей.

А Ивлин наклонилась вперед, обхватив руками локти. Улыбаясь. Впереди завиделась цель, и от этого на ее лице заметно обозначились морщинки.

— Теперь вправду надо похлопотать об обеде, — вдруг заторопилась она.

И пошла в кухню открывать банку лосося.

Очевидно, именно из-за фамилии Ивлин обратила внимание на Несту, сидящую у подножия исполинских сосен, росших с той стороны Маунт-Палмерстона, что была открыта ветру, а может, девчонкам, игравшим на скользких, устилающих землю иголках деревья только казались исполинами. Аромат, шелест сосен стали неотступно преследовать Ивлин, едва она мысленно вернулась к ним. Стала преследовать и Неста. Но вот удивительно, Неста, сидящая под сосной, виделась не старшеклассницей, а полногрудой женщиной, какой она стала в конце концов, почти всегда в серых прямых вязаных платьях. Или в жилетах с юбками в складку других оттенков

серого. На лице время оставило следы, но волосы и без химии по-прежнему вызывающе черные. Под густыми игольчатыми ветвями ее волосы все еще ошеломляют ярким блеском, а тень одевает ее полнеющее тело серовато-коричневыми латами коры. Она сидит и вяжет, и улыбка ее скорее вызвана собственными мыслями, чем обращена вовне, к тем, кто, может быть, к ней приближается.

Но однажды в памяти Ивлин всплыла Неста-старшеклассница: та же прическа, та же фигура. Другие девчонки исчезли из памяти. Длинные темные волосы собраны на затылке коричневой бархоткой. Или ленточкой? Ивлин не могла толком разглядеть. Должно быть, сосредоточилась на ее позе: Неста так держала спицы, будто приготовилась к какому-то священнодействию.

— Почему ты всегда вяжешь? — спросила Ивлин.

Неста, казалось, не слышала, однако сквозь паутину затаенной улыбки стало проступать ее широкое лицо. Ивлин заметила на побледневшем лице желтоватые круги под глазами, будто из фланельки или замши. Как вдруг Неста подалась к ней.

— Я только начала, — сказала она, распушив

связанную оборку. — Я еще не решила. Может, это и для тебя, Иви.

Она приложила покалывающую оборку к голой шее Ивлин.

— Никакая я не Иви, — возмутилась Ивлин.

Ее и завораживало, и противно было, что грудь у Несты уже почти оформилась. Прямо сдобные булочки.

И она кинулась прочь. Сквозь запах смолы и шорох сосен. Звук собственных шагов по скользкой хвое преследовал ее.

— Тише ты! — запротестовал с соседней кровати Хэролд. — Вся комната ходит ходуном!

— Ох-х, — отозвалась Ивлин. — Должно быть, мне снился сон.

— Про что? — спросил Хэролд из своего бесстрастного бессонья.

— Сама не знаю, — жалобно сказала она. — Или, может, про Бердов и эту жуткую станцию обслуживания?

Шея у нее занемела. С определенного возраста во сне отдыхаешь немногим лучше, чем когда бодрствуешь. Большая разница или сомнительное преимущество, что во сне вы не вольны в своих планах, а наяву — вольны.

Снились ли Ивлин Берды, нет ли (она склонна

была думать, что нет), но она вернулась к своему замыслу: послать Уин синее платье, которое уже не хотела больше носить. В сущности, платье премилое, никакая не золотая парча, конечно, но его еще можно носить и носить. Хэролду она пока не сказала. Она еще понасладится, еще немного расцветит свой замысел. Снова и снова представлялось ей, как сырым, холодным суррейским утром Уин получает посылку, как старается развязать узлы. Видела лицо Уин, каким оно ей помнилось, хитрющее, козье, — пустит, бывало, сплетню, боднет редко, да метко. Правда, теперь она уже старая. Этакая Нелли Уоллес, от которой несет бензином.

Ивлин бросило в дрожь на ее смятой постели.

— Чересчур короткие, — проворчала она, подтягивая простыню.

— Кто?

Ночью голос Хэролда звучал иной раз так сухо, так отчужденно, будто намек, что во сне к дневным обязательствам прибавляются и другие. В те времена, когда они еще делили друг с другом ложе, если Хэролд поворачивался, ногти больших пальцев на его ногах сухо скрипели, казалось даже, будто что-то рвется.

— Дешевые простыни, — с горечью сказала

Ивлин. — Когда всем египетским простыням придет конец, надо будет решать, что нам дороже — грудь или ноги.

Хэролд ускользал от нее. Она повернула голову.

— Хэролд, — сказала она. — Мне снилась Неста Сосен. Я вдруг вспомнила.

Ее голос наполнил комнату безнадежностью, беспомощной во тьме искренностью.

— Я подумала, надо тебе сказать.

Он бормотнул что-то. Голос попытался прорваться и сошел на нет.

— Как ты думаешь, Неста лесбиянка? — спросила Ивлин. Хэролд сворачивался в клубок, скрипя ногтями по простыне.

— Не верю я в такое. Не верю, что это возможно, — сказал он.

И засмеялся. Засмеялась и она.

— Каких только нет путей и способов. — Она зевнула, скривив рот. — Просто интересно, — ухитрилась она проговорить меж зевками. — Со столькими женщинами она вместе жила. Почти все вполне безобидные. А вот Эдди Вулкок… принцесса… ее так рано повезли в Европу. И она вращалась в обществе, где вовсе не признают условностей, фигура у нее была мальчишеская.

Помню одно ее платье. Говорили, его расписал какой-то знаменитый художник, футурист, по-моему, так его называли. Какое-то там течение. Да, так на платье Эдди он изобразил сцену охоты. Какую-то богиню, что ли. Если хватит дури поверить. Так мне объяснили. И в этаком платье — Эдди. Как самая обыкновенная манекенщица. Она такими штучками прямо наслаждалась. И терпела Несту, зануду несчастную. А та знай заказывала номера в отелях да билеты для всяких поездок.

Ивлин зевнула.

— Дело, конечно, просто в удобстве. И потом, даже те, кто преуспел, сохраняют какие-то связи со своим прошлым.

Теперь в комнате была тьма, хоть глаз выколи. Ивлин Фезэкерли с удовольствием вымыла бы горячие руки. И смазала бы «Дремлющим лотосом». Приятный напиток «Алко-сельтерская».

— Хэролд, ты не спишь?

Она заснула.

По утрам, когда она выходила купить отбивные и глянуть, что новенького в магазине Дэвида Джоунза, Хэролд обычно отправлялся в парк, пока не заподозрил, что сидящие на лавочках пожилые мужчины представляют самую грустную

сторону пенсионного существования. Надо пойти работать, хотя бы на неполный день. А пока, прежде чем на что-то решиться (странно, ведь долгое время столько народу зависело именно от его решений), он старался иногда проводить утро дома. Возьмется за какую-нибудь книгу. Или просто сидит в скрипучем безмолвии дешевой мебели, в душном безмолвии ослепительно-голубых жениных подушек.

Над слепящей голубизной моря Хэролд различал Клема Даусона, который со звериной ловкостью карабкался по камням среди неярких цветов и трав и продутых ветром кустарников. Или Клем, такой же безмолвный и сосредоточенный, виделся в пустоте своей воздвигнутой из безмолвия комнаты. Несомненно, есть на свете люди, что знают толк в безмолвии, как другие знают толк в инструментах. Хэролд ничего не умел делать руками, а безмолвие лишь изнуряло его.

Не без смущения задумался он, верит ли Даусон в Бога. Вероятно, не нуждается в вере. Сам Хэролд никогда в ней не нуждался, а когда ощутил, что вера, пожалуй, нужна, не осмелился вступить в отношения, которые так много от него требуют.

Вместо этого он взялся за «Войну и мир» и, хотя пришел в ужас от ее огромности, случалось, готов

был вернуться к ее полузабытым богатствам. В то утро, когда он был к этому всего ближе, по крайней мере уже заглянул в список персонажей, Ивлин влетела в дом с какой-то чудной хозяйственной сумкой и кинулась к нему:

— Никогда не догадаешься! — Из-за спешки и волнения она даже побледнела. — Я встретила Несту… Сосен… в галантерее Джоунза. Она… ох, она живет тут в одном пансионе. Она обещала зайти. Так что, похоже, *все то* более или менее предопределено!

Быть может, такое торжество у нее в лице оттого, как замечательно подобралось слово.

— Уж не думаешь ли ты навязать эту женщину бедняге Даусону?

— Да, в общем, нет, — сказала Ивлин и засмеялась. — Я не столь самонадеянна.

Она вытряхнула из сумки катушку шелка, которая была целью ее утреннего похода, и понесла ее прочь.

В тот день, когда Неста зашла к ним, они, по счастью, были дома, а не отправились в очередную поездку. Слишком нерешительная или слишком скромная, она никак не соглашалась заранее предупредить о своем приходе. Но уж когда заявилась, вошла с таким видом, будто нисколько

не сомневалась, что ее ждут, и, разложив свои свертки, уселась так, словно с Ивлин ее связывала дружба куда более глубокая и постоянная.

Помешивая чай, Неста сказала Ивлин своим бесцветным тихим голосом, как бы исходящим из неких глубин ее существа:

— В тот день, когда ты обедала у миссис Бутройд, после твоего ухода произошло целое объяснение.

Неста засмеялась, стараясь оживить ту сценку в тайниках памяти, перед обращенным внутрь взором.

— Ты ушла, а она говорит: «Как вы думаете, я ей нравлюсь?» Для нее это было очень важно — всем нравиться.

— Что ж тут такого? — сказала Ивлин. — Это и для меня важно. Хотя не думаю, что я многим нравлюсь, — прибавила она с надеждой.

Но Неста продолжала про свое:

— Не помню, какими там словами я ее успокаивала. Да ее все равно не убедишь. И она принялась ругать свинину. Помнишь, мы тогда ели свинину.

Ивлин не помнила.

— Миссис Бутройд сказала: «Во всяком случае, свинина вам не очень удалась. Хрустящая короч-

ка совсем не та. Прямо панцирь. А ведь это один из ваших коронных номеров».

Хэролд Фезэкерли собрался было зевнуть, но не позволил себе — и разъярился:

— Удивляюсь, как вы ее не бросили.

— В конце-то концов ведь это ты делала ей одолжение, — сказала Ивлин.

И понадеялась, что маленькие дрянные пирожные в бумажных розетках — единственное, чем можно было угостить Несту (Неста сама виновата), — выглядят не так уж страшно.

— О, но она нуждалась во мне! — возразила Неста. — А когда в тебе нуждаются…

Ивлин подняла глаза: ей показалось, она учуяла знакомый запах.

Неста закуривала. Они забыли, что Неста курит. Она пристрастилась к пинцетикам, когда те были в моде, и продолжала ими пользоваться по сей день, хотя мода давно прошла. Ивлин помнила, как в общественных местах незнакомые люди подталкивали друг друга локтем, увидав Несту с сигаретой. Сейчас она сидит нарочито поодаль от хозяев дома, на указательном пальце кольцо с приделанным к нему пинцетиком, и сигарета чуть подрагивает, точно сокол на руке у сокольничего. Неста, владычица сигареты, изысканно

курила. Невозмутимая, сосредоточенная. Казалось, дым вьется, клубится, исходя из каждой поры ее широкого лица, белый на белом, лишь желтоватые круги под глазами разбивали или подчеркивали картину.

Ивлин взглянула на Хэролда. Как она была довольна, что вызвала это привидение.

— До чего замечательно быть нужной, — сказала она. — И не только миссис Бутройд. Всем им.

Неста поморщилась, будто Ивлин слишком много себе позволила, но не стала отрицать, что помогать другим — ее профессия. И по-прежнему курила. Только сигарета в серебряном пинцетике подрагивала сильней.

— Даже принцессе, — настойчиво продолжала Ивлин.

Ивлин и на расстоянии услышала, как у Несты заурчало в животе.

— Эдди ни в ком не нуждалась, — сказала Неста. — Но время от времени воображала, будто нуждается.

Хэролду следовало бы пожалеть эту крупную широкобедрую женщину, всю в черном, едва поместившуюся на узком плетеном сиденье скрипучего стула розового дерева. Но ее мясистые, напоминавшие репу телеса не взывали о

сочувствии.

— Воображать, будто нуждаешься в ком-то, все равно что и вправду нуждаться. — Ивлин раскладывала прямо-таки бутафорские пирожные, бахрома бумажных розеток шуршала. — К тому же Эдди так тебя любила.

Теперь Неста высвободила из серебряного пинцета недокуренную сигарету. Встала. И оглядывалась по сторонам в поисках своих громоздящихся у всех на виду свертков. Предоставляла супругам Фезэкерли созерцать то широкие черные бедра, то белую, полную, с выпирающим зобом шею. Ивлин не помнила, чтобы когда-нибудь видела ее в черном.

— Не любила она, — через силу выдавила Неста. — Я раздражала Эдди. Бесила.

Неста трудно глотала, давясь этими словами, так что белые щеки тряслись, а тем временем подбирала свертки и проворно подцепляла пальцами врезавшиеся в них веревочные петли.

Хэролд просто не мог на это смотреть.

Ивлин от волнения даже засмеялась.

— Это тоже своего рода потребность, — хихикая, сказала она. — Может, Эдди нужен был кто-то, кто бы ее раздражал.

Неста уже овладела собой. Она стояла улыбаясь,

ведь длинный шарф жизни связан неровно, но в общем приемлемо.

— В следующий раз, когда к нам соберешься, непременно предупреди, — сказала Ивлин. — Тогда мы лучше подготовимся.

Она коротко потерлась щекой о щеку Несты, словно скрепляя этим некую тайну.

Когда они остались одни, Хэролд увидел, что Ивлин сияет.

— В следующий раз я не попадусь, — сказал он.

Ивлин разразилась прерывистым, одышливым смехом.

— Хэролд, милый, не дури. Даусон не заяц. И ты сам видишь, бедняжка Неста всю жизнь была жертвой.

— Ты этого не сделаешь!

— Нет, сделаю! Сделаю! — Она вскинула голову. — У Даусона что, нет собственной воли? Принудить мужчину невозможно.

Она смотрела на мужа, который был ей нужен не меньше, чем любой из тех женщин нужна была Неста Сосен. Она почувствовала, вокруг глаз выступила испарина…

— Не принудить, — сказал Хэролд. — Принуждению противостоять легче.

Не то что дыму. Дым, подчас удушливый, про-

никает туда, где окна простодушно распахнуты.

— Ты забываешь, что Эдди Вулкок пыталась перерезать себе вены, — сказал он, — Известно по крайней мере о двух таких попытках.

— Эдди… что? — ужаснулась Ивлин; потом пробормотала: — Да… мне кажется… я знаю. Я забыла.

Ивлин Фезэкерли считала самоубийство, даже и не доведенное до конца, одним из самых безнравственных поступков. Вот убийство простительней, убийство говорит о силе характера.

— Но все это не имеет никакого отношения к моим безобидным словам, — сказала она.

— Ну ладно, дружок, — засмеялся Хэролд и поцеловал жену.

Его усы успокоили Ивлин.

В тот вечер, чистя зубы, Ивлин окликнула его с другого конца небольшой квартирки:

— Я и правда помню об Эдди… об одном из тех случаев, — сказала она. — Говорили, Эдди это сделала перламутровым перочинным ножиком, который ей кто-то подарил. В одной газете поместили ее фотографию — она машет с палубы парохода, отплывающего из Саутгемптона. На запястье, под браслетами, видна повязка. Неста вернулась к ней. Стоит рядом.

Ивлин нарезала на диво тоненько, в кои-то веки на диво мастерски сандвичи с огурчиками. Если они не слишком пропитывались рассолом, вкус у них бывал такой прохладный, изысканный. Она подала и кекс, испеченный по одному из своих старых рецептов, и он обошелся недешево, так как она делала его на масле, и по-настоящему дорогой Венский торт, к которому привлекла общее внимание. Уж так просила извинить, что торт покупной, а не домашний.

И разговор вела Ивлин. Хэролд почти все время сидел, будто язык проглотил, сразу ясно было, что он здесь не по доброй воле, да притом он уже чувствовал: из-за огурцов ему не миновать несварения желудка. Даусон и Неста Сосен время от времени обращались к хозяевам, а один раз мисс Сосен через них обратилась к гостю.

— Знает ли мистер Даусон, — спросила она, отвернувшись от него и опустив коричневатые веки, — знает ли он… живя вот так, на юру… что герань переносит ветер лучше, чем пеларгонии?

Даусон шевельнулся и, казалось, застонал — правда, еле слышно.

Неста Сосен выдохнула дым через нос.

— Пеларгонии чересчур хрупкие, — сказала она.

Но Ивлин положила этому конец. Каждый должен оставаться верен себе. Сама она играла свою роль виртуозно, и в подобных случаях Хэролд невольно восхищался женой.

— Какие изысканные цветы в Доломитах… — вспоминая, она закрыла глаза, словно от изысканного страдания, — мы любовались ими, когда приехали туда в отпуск из Египта. Такая жалость, что невозможно увезти, пересадить эти яркие, чистейшей окраски россыпи. Египет для них губителен. Сидней был бы не многим лучше. В Сиднее почти все альпийские цветы иссушает жара. — Стоило это признать, и все показалось еще ужасней. — Мистер Даусон, — сказала Ивлин, — я не стану вам навязывать, но просто предлагаю еще кусочек кекса, он тает во рту. Я, конечно, не бог весть как стряпаю. — При этих словах она взглянула на Несту. — Но иной раз он мне удается. И я знаю, чем угодить мужчине. Разве что Хэролд слишком великодушен. Или обманщик.

Даусон сегодня приоделся, но костюм — явно лучший в его гардеробе — словно был с чужого плеча. В нем он казался сплошь оранжевым, только глаза, не будь они такие бесхитростные, могли бы обжечь.

Такие они были ярко-синие, наверно, это и мешало Несте в них посмотреть.

Ее уговорили снять шляпу, и из-за блуждающего дыма сигареты, которую она столь прихотливо держала в руке, казалось, будто темные папоротниковые завитки и переплетения волос и нависающие замшевые веки существуют отдельно от нее. Сегодня она была в сером. К удовольствию Ивлин. Серое вполне уместно.

Но Хэролду и без огурцов было бы не по себе. Хотелось остаться в одиночестве, как это умел Клем Даусон.

Даусон сидел, сцепив толстые пальцы, и на них видна была кустистая оранжевая поросль.

Потом Ивлин Фезэкерли, опустив уголки губ, спросила:

— Чем же вы в последнее время занимаетесь, мистер Даусон?

Потому что ощутила — нить вечера провисает.

Даусон выпрямился и ответил:

— Сказать по правде, я варю апельсиновый джем.

Вдруг Неста заерзала, да, заерзала на оставшемся от матери Хэролда стуле розового дерева, которому по-прежнему оказывала предпочтение, хотя едва помещалась на нем.

— Неужели апельсиновый? — резко спросила она.

Ивлин забыла, какие у Несты глаза. А они — цвета топаза, блестящие, даже сверкающие.

— У меня он никак не получается, — выдохнула Неста.

Тут Фезэкерли осознали, что Неста Сосен и Клем Даусон обращаются друг к другу прямо и открыто.

— Он почти всегда подгорает, — призналась Неста.

— Не подгорит, если бросить туда три монетки по два шиллинга.

— Пф-ф! — Она выдохнула дым. — Надо еще про это не забывать. Моя тетушка, Милдред Тодхантер, учила меня этой хитрости с монетками.

Несколько минут эти двое сидели и смотрели друг на друга. Потом осознали, что на них смотрят, и оба стряхнули с себя воображаемые пылинки. Сигаретный пинцетик Несты разжался и выпустил потухший окурок. Даусон обвел комнату рассеянным, невидящим взглядом.

Напитанный влажной духотой день вовсе уж неожиданно пронизало холодом.

— Из всего, во что верят эти проклятые египтяне, самое непостижимое — погружение храмов

под воду.

Ивлин умышленно выждала несколько недель и лишь тогда села за письмо, которое сочиняла чуть ли не все это время. Оно начиналось так:

Дорогой мистер Даусон,
мне кажется, мы, люди, достигшие определенного возраста, очень зависим от своих друзей, и нам следовало бы чаще собираться под одной крышей…

Она помедлила, полюбовалась написанным…

…то у одного, то у другого. В сущности, я пишу, чтобы пригласить вас на дружеский, без затей завтрак…

Те, кто пугал ее и восхищал, написали бы «ланч», но, поразмыслив, она отказалась от этого слова из соображений психологических…

…если перспектива покинуть Ваш любимый дом и нарушить заведенный распорядок дня не кажется Вам чересчур скучной…

— Ивлин, ты что делаешь? — спросил Хэролд.

— Пишу письмо.

Дальше он не спрашивал, и так понял.

Ответа на письмо Ивлин не получила, это противно, но ведь глупо было ждать простейшей вежливости от такого дикаря, говорила она себе.

И тут пришла записочка:

Уважаемая миссис Фезэкерли!

Я пишу вместо мистера Даусона, он хворает. Я хожу туда по вторникам гладить, и он просил меня написать это письмо. Он сильно хворает. Чего-то у него с сердцем. Говорят, он оклемается, и впрямь оклемается, потому как сам того желает. Пишу, только потому как он просил и как вы для него человек уважаемый. Но он не велит вам или кому другому приезжать. Больно далеко ехать.

Искренне ваша

И. Перри (миссис).

— Даусон серьезно болен, — сказала Ивлин. — Сердце.

— Бедняга Клем, — сказал Хэролд, сгибая и разгибая пальцы. — Давай съездим к нему.

— Нет, — сказала Ивлин. — Такому человеку,

когда он хворает, люди невмоготу. Но есть ему необходимо. Чтобы жить. Может, я могла бы что-нибудь ему отвезти.

Обоим представился Даусон, скрюченный на кровати в продуваемом всеми ветрами домишке. И Хэролд согласился. Ивлин как-никак женщина.

Она купила овощей, приготовила суп и налила в жестяной бидон, но в автобусе супом все-таки плеснуло на ее синюю юбку. И всю дорогу, когда каблуки подворачивались на камнях, она должна была напоминать себе, что страдает ради доброго дела.

Узкая дорожка сквозь ветер, вниз по склону скалы, над недвижными кактусами и дрожащими гибкими кустиками тимьяна привела наконец к безмолвному дому. В кухне капало из крана, и Ивлин пожалела, что нет с ней Хэролда. Неуместной скульптурностью бросилось в глаза приспособление для варки яиц.

И — Клем Даусон, лежащий на кровати. Он кинул на гостью мимолетный взгляд из-под рыжих бровей.

— Я никого не ждал, — сказал он.

Ветер с моря завывал среди альпийских розовато-лиловых цветов и трав.

Она наверняка страшно растрепанная.

— Не можем же мы бросить вас на произвол судьбы. Смотрите, я принесла вам хороший, питательный суп.

Но он не посмотрел. По-прежнему лежал с закрытыми глазами — похоже, он из тех мужчин, которые, заболев, впадают в мрачность и их надо умасливать.

— Разогреть вам немножко супу?

— Нет, — сказал Даусон.

— Ну что ж, — ее милосердие не желало гаснуть, — я поставлю его в холодильник, и вы сможете поесть, когда будет охота.

Ивлин вернулась в кухню, которая была уже ей знакома. Спальню, вот что ей хотелось рассмотреть. В тот первый раз хозяин не завел их туда.

Холодильник оказался не набит, но и не пуст. Ивлин вылила суп в кастрюлю и поставила ее так, чтоб была под рукой. Только теперь она заметила рыбный пудинг, на вид приготовленный весьма искусно, от него уже откромсала кусок, надо думать, неловкая рука больного.

— Рыбный пудинг выглядит очень даже аппетитно, — сказала Ивлин, когда, по-прежнему исполненная бодрости, вернулась в спальню. — Он выглядит таким легким, и такой нежный

соус. Это, наверно, ваша миссис Перри готовила, которая нам написала, да?

Даусон фыркнул:

— Отродясь она не сготовила ничего съедобного. Судя по тому, что приносит мне пробовать.

Сказано это было с необычайной горячностью, Ивлин сразу засомневалась, так ли уж он серьезно болен.

— Нет. — Даусон запнулся, потом докончил: — Это мисс Сосен принесла.

— О-о? — выдохнула ошарашенная Ивлин.

Но ведь она сама их свела, теперь надо принять новость как должное.

— Я так рада, что у вас нашлось что-то общее, — сказала она, лишь бы не молчать. — Хотя бы еда. Что может быть важней! И Неста такой замечательный человек. Такой надежный.

Она сидела скованно, точно пришла в больницу навестить больного, смотрела на свои кольца, обручальное и венчальное, и сама себя слышала: говорит так, будто нахваливает товар в магазине.

— Мисс Сосен — она вполне, — сказал Даусон, все не открывая глаз и подергивая носом, будто сгонял несуществующую муху.

Ивлин Фезэкерли представила приход Несты.

Услышала их общее молчание. Однако разве это не естественно? Такие чуют друг друга. И сходятся. И плодятся. Ужасное выражение.

Выведенная из душевного равновесия, она брезгливо оглядела комнату, которую до этой неприятной неожиданности ей так хотелось получше рассмотреть. До чего они жалкие, эти убежища одиноких мужчин. Целомудренней даже, чем буфеты старых дев. Яйцо для штопки, сегодня без носка. Почти уже исписавшийся плотничий карандаш. Аккуратнейшие мотки бережно сохраняемых бечевок. Керосиновая лампа под матовым абажуром, которой все еще пользуются. «Завоевание Перу». Пара рукавиц — зимним утром здесь, на морском берегу, они едва прикрывают шершавые, узловатые руки Даусона.

Да, что и говорить, невысокого полета птица этот Даусон.

Потом он открыл глаза, посмотрел на нее и сказал:

— Мисс Сосен хорошая.

Ивлин Фезэкерли облизнула сухие губы. Она собиралась предложить что-нибудь заштопать. А вместо этого кашлянула и посмотрела на часы.

— Как бы мне не пропустить автобус.

Прошла на кухню за своим бидоном, опять открыла холодильник и указательным пальцем отковырнула кусочек приготовленного Нестой рыбного пудинга. Вкус был восхитительный, и чем-то он приправлен, не распознать.

Она вернулась в спальню, взяла мясистую руку больного.

— Клем, дорогой, — никогда еще она не называла его по имени, — мы с Хэролдом готовы все для вас сделать… все решительно… в память о прежних временах… скажите только слово.

Даусон слабо улыбался — должно быть, засыпал, повернув голову к скучной выбеленной стене.

Ивлин ушла от него, подозревая, что на сей раз в простаках она, а не он. Брела по неровной дороге и спотыкалась, и ей неотступно виделась дешевая желтая мебель, и точила мысль, что ни в первый, ни во второй раз не удалось ничего раскрыть в этом как будто и не запертом доме и что, взяв Даусона за руку, она не ощутила и намека на ответное пожатие.

Ивлин не стала сразу говорить Харолду, что Неста навещала Даусона, а немного погодя говорить было поздновато. Она все ждала, что Неста даст ей понять, каковы ее намерения — этого требова-

ли правила дружбы. Однако Неста не приходила. Она просто воспользовалась нами, начала понимать Ивлин, а теперь, когда познакомилась с этим Даусоном, избегает нас и действует тайком. Что ж, хочет себя унизить — ее дело. Загадка женщины, чье лицо полускрыто сигаретным дымом, неровно наложенной пудрой и паутиной дружеских сантиментов, или затянутой в уродливую маунтпалмерстонскую форменную блузу преждевременно созревшей школьницы с вязаньем в руках, подле высоких сосен, перестала быть загадкой: в лице этом — прирожденное коварство.

В какую-то несообразную минуту — да вся история была несообразная — Ивлин позволила себе вообразить стареющую Несту в одну из самых судорожных минут любви: большой складной нож пружинистой плоти, дергающийся крестец, груди вздымаются и шлепаются, точно закипающая каша в кастрюле.

— Какая гадость! — не сдержалась Ивлин.

И поспешно перевела дух.

Хэролд Фезэкерли повернулся от напористо пробивающих в горе туннель рабочих к жене, окутанной облачком восторженной нереальности, которое она вынесла с собою из их новотюдорского кокона под открытое небо. Ибо Фезэкерли

отправились в очередную «вылазку», как называла это Ивлин. Поехали туристским автобусом по Снежному маршруту.

— Что еще за гадость? — крикнул Хэролд.

Побоялся, что она не услышит за громкими голосами рабочих и грохотом раскалывающихся камней, и крик его прозвучал особенно сердито.

— Я забыла сказать, — прокричала в ответ Ивлин и оглянулась через плечо, не грозит ли гора обвалом, — в тот день, когда я навещала Даусона, выяснилось, Неста приносила ему рыбу… рыбный пудинг!

На губах у нее уже не осталось помады, и они казались бесцветными. В тот миг Хэролд пожалел, что женат на своей жене.

— Я часто удивляюсь, — опять закричал он, и голос старчески задребезжал, — когда ты вспоминаешь что-то из прошлого, как тебе удается пережить это заново.

Тут он спохватился, что стало тихо, и подосадовал на свой дребезжащий голос.

Вечером в гостинице Хэролд заказал к ужину бутылку бордо, чтобы придать вкус не слишком аппетитному мясу. И как-то отметить этот день.

— Ну, готовят тут неважно, правда? — виновато сказал Хэролд. — Совсем не то, что надо.

— А чего ты ждал?

Ивлин улыбнулась ему, она вновь стала земной и практичной, как только переоделась. Оглядывала другие пары в зале, спутников по туристскому автобусу, толстых и тонких, выпивающих и непьющих, и старалась вообразить, будто они с Хэролдом за своим отдельным столиком — ей всегда требовался отдельный столик — блестящие любовники и плывут на пароходе по Нилу.

И тут Хэролд все разрушил:

— Интересно, этот Нестин пудинг… он хоть куда-нибудь годился?

Рот Ивлин, расцветший было в романтическом ореоле их прошлого, мгновенно увял.

Потом она сказала:

— Я и правда его попробовала, он был совсем неплох.

По крайней мере треснул лед, что заморозил ее отношения с Нестой Сосен и Клемом Даусоном. Она опять стала их упоминать. Оказалось, что и во время «этой ужасной поездки», какой она осталась в памяти Ивлин, и после она могла пошутить над собой, особенно прибегая к помощи пресловутого пудинга — в этом мягком, белом, смехотворном месиве увязло и отчасти утратило силу коварство Несты.

С унылой сдержанностью Хэролд говорил, что надо навестить «беднягу Клема». Ивлин сказала, да, необходимо поехать обоим, это их долг, пусть даже он стал во время болезни не в меру раздражительным и обидчивым. Но их сковало бессилие. Да, они поедут, пусть только станет прохладней, или теплей, или больной поправится настолько, что их приезд доставит ему удовольствие. И они все не ехали. Та женщина, миссис Перри, наверняка приходит и обихаживает его, говорила Ивлин, похоже, она человек превосходный.

Они еще долго бы так рассуждали, не получи Хэролд письмо от Клема:

Дорогой Хэролд,

пишу, чтобы поставить тебя в известность, что мы с Нестой Сосен решили попытать счастья. В прошлом месяце мы поженились. И сразу поехали домой, так как чувствовали, что в нашем возрасте свадебное путешествие выглядело бы нелепо. Привычки у нас обоих уже приобретены, если не сказать неизменны, и мы не питаем чрезмерных надежд.

Ты ведь знаешь, Хэролд, я никогда не

умел выражать свои чувства, но не могу упустить эту возможность и только представляю, как было бы все иначе, если бы мы не потеряли друг друга или не встретились бы вовсе. Я думаю, больше всего на меня всегда влияло то, что невозможно вместить. Например, море. Что же до человеческих отношений, хоть сколько-нибудь серьезных, много ли от них остается после того, как они просеяны сквозь решето слов?

Ну и письмо! – прямо слышу, как ты это говоришь. Но можешь его забыть, и когда мы встретимся в следующий раз, все останется по-прежнему.

Мисс Сосен (эти слова он зачеркнул) *Неста шлет привет твоей жене, к которой она, мне кажется, очень расположена.*

Если это письмо и не ошеломило супругов Фезэкерли, у них по меньшей мере звенело в ушах.

— Какая дикость, — сказала Ивлин.

Опять и опять она возвращалась к письму, словно в поисках окна, через которое взгляд уловил бы что-то хоть сколько-нибудь знакомое. Это и вправду дико. Чтоб не сказать непристой-

но, но так, пожалуй, слишком. Ведь она и сама тут поневоле замешана. Для Ивлин Фезэкерли привязанность означала нечто если и не материальное, то вполне явственное. И Неста Сосен, с ее расплывчатыми чертами и поникшей грудью, теперь становилась явственней. Дальше отбрасывала тень из-под гигантских деревьев, предлагая связанную из серой шерсти оборку. Ивлин билась, старалась разобраться в своих чувствах. Но долго раздумывать не позволила себе, лишь пока не закололо кожу иголками. И, как в детстве, сбежала по скользкой хвое назад, в гостиную.

— Не знаю, на что они там надеются, — с хриплым смешком сказала она, стукнув ладонью по письму. — Как бы только они не получили, чего вовсе и не ждут, — чуть ли не мечтательно прибавила она. — Почти со всеми так и бывает.

Но Хэролд Фезэкерли стал решетом, через которое слова бежали, как вода, а с ними и все испытанное или, точнее, то, что не было испытано. Мальчишка, плачущий среди зловония разящих дезинфекцией гальюнов. *Что случилось, Фези, малыш?* Широкая, бугристая от мозолей рука похлопывает по плечу, прогоняя горести. *Ничего.* И несказанное блаженство, хоть и видишь при

сумеречном свете, как тут же в политых мочой опилках копошатся мерзкие червяки. Ветер на море, омывающий кожу, продувающий все, кроме самых укромных уголков сознания. Зажигательное стекло голубого глаза. Неподвижный вопросительный знак белого ибиса среди папирусов. Мечты и пророчества, бьющиеся о кое-как сколоченные сосновые двери.

Но тайные значения письма, от которых его бросало в дрожь, пока он сидел в своем меблированном стойле, были, разумеется, еще и трепетом, и оглушающими страхами возраста.

Когда немного спустя супругов Фезэкерли призвали в дом на скале, все четверо были не то чтобы старые, но пожилые. (Уклониться от этого визита никак нельзя, заявила Ивлин.) Все либо костлявые, либо расплывшиеся. На костлявых некогда модное и элегантное платье висело мешком. А Клем и Неста Даусон (именно Даусон) явно выпирали из своих костюмов, задуманных как просторная, практичная одежда.

Ивлин видела: Даусоны до ужаса схожи — и несхожи.

А что видел Хэролд, кроме сверкающего за окнами моря, он и сам не знал. Уж конечно, дыхание ветра. За окнами даусоновского дома всегда был

виден ветер.

Чету Фезэкерли пригласили на чашку чая.

— Подумай, Хэролд, ну как не стыдно Несте, она ведь такая мастерица стряпать.

— Большего, возможно, не захотел Клем. Теперь уже не с одной Нестой надо считаться.

— Ах, Клем! — Голова у Ивлин завертелась, как на шарнирах. — Дура она, если не может поставить на своем!

Фезэкерли привезли молодоженам металлическую подставку для гренок, хотя Ивлин опасалась, что Даусонам, которые обошлись с ними так небрежно и попросту обманули, стыдно будет принять подарок.

Но вот они все за столом, чашки в неуверенных руках грозят опрокинуться, тарелочки с сандвичами еле удерживаются в равновесии. Ивлин заметила — посуда уже не простая белая, Клемова, а настоящий сервиз, вероятно, Неста его унаследовала от какой-нибудь из старых дам или от матери.

Свет коснулся чашек довольно тонкого фарфора и обратил их в прозрачную яичную скорлупу, из которой еще не совсем ушло дыхание жизни.

Чашка Хэролда бренчала по блюдцу. Под ветром бренчали неплотно закрытые окна.

— Ах, какая прелестная брошка! — не сдержалась Ивлин.

Ибо на серый джемпер вязаного костюма, под крупной белой шишкой зоба, Неста приколола брошь — на черном мраморном фоне яркая мозаика цветов. Конечно же, не свадебный подарок. Ивлин не могла представить, чтобы мясистые руки Клема держали что-нибудь в итальянском духе.

— Это тебе принцесса… она оставила? — спросила Ивлин.

— Ну, нет! — оскорбленно ответила Неста и опустила коричневатые веки. — Ничего итальянского Эдди оставить не могла. Драгоценности она только носила. Они принадлежали Фернандини Лунго. И потом, — прибавила она, смягчая резкость ответа, — эта брошка пустячок. Я сама ее приобрела. В сувенирной лавочке. На Понте-Веккьо.

Вдруг показалось — фарфоровая чашка для нее тяжелое бремя.

— Но она милая. — Это было извинение.

— Прелестная, — с ударением сказала Ивлин, хотя интересоваться тут было уже нечем.

С какой стати ей даже муторно стало? Ничего страшного не случилось. Поправляя ошибку,

которую мог бы сделать кто угодно, Неста сама пояснила, что брошка никакая не ценность. И однако Ивлин впору было завопить — из-за своей оплошности, из-за Даусонов, нет, из-за всех их четверых.

Неста разбила одну из доставшихся по наследству чашек. И от огорчения застыла на миг дольше, чем надо бы, в нелепой позе, с вывернутыми внутрь коленями. На ней были серые чулки в резинку, наверняка собственной вязки. Ноги под ворсистой юбкой точь-в-точь как у хоккеиста, от рожденья не пригодного для этого спорта.

— Что ж ты как неловко, — упрекнул Даусон. (За все время он ни разу не назвал жену по имени.)

— Но ты ведь знаешь, я неловкая, — сказала Неста… И сказала неловко.

Он опустился на колени, на половицы, вел себя так, будто чашка была его, а не жены. Хэролд смотрел на руки, собирающие осколки, и опять вспомнилось сорочье яйцо, которое Клем достал и дал ему выпить через дырочку, когда они были мальчишками.

— Не забудь… это в ведро для свалки, — предупредил Даусон. — У нас три ведра, — объяснил он гостям, — одно для свалки, второе для компоста и третье для мусоросжигателя.

Ненадолго замолчали, слышно было только, как скатываются и позвякивают осколки чашки, надо полагать, Неста сбрасывала их в нужное ведро.

В тот день Неста не пыталась курить. Вместо этого она принесла свое вязанье, и когда терпеливо раскручивала серые и коричневатые усики шерсти, это производило такое же впечатление, как если бы курила.

Даусон сидел нахмурясь, вероятно, прислушивался к звуку спиц. Оба они прислушивались.

Ивлин чувствовала, она тонет в происходящем, а берега от нее скрыты.

Она повернулась к окну, так что серьги ударили ее, и заговорила громко, небрежно, с нарочитой беспечностью:

— Наверно, отсюда видны просто изумительные закаты. Над морем.

Даусон откашлялся:

— Солнце садится на западе, с другой стороны горного кряжа.

Неста продолжала вязать, улыбаясь довольно вымученной улыбкой.

— Мы любуемся восходом, — сказала она. — Почти каждое утро. Это чудесно.

— Должно быть, вы ранние пташки! — про-

бурчала Ивлин, обратив недовольство собой в шутливый упрек другим.

— О да. Мы встаем рано, — с гордостью подтвердила Неста и кивнула. — Мы оба.

Даусон поднялся. Отошел от жены и стоял, глядя в окно. Солнце уже покинуло море ради мира по другую сторону кряжа, оставив тончайший налет безукоризненно белого света на подернутых рябью водах.

Чете Фезэкерли оставалось слушать спицы, в лад их постукиванью Неста покачивала головой и едва заметно шевелила губами. Ивлин всегда терпеть не могла, чтобы не сказать боялась, безмолвия пустых комнат, для нее стук костяных спиц был тоже своего рода безмолвием, и она дала Хэролду знак собираться.

Они оглянулись. Странно это было — видеть Даусонов, стоящих *вместе* у калитки ниже уровня дороги, в иссякающем вечернем свете.

На обратном пути Ивлин и Хэролд не разговаривали.

Ивлин следовало бы поблагодарить Даусонов письмом на толстой белой почтовой бумаге, которая была одной из ее дорогостоящих причуд. Она была мастерица писать такие письма, набрасывала их размашистым почерком. Но на сей раз

мешкала. А все артрит большого пальца.

Хотя за всю жизнь она получила от Несты только два или три письма, она тотчас догадалась, что письмо от нее, и отложила его до возвращения Хэролда. А когда он вернулся, передумала и не распечатала, пока не осталась одна.

Дорогая Ивлин! (Сама Ивлин написала бы «Дорогая моя Ивлин».)

Не знаю, зачем я пишу, разве что сказать, как я тебя люблю. По-моему, Клем тоже тебя любит, только никогда бы в этом не признался. Оба мы неразговорчивые, и от этого наш союз очень странный; я всю жизнь жила с павлинами!

Мало кто знает, что павлины тоже спасители, они искупают наши грехи. Я начала это понимать, когда мы побывали в том храме над Салониками… (или, может, это монастырь?)… там так пустынно, что не поймешь… и вдруг вечер наполнился молчаливыми павлинами… я впервые увидела их в воздухе… потом они стали усаживаться на ночь, хвостами к веткам кедра.

Клем, я думаю, не верит в искупление,

потому что в этом не нуждается, у него такие ясные глаза. Чистейшему хрусталю до них далеко. Мы с ним очень во многом схожи, а вот в этом расходимся.

Да, моя бедняжка Ивлин, ты так и не увидела закат! Позволь сказать тебе, что чаще всего он пронзителен, как крик павлина… хотя иной раз вдруг отворит вены, отдавая свою кровь, скорее из любви, но не из милосердия.

Неста Сосен.

Уже сама эта подпись поразила Ивлин Фезэкерли как удар молота. Как же теперь быть с письмом Несты? Будь в нем открытый огонь, можно бы тут же его подавить. А так она положила письмо в ящик и там оно горело, горело и не сгорало.

Никогда еще Ивлин не была так напугана. Самое ужасное, что никогда она не сможет рассказать об этом Хэролду, ни разу она не рассказала ему ничего хоть сколько-нибудь важного. Если б позвонить в полицию или, того лучше, пожарникам, они бы вырвали ее из лап страха. Но это невозможно, хотя есть телефонный справочник и их номера обведены кружками. Не к трезвону приближающихся машин надо прислушиваться,

но лишь к испуганным ударам своего бесчувственного сердца.

Вошел Хэролд и только и сказал:

— Хочу кому-нибудь показаться насчет спины. Я думаю, в нашем возрасте разных болей не миновать.

Он сел, пощипывая кожу на тыльной стороне ладоней.

— Я уже три утра подряд звоню в Газовую компанию, а они, видно, не понимают своих обязанностей, — сказала Ивлин, глядя на его сморщенную посиневшую кожу.

И все смотрела на эти так хорошо знакомые руки.

— Хэролд! Не в порядке передняя горелка. Были бы у тебя руки половчей…

— Следовало бы послать за Клемом Даусоном. Клем починил бы, — сказал Хэролд; случалось, он разговаривал суховато.

На сей раз Ивлин избежала того, от чего невозможно было уклониться утром в одном из каменных ущелий, появившихся в их городе стараниями прогресса. Похоже, ей никак не миновать встречи с Даусонами. Хотя перед ней оказался во плоти один только Клем. Под пиджаком на нем был твидовый жилет, каких уже

давным-давно не носят. По крайней мере это давало ей определенное преимущество. И выражение его лица тоже. Чего-то в нем недоставало.

— Кого-кого, а уж вас, Клем, я никак не ожидала встретить в городе, — таким вот лихим тоном она разговаривала обычно с сильными, но безобидными представителями мужского пола.

Он пробормотал что-то про своего поверенного. Или про поверенного Несты?

— Вы знаете, — сказала Ивлин, — я ужасно рада, что Неста в ваших руках. — Однако тотчас отвернулась от них, от красных пальцев, беспомощно сплетенных на жилете. — Бедняжка Неста столько раз создавала дом для других, уж не говорю о ее скитаньях по Европе с Эдди Вулкок. Так отрадно видеть, что теперь она создает свой собственный дом.

Речь вышла удачная, даже изящная, Ивлин чувствовала, ею можно гордиться.

— Не создавала она дом. Дом уже был, — сказал Даусон.

— Но женщина прибавляет какие-то милые мелочи.

Ветер — не тот, что сотрясал дом на скале, — промчался по бетонному ущелью, протрещал между ними.

— Не из тех она была женщин, — сказал он. — Никаких выкрутасов. Да и я не из тех, кому приятна всякая суета.

— Все получилось просто превосходно. У меня такая тяжесть с души. — Ивлин обрадовалась, что можно быть искренней.

Пока до нее не дошло — Даусон говорит о Несте в прошедшем времени. И она почувствовала, что вся в гусиной коже.

Даусон странно вытянул губы; сухожилия на шее напряглись, точно проволока в той мудреной штуковине. Сейчас он похож на одно из своих же изобретений или на какую-то сбивающую с толку современную скульптуру. Скульптуру, что непрестанно движется сама по себе.

— Неста больна, — услышала Ивлин.

Губы Даусона под рыжей щетиной усов все еще вытягивались в поисках нужного слова, и казалось, так будет вечно.

Надо самой попытаться положить этому конец.

— Вокруг столько больных, — согласилась Ивлин. — Вирус гриппа. Я иной раз думаю: чем мы хворали до того, как были обнаружены эти вирусы? Для всех, у кого не в порядке бронхи, в это время года ветер такой предательский.

Она поспешно опустила глаза. Не помнила она, как там у Несты с бронхами. Но кашлянула за всех тех, кто подвержен бронхитам.

Выражая сочувствие, она твердо решила и дальше сочувствовать лишь в общей форме. Не станет она смотреть в остановившиеся, подернутые слезой глаза Даусона.

— Я что хочу объяснить, — о чем-то он просил. — Неста сама туда пожелала. Для лечения. Уж одно это лечение должно быть ужасно. Я бы ни за что ее туда не поместил… если бы не ее желание… хотя по дороге в эту преисподнюю мы и правда повздорили… она бросила мусор не в то ведро. Это, вероятно, было последней каплей. Для нас обоих. Мы оба слишком добросовестные. И молчаливые. Два молчания, знаете ли, могут в конце концов глубоко ранить друг друга.

Опять Ивлин уставилась на его руки. Не настолько он павлин, чтобы ему пришло в голову перерезать себе вены. Его страдание куда более едкое, подспудное.

— Мне так… так… жаль, — сказала Ивлин. — В какой она больнице… или…

Даусон сказал ей название. Которое она, конечно, забудет. Уже забыла.

Ну был бы тут Хэролд. При крутых поворотах

от Хэролда толку чуть, но все-таки он придает ей силы действовать с большим блеском.

Что до Клема Даусона, горе ли его, угрызения ли совести, что там он ни испытывал, докучливой навязчивостью становятся несносны. Веки у него воспаленно-красные, будто накрашены.

Помочь ему было нечем, и Ивлин пошла прочь. Она ступала так бесшумно, словно улица застлана ковром, словно все двери заперты, словно все несчастные, но, к счастью, беспомощные пациенты сидят за этими дверьми связанные и ждут новых кар за свои грехи.

Придя домой, она выпалила:

— Я встретила Даусона. У Несты какой-то нервный срыв. Она в этой… он назвал мне где, но я забыла.

Она тараторила, комкая слова, не для того, чтобы Хэролд ничего не понял, но чтобы поскорей с этим покончить.

Хэролд, всегда склонный изумляться, сейчас, похоже, ничуть не изумился.

— Разве, по-твоему, это не странно? — спросила Ивлин, не в силах дольше терпеть.

— Нет, — медленно ответил он. — По-моему, не странно.

— Пожалуй, ты прав, — сказала Ивлин. — Нын-

че столько народу страдает нервным расстройством. Мы живем как под дамокловым мечом… вечно угроза войны… и спешка… и никакой прислуги.

Хэролд сидел, пощипывая кожу на руках.

— У Даусона у самого было нервное расстройство, когда в Египте его уволили со службы, — сказала Ивлин.

Примерно в это время Хэролда потянуло к далеким прогулкам, он уходил один, не говоря Ивлин куда. Не одолевай ее страх, она, наверно, стала бы брюзжать, допрашивала бы его с пристрастием, гадала бы, уж не завел ли он любовницу. Но страха ей и без того хватало, новые поводы были ни к чему, и она помалкивала. Так что Хэролд мог пока отправляться в эти одинокие походы. Он бродил по безлюдным уголкам побережья, среди утесов и лантаны. Однажды он набрел на свалку всякого хлама и уселся передохнуть на край разодранного кресла. Он был глубоко тронут множеством обретших свободу предметов, в частности сломанной музыкальной шкатулкой, оставшейся от поры более утонченных изобретений. Случалось, его застигали солнечные закаты, и их отрешенное неистовство было ему на благо.

Несмотря на все это, он был по-прежнему

предан жене. Ивлин ему жена. Если от долгой совместной жизни понятие это стало отвлеченным, все равно оно укоренилось в сознании с железной неколебимостью.

Хэролда влекли и вечера цвета железа, когда море окрашивалось в тона устриц и стали. Манил ветер, что вздымает валы на море, а тебя пробирает до костей, режет, как ножом. Хорошо сесть в конце дня на паром и безвольно отдаться его движенью. Пронизанные ветром воды гавани под стать сумрачным глубинным думам Хэролда. И ничья чужая мысль ему здесь не навязывается. Половина пассажиров слишком поглощена своей респектабельностью и вечерними газетами, а другая половина с безошибочным чутьем держится тех, в ком признает своего брата-повесу.

Достигнув зрелых лет, Хэролд часто не без смущения слышал, что у него, мол, «почтенная наружность». Не сознавай он вполне трезво свои недостатки, он бы нежился в лучах этой лести. А так приходилось только посмеиваться. И в том, как вызывающе он запахивал свою «почтенную» персону в вышедшее из моды пальто английского твида, чувствовалось даже некое отвращенье. Эта его причуда под конец перешла в привычку, что сказывалось во время его одиноких прогулок —

например, однажды к вечеру, когда он ни с того ни с сего вспомнил нелепые пинцетики, которыми Неста Сосен, покуривая, держала сигарету.

Он стоял в одиночестве на палубе ныряющего парома, над волнами, с которых слиняли обычно бьющие в глаза краски. Для большинства пассажиров тут было слишком бурно, слишком ветрено. Они предпочли тесниться за стеклом, оберегая свою изнеженную шкуру. Кое-кто из них явно уповал на выпивку в качестве дополнительной защиты. Кроме Хэролда Фезэкерли, лишь еще один — то ли храбрец, то ли одержимый — склонился над поручнями на носу. Широкоплечий, кряжистый человек этот неотрывно глядел за борт, и Хэролд решил было, он страдает морской болезнью, но, проходя мимо, заметил — оба они наклоняются в лад качке, оба одинаково вдыхают запах идущего по волнам судна, и незнакомец этот вовсе не незнакомец, а его друг Даусон.

Даусон оглянулся. Он был взлохмачен встречным ветром, но вовсе не пьян. Будто мальчишка, он свернул шляпу и засунул в карман пальто, застегнутого на единственную, готовую вот-вот отлететь пуговицу. От сильного порыва ветра его огненные коротко стриженные волосы стали дыбом. Он распустил губы, должно быть, чересчур

наглотался воздуха.

Встреча была слишком неожиданная. Хэролд предпочел бы ее избежать. Несмотря на его долгую и задушевную дружбу с Даусоном, он не мог придумать, как начать подходящую беседу.

— Я ездил навестить жену, — сразу же выпалил Даусон, словно только и ждал случая поделиться.

— Ей, наверно, было весьма приятно, — сказал Хэролд и сам услыхал, как напыщенно это прозвучало.

— Не думаю, — сказал Даусон. — Она была очень раздражена. А прежде с ней этого не бывало. Раздражительность — свойство из тех, какие мы оба не приемлем. Но сегодня она была… и говорить не хочется… злобная. Все время жаловалась, что кричат павлины. Конечно, от уличного движения там чудовищный шум. Да еще для человека в ее состоянии. Она, должно быть, про этот шум говорила.

Хэролд Фезэкерли не прочь бы разобраться насчет павлинов, хотя бы самому поразмыслить, но сейчас было не время. Понял он другое — в могучем теле Даусона душа уже далеко не так несокрушима, как прежде. Подобное открытие ошеломляет.

Не окажись это состояние столь преходящим, оно вы-звало бы брезгливость. Но Даусон — или, может быть, сам дух его громоздкой плоти — решил еще побороться. Он повернулся навстречу обвинению, сцепил руки за спиной на поручнях, выставил грудь и живот навстречу удару, лицо — навстречу кулаку, выпрямился, даже откинулся назад, по ходу движения катера. И в этот миг солнце рассекло грязно-серую чреду облаков, вскрыло и чрево волн, так что из глубин вновь выплеснулись всем напоказ кричащие краски павлиньей яркости и пестроты.

— Господи, — захлебываясь, тяжко выдохнул Даусон, — как-нибудь, когда мы встретимся… при других обстоятельствах… мне надо будет… я попытаюсь рассказать тебе, Хэролд, все, что пережил. — Он говорил с закрытыми глазами. — С нами вот что случилось. Со мной и с этой женщиной. Мы оба жили в одном и том же измерении. Это нас потрясло — вдруг увидели, есть человек, способный читать твои мысли.

Хэролд Фезэкерли и не глядя знал, что из-под красных век под рыжими, в налете морской соли бровями текут слезы.

— Это положило конец тому, что вообще не должно было случиться.

Вскоре они вошли в спокойные воды, под полосатый шатер света. Пассажиры поднимались по мягко покачивающимся дощатым сходням. Откуда-то доносилась прилипчивая мелодия духового оркестра.

Они по привычке обменялись рукопожатием. Один сошел с парома и отправился на автобус, а там и домой — к своему словно бы дому, другой возвращался тем же паромом, никаких других намерений у него как будто не было.

Поначалу Хэролд не упомянул о встрече с Даусоном на пароме, а потом не упоминать было уже просто: ведь это касалось только его.

— Хорошо прошелся? — спросила Ивлин, когда он вернулся, и откусила только что вдетую в иголку шелковую нитку.

В юности она считалась мастерицей вышивать, но вскоре забросила это занятие, опасаясь, как бы люди не усомнились в ее утонченности. И лишь недавно, «под старость», как говорила она с усмешкой, она наполовину иронически, наполовину от тоски по прошлому принялась за какое-то сложное вышивание, чтобы занять себя, когда супруг пренебрегал ее обществом.

Застав жену за вышиванием, Хэролд почувствовал себя виноватым. Весь этот вечер взгляд его

был устремлен не столько в книгу, которую он пытался читать, сколько на женину иголку. Он рад был бы поговорить с Ивлин, да не мог. Хорошо, хоть до зимы недалеко и они уедут в Кэрнс.

На следующий вечер он купил ей букет роз.

— Дорогой ты мой, как мило с твоей стороны! — вырвалось у Ивлин, от неожиданности она и не заметила, до чего помяты завернутые в бумагу бутоны.

Увидев, какой неудачный букет он выбрал, Хэролд почувствовал себя еще виноватей, да притом понял, что опять его надули.

Он принес ей и вечернюю газету.

— Не знаю, зачем мы зря тратим деньги, — всегда говорила Ивлин Фезэкерли.

Но вечерние газеты читала. Ей нравилось читать гороскопы, «просто для развлеченья», и она с удовольствием — нет, сказать «с удовольствием» не годится, в этом было бы что-то нездоровое, — она читала или, по крайней мере, проглядывала сообщения об убийствах: ее стали занимать «выверты человеческой натуры».

— Есть сегодня интересные убийства? — спросил Хэролд как о чем-то само собой разумеющемся.

— Нету, — ответила Ивлин и тоном, каким

обычно изрекала что-нибудь забавное во время их плаваний, продолжала — Убийцам изменила выдумка.

И тут газета зашелестела у нее в руках.

— Хэролд, — сказала она. — Клем… Клем Даусон умер.

Хэролда Фезэкерли оглушило.

— Что? — тупо спросил он. — Как… Клем?!

— Несчастный случай… похоже. — Ивлин держала газету как можно дальше от себя. — Вот ужас!

Она решительно делала вид, будто речь идет о ком-то постороннем и Хэролду следует быть ей за это признательным.

> *«…направляясь вчера вечером со стороны парома, Клемент Перротет Даусон был сбит проходящим автобусом, – читала она вслух. – Полагают, что смерть наступила мгновенно…»*

Но ее приглушенный голос ничего для Хэролда не смягчил.

— Мгновенно! Как милостиво! — сказала Ивлин.

Непостижима эта, присущая иным женщинам, сила или повелевающая ими условность,

что способна и весть о конце света обратить в банальность.

— По-видимому, — продолжала Ивлин, — водитель затормозил и по крайней мере два пешехода пытались остеречь беднягу… Клема, который, казалось, ничего не понял. По-видимому, — цеплялась она за недавно прочитанное слово, — он все шел, споткнулся, так говорят, и упал под автобус.

Она выронила газету, беспорядочно рассыпались листы.

— Раздавлен!

— Так и написано «раздавлен»? — спросил Хэролд.

Потому что хотелось представить себе крупную огненную голову Клема все еще сияющей, ослепляющей откровением, а не расплющенной, будто упавшая на гудрон дыня.

— Нет, — сказала Ивлин. — Не совсем так.

Стены квартиры угрожающе надвигались на них.

— Боже мой, бедняга! Что ж нам делать? — вскинулась Ивлин.

Она вытирала руки маленьким полотенцем для гостей, которое так изящно вышивала.

— Какие-нибудь родные у него есть?

— Не знаю.

Ивлин была безутешна: ну кто сообщит о случившемся Несте в обитель, куда привела ее извечная неприкаянность.

— А ты знал, что Клем еще и Перротет?

Был час, когда ночь начинала звучать незнакомыми голосами.

Хэролд?

Хэролд не знал, неизвестно было им также и как распорядятся имуществом Клема.

Оставалось неизвестно, пока Ивлин не получила письмецо все от той самой Перри:

Уважаемая миссис Фезэкерли,

я побывала в доме и сделала все, что могла, одежду всю отдала Армии спасения ну и прочее, потому как она, бедняжка, совсем больная, говорят, так там и останется. Молодой поверенный уж так старался. Они с мистером Томпсоном обо всем позаботились, дом теперь на запоре, покуда мистер Томпсон не приищет покупателя, это, может, и не скоро будет, такой-то дом не всякому по вкусу. Мистер Томпсон агент по продаже недвижимости из Банданы. Такие, стало быть,

дела, и коли вы пожелаете сами поглядеть, я подумала, надобно сообщить вам, где ключи.

Как я знаю про вашу старую дружбу с покойником, то и вкладываю фотографию, я сама их снимала после женитьбы. Мне удовольствие, коли она будет у вас. Что она не больно ясная, не взыщите, фотоаппарат у меня так себе, да ведь наперед никогда не скажешь, как оно получится.

Искренне ваша

И. Перри (миссис)

Ивлин предпочла бы не заметить снимка, но все же кинула на него быстрый неодобрительный взгляд. Плохо проявленная фотография уже выцвела. Две крупные бесформенные фигуры застыли посреди пустоты. Хоть, наверно, что-то их соединяло, стояли они как-то врозь, не зная, смотреть ли им друг на друга или в объектив. Фотограф по крайней мере оказался точкой притяжения, куда можно было обратить улыбки, которые иначе устремлены были бы в никуда. Лица смутны, расплывчаты, и все же Ивлин уловила в них выражение неистребимого простодушия,

граничащего со слабоумием, как бывает у тех, на кого еще не опустился занесенный топор. Будто у жертвы убийства на фотографии в газете.

Нет, невозможно хранить эту фотографию. Ивлин мигом бы ее разорвала, не будь тут Хэролда, он не то чтобы следил за нею, но все понимал.

— Письмо от той женщины, — сказала Ивлин, ей некуда было податься, — от миссис Перри. Она не прибавляет ничего нового… ну, ничего существенного… чего бы мы не знали.

— А что она могла? Без нее уже все известно.

Ивлин направилась в ванную, она подозревала, что Хэролд теперь долго будет рассматривать фотографию и предаваться печальным размышлениям. Ну, ничего, мужчины не так чувствительны.

Хэролд и вправду позволил себе погрузиться в туманную мглу фотографии. И несколько раз перечел письмо. Будь у него мужество, — а он, хоть и поздновато, осознал, что обладает лишь физической храбростью, — можно бы поехать в Бандану, взять ключ у агента по продаже недвижимости и в последний раз поглядеть на дом Даусона. Но… про это могла бы узнать Ивлин. Нет, такое ему не под силу. Как не под силу войти в тот еще хранящий живое тепло, тихонько

поскрипывающий дом, вернее в хибарку — пожалуй, справедливо они его так назвали — туда, где совсем недавно печально ворочался на соломе кроткий, но мудрый допотопный зверь и сквозь деревянную решетку впитывал непостижимость бескрайней синевы, а громадная шелковистая птица складывала и расправляла крылья и устремляла затаенный взгляд в себя, в некую свою предысторию.

Зверь птице не товарищ.

Хэролд Фезэкерли шмыгнул носом, что всегда огорчало его жену. Письмо вместе с фотографией он положил в бумажник, где жар его тела спрессовал немало других документов, про которые он со временем забывал.

Когда Хэролд объявил, что заказал на неделю номер в отеле «Дворец Кэрауонг», Ивлин сочла своим долгом осудить этот шаг и привести свои возражения, но втайне понимала, каким будет для нее облегчением ускользнуть из их крохотной клетки, где слишком тесно от множества смутных чувств.

— Ну разве это, мягко говоря, не сумасбродство? — заявила она. — Мы же в июле собираемся

в Кэрнс. И потом, осенью[4] в горах, наверно, тоскливо. Да и не припомню, чтоб кто-нибудь останавливался во «Дворце Кэрауонг». А, одну вспомнила… машинистку… правда, вполне приличная девушка.

— Так или иначе, дело сделано, — сказал Хэролд. — В четверг мы уезжаем.

Когда они возвратятся из «Кэрауонга», до отъезда в Кэрнс останутся считаные недели.

«Дворец Кэрауонг» был нелепейшей причудой и, построенный на манер замка, разорил своего владельца. Предприимчивые дельцы расширили замок, пристроив два более практичных крыла, не соответствовавших ландшафту, и понаставили кругом беседок среди вечнозеленого кустарника, пытаясь его укротить. Кое-кто постоянно приезжал сюда весной — накоротке повосхищаться рододендронами или осенью — когда слепят великолепием красок пылающие клены. Но такие любители были слишком малочисленны и скромны, чтобы принимать их всерьез: приезжали на медовый месяц новобрачные, за едой не сводили глаз друг с друга, безмолвно набирались сил для новой схватки; молоденькие машинист-

[4] Примечания: 4

Когда в западном полушарии наступает весна, в Австралию, расположенную в Восточном полушарии, приходит осень.

ки (эти, пожалуй, были самыми подходящими постояльцами) усаживались на позолоченные стульчики в зале для танцев, меж тем деловые люди расхаживали взад-вперед, скованные своими вечерними костюмами, а иностранцы горевали по Вене и Будапешту и занимали все самые удобные кресла.

Ивлин в первый же вечер поняла, как оплошал Хэролд.

— Что поделаешь, придется потерпеть, — вздохнула она. — Закроем глаза… заткнем уши… и будем наслаждаться обществом друг друга.

Она кинула на него один из тех оскорбительных взглядов, какие удавались ей иной раз, когда она чувствовала себя оскорбленной.

— По-твоему, там найдется хоть кто-то стоящий? — спросила она, когда они переодевались к обеду. — Должен же найтись хоть кто-то.

— Надеюсь, — сказал Хэролд.

Он натягивал слишком дорогие носки, которые продолжал покупать по привычке, а исхудавшие ноги ныли.

Когда уже собрались спускаться, Ивлин похлопала мужа по спине. Приятно было думать, что в зале, полном всякого сброда, Хэролд будет самым статным. Скромность помешала задержаться

взглядом на своей спине под нежно-коричневым палантином из ондатры, переделанным из некогда весьма элегантного пальто; она лишь на ходу мельком глянула в зеркальную дверцу шкафа.

Внизу надо всем красовались оленьи рога, бархатная обивка уже повытерлась. Дыня оказалась ужасна. Подали какие-то щепки из рыбы, запеченные в опилках. Одолевать бараний хрящ Ивлин отказалась. Несколько пар новобрачных, проводящих здесь медовый месяц, доедали свои порции зефира и консервированных кружочков ананаса и выходили из оцепенения.

Но потом, в гостиной, за традиционной чашечкой кофе — бр-р, кофе-то растворимый! — Ивлин познакомилась со старой миссис Хаггарт, вдовой скотовода.

— Кофе восхитительный, — сказала миссис Хаггарт, вытягивая губы над чашкой.

— О да! — с улыбкой проскрежетала Ивлин.

Но старая дама оказалась простодушной.

Миссис Хаггарт была из числа пожилых австралийских дам, которые не в меру простодушны, особенно это сказывается в ее привычке выставлять напоказ свое богатство. Сразу видно, ее меховая пелерина — из колонка, прямо восторг, глаз не оторвать! Пожелтевшая под солнцем

кожа миссис Хаггарт точь-в-точь как у ящерицы. Тонкий голос ее, словно испепеленный засухой, звучал немногим громче шепота и все на одной скучной ноте. Но она была добрая. Способна улыбаться самому грубому официанту, будто просила у него прощения. Старушка уж до того была добра, что даже удивительно, как она ухитрилась сохранить пелерину из колонка и «Кадиллак».

— Мы всегда выезжали за город, — откашлявшись, поведала она Ивлин, — всегда, пока жив был муж… я даже и теперь выезжаю с Биллом… — Ивлин подумала, что вряд ли стала бы называть своего шофера просто Билл, но миссис Хаггарт так демократична. — Мы ездим по окрестностям, ищем свежую капусту и вообще всякие овощи. Я очень люблю только что снятые овощи.

Это было необыкновенно, Ивлин слушала как завороженная. Она весело склонила голову набок и просто упивалась своей новой приятельницей.

— А вы разве нет? — с неожиданной горячностью спросила миссис Хаггарт.

— Да, конечно, овощи — это очень важно!

Восторженный взор Ивлин приковала нитка бриллиантов без всякой оправы, простодушно висящих на дряблой шее миссис Хаггарт.

Старая дама опустила глаза и, увидев собствен-

ное ожерелье, пересекавшее треугольный вырез бархатного платья, успокоилась.

Потом подняла голову и сказала:

— Муж не слишком любил овощи.

Ивлин ни с того ни с сего разозлилась.

— У нас с Хэролдом… с мужем, вкусы более или менее совпадают, — сказала она. — А где… где же Хэролд?

Миссис Хаггарт перегнулась через ручку дивана и глянула на пол. Чуть не опрокинулась. Но удержалась. И тем самым явно вложила свою долю стараний в поиски.

— Может быть, он плохо себя почувствовал, — сказала она.

— Едва ли, — сказала Ивлин. — Хэролд никогда не хворает. Это по моей части.

Миссис Хаггарт все поглядывала на тощие руки Ивлин. Потом высказала уж вовсе чудовищное предположение — конечно же, старуха выжила из ума:

— Возможно, он ищет партнершу для танцев.

— Но тут танцуют только по субботам. Насколько я понимаю.

— По-моему, в «Кэрауонге» танцы каждый вечер, — сказала миссис Хаггарт, тусклый голос ее прозвучал чуть оживленней прежнего. — Каж-

дый вечер, — повторила она. — Хотя наверно не скажу, не знаю, куда задевала рекламку.

И укуталась в пелерину из колонка.

— Когда-то мой муж… — едва слышно гнусавила она.

— А вот и он! — сказала Ивлин.

В ожидании чего-то неведомого ее проняла дрожь.

— Кто?

— Хэролд. Мой муж.

За толстыми стеклами очков миссис Хаггарт слабо замерцало вылинявшее любопытство: с чего это так разволновалась ее новая знакомая? Миссис Фезэкерли сидела на краешке дивана, дрожа, как девчонка.

И вот миссис Хаггарт увидела ее супруга — из всех, кто был сейчас перед глазами, единственно достойного такой чести, — куда представительней многих, окажись он и в более избранном обществе, еще не слишком потрепанный жизнью, он неторопливо направлялся к ним. А миссис Фезэкерли махала ему рукой в золотых браслетах. Кажется, она сказала, это египетские.

— Вот видите, вы его не потеряли, — утешила миссис Хаггарт. — И, возможно, не потеряете. Разве что произойдет несчастный случай. Если

несчастный случай подстроен, тут уж ничего не поделаешь.

Но миссис Фезэкерли не слушала или услышала предостаточно. На шее у нее напряглись жилы. Теперь, когда он уже заметил ее знаки и пробирался через толпу еврейских дам, она еще нетерпеливей подалась вперед, обхватила руками колени, шея побагровела.

Миссис Хаггарт была не из тех, кто предается удовольствиям, но приятно поглазеть на что-нибудь этакое.

— Я уже начала беспокоиться. Куда ты запропастился? — чересчур громко спросила Ивлин Фезэкерли.

— Никуда, — был ответ.

С удовольствием разглядывая Хэролда через большие круглые очки, миссис Хаггарт заметила, что он улыбается жене так, словно плохо ее помнит.

— Просто брожу тут, — сказал мистер Фезэкерли.

Забрел-то он недалеко. А почему не ушел дальше, постеснялся бы признаться. Неловко ему было и от девчоночьего нетерпенья Ивлин, когда она потянулась к нему с дивана, стараясь проникнуть в его мысли. Он защищался беспечностью,

которую находил весьма удобной.

Этот отель должен был бы огорчать его, однако даже нравился. Он шел, и огромные телесного цвета розы приглушали его шаги. Он легко лавировал между позолоченными островками, где сидели, как на мели, машинистки, выжидательно складывая губки бантиком и перламутровыми ноготками поправляя волосы. Ничто не предвещало, что если и свалится кусок лепнины, которая с годами явно повыкрошилась, то роковой случай обрушит ее как раз на Хэролда.

Лишь оказавшись в саду, в совсем уж равнодушной, безликой тьме, среди густо растущих, более темных рододендронов и бесплотных голосов, Хэролд Фезэкерли забеспокоился. Нет, не совсем так. Почувствовал — вдруг ему здесь грозит опасность, а он не заслужил права об этом пожалеть. Не зря Ивлин не хотела ехать осенью в горы. Помимо всего прочего, стал пробирать туман.

Традиционные страсти любовников и те не могли согреть усыпанную преющими листьями землю или облагородить кусты, между которыми он шел к первозданным зарослям. А там, на краю, пожалуй, подстерегают открытия, к которым он, конечно же, не готов. Со стыдом он почувствовал, что исчез, должно быть, слишком надолго и

жена, наверно, его заждалась. И он пошел назад, в гостиную, перешагивая через всех, кто лежал у него на пути.

Ивлин повернулась к старой даме, сидящей рядом с нею на диване.

— Мы так прелестно провели время, — говорила жена. — Но от поездки у меня разболелась голова. Думаю, нам пора спать.

Со всем любопытством, на какое была способна, миссис Хаггарт вгляделась в мужчину, за которого решала ее новая знакомая. Что ж, это в порядке вещей. Наверно, оттого миссис Хаггарт и улыбнулась ничего не выражающей улыбкой, обращенной скорее не к настоящему, а к прошлому.

— Я еще немного задержусь, посмотрю, как люди развлекаются, — объявила она. — Послушаю любительское пение.

И тут Фезэкерли услышали, как с одной из ступеней, лучами расходящихся из глубины гостиной, зазвучала песня «Вот защелкали ножницы, заработал стригаль». Раковина-эстрада, утыканная цветными электрическими лампочками, усилила, отразила звук.

В четырех стенах сверкающей лаком спальни Ивлин дала себе волю.

— Как я и думала, здесь все просто ужасно.

Она сняла серьги поддельного жемчуга, которые с каждой минутой становились тяжелей и грозили прижать ее к земле. Нитку *настоящего* жемчуга она ради сохранности не снимала ни днем, ни ночью.

— Даже и эта старая дама. — Ивлин вздохнула. — Хотя ей нельзя отказать в некоторой утонченности. Великолепная у нее пелерина из колонка, правда?

Свой старый палантин из ондатры она с отвращением кинула на оттоманку.

— Так и вижу Несту… Несту Сосен, кочует с какой-нибудь такой вот старушенцией по этим ужасным отелям, — сказала Ивлин Фезэкерли, сидя за туалетным столиком и намазывая лицо кремом. В зеркальной бездне возникали другие зеркала. — Миссис Хаггарт прямо из ее команды. Неста была бы как раз ей под стать. — Ивлин могла бы уже закончить, она наложила на лицо новый слой крема. — Если только Несте суждено оправиться. Знаешь, ведь очень многие выздоравливают после нервных расстройств. Неста… теперь, когда она овдовела… Ох, нет, Хэролд, пожалуйста, не надо! Я же вся в креме.

И вообще, страсть при свете всегда ее смуща-

ла. Но на теплом жире, которым она начала оживлять шею, она ощутила тяжелый холод Хэролдовых рук.

— Ну что тебе далась Неста?

Ивлин сидела за шатким туалетным столиком, и потому он обращался к ее отражению в зеркале.

— Она была нашим другом, верно? — ответила Ивлин тоже его отражению. — Естественно, что она приходит на ум. Да еще в таком месте — вполне естественно.

— Но Неста сейчас жестоко страдает, — сказал Хэролд. — Даже и представить невозможно, в какой ад она попала.

Его руки нежно льнули к жилистой шее Ивлин, и она разозлилась:

— Разве я виновата, что Неста спятила? Это ты… твой… этот… вечная обуза… твой Даусон. Однажды, когда он гостил у нас в Кафр-эз-Зайяте, я застала его с книгой. С книгой… ох, не могу объяснить. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что рыжие люди — какие-то не такие? Нет, мне не в чем его обвинить. Не о чем сказать: вот отчего вся беда, — а все-таки что-то проскальзывает. Мы несколько раз с ним… поговорили, не то что беседовали, он ведь не способен был выразить свои

мысли. Как-то, помню, мы гуляли… вечером… по той манговой роще… при одном виде этого мерзкого фрукта, уж не говорю о запахе, меня трясет от омерзения… Даусон тогда не сказал прямо, но намекнул. Бедняжка Неста! Могу себе представить! С этим рыжим орангутаном! Мало она раньше настрадалась из-за холодной эгоистки Эдди Вулкок Фернандини, как бишь там дальше?

— Не кричи, — остановил ее Хэролд. — Подумают, павлин… Да, Эдди и Неста, должно быть, сожгли друг друга. Но какое это имеет значение, когда горишь вместе… но горишь… — он не мог подыскать слова, — всеми цветами, как павлиний хвост.

Под конец он, похоже, устыдился своих слов.

Ивлин круто обернулась:

— Хэролд, какая гадость! И при чем тут павлины? Значит, ты рылся в моих бумагах!

Теперь перед ними были уже не отражения. Они смотрели в лицо друг другу.

— Мне кажется, с того самого дня, когда мы прочли, как умер Клем Даусон, я пытался простить тебя, Ивлин.

— Ну конечно! — закричала она. — Надо думать, это я толкнула Даусона под автобус! И засадила Несту туда, где она сейчас. Вини меня,

мой дорогой. Я ведь твоя жена.

— Нет, — сказал Хэролд. — Винить следует меня. У нас не было ребенка. Но у меня была ты. Тебя создал я… несомненно! Мое единственное творение!

Она посмотрела на него.

— Ну, мой милый, — грубо выкрикнула она, чего обычно не делала из страха, что кто-нибудь услышит, — мой милый, если б ты хотел меня убить, ты бы не нашел способа сделать это верней. — Она закашлялась, захлебнулась словами.

Но, глядя на эту костлявую женщину, свою жену, Хэролд чувствовал: смерть не так уж и страшна.

То, что сейчас у него перед глазами, то, что он сам же сотворил, ему ненавистно. Он ухватил нитку жемчуга — все, что осталось от вязки, которая поначалу так безмерно их радовала. Радовала обоих. Взялся за ожерелье, скрутил, дернул. Раз. Другой. Нитка порвалась довольно легко. Он слушал, как резво катились жемчужины за мебель, ударялись о лакированные поверхности.

Ивлин не сопротивлялась. Слишком велик был ужас. Не узнавала собственного мужа. Выходит, она совсем не знает Хэролда. Может, тогда есть что-то и в ней самой, о чем она не подозревает,

чего не знает в себе? Это ужасало еще сильней.

И оттого никак не удавалось справиться то ли с сухим кашлем, то ли с позывами к рвоте. Будь она более гибкой, она бросилась бы на пол, но гибкой она не была и, пошатываясь, опустилась на четвереньки. Словно на гостиничном ковре очутилось какое-то животное.

Похоже, теперь и ей смерть не так уж страшна.

— Жемчуг, — скулила она, и стало легче от того, что она верна своей практической натуре.

Хэролд сверху смотрел на нее. Грудь в лифчике увяла еще больше. Гостиничная лампа под розовым абажуром, рассчитанная на неуверенных в себе постояльцев, уже не приукрашивала пожухлую грудь.

Не помогала и ему, уже подточенному старостью.

И животному, что ползает по ковру у его ног, роется в поисках жемчужин.

— Бедняжка Ивлин! — невольно заговорил он снова, чтобы как-то вывести их обоих из затруднения. — Мы их найдем. Это я виноват. Лучше при дневном свете. Отодвинем мебель. Чтоб горничная не вымела их. Еще примет за простые бусины. И выкинет. Или наступит на них.

Они то опускались на колени, то сами же топ-

тали жемчужины, в беспорядочных попытках отыскать путь среди руин их совместной жизни.

Когда Ивлин наконец легла в постель, ее колени еще облеплены были жемчужной крошкой, но ей было не до того.

— Я бы выпила крепкого коньяку, — сказала она. — Если б хватило сил показаться на глаза прислуге. Если б они пришли в такую позднoту. Да и вообще, это стоило бы немыслимых денег.

Хэролд минуту-другую поглаживал ее грудь, но ему показалось, она даже не замечает происходящего, да и в нем ничего не происходит.

И он вышел, не в силах к тому же вынести обряд раздевания. Ивлин не пыталась его остановить. Лежала, лишь наполовину прикрытая гостиничной простыней. Делала вид, будто уже засыпает, и похожа была, заметил Хэролд, на неумело откромсанный кусок вареной курицы.

Хэролд шел по коридорам и слышал, как отзываются на его шаги бежевые розы. За плотно закрытыми дверями жизнь шла судорожная, даже яростная, а вот коридоры были пустынны и скупо освещены.

На пороге своего номера стояла миссис Хаггарт в черном кимоно, выставляла свои туфли, видно, воображала, что кто-то ими займется.

— В Харрогите у дверей номеров среди обуви всегда стояли бутылки минеральной воды, — заговорила она, увидев в пустом коридоре единственного постояльца. — Мы с мужем там лечились.

Ее вдруг передернуло.

— Беда с этими дынями, — сказала она, — вечно от них газы.

Шея миссис Хаггарт все еще мерцала голубым бриллиантовым огнем. Прежде чем исчезнуть за дверью, она запахнула ускользающее черное кимоно, прикрывая комбинацию.

Отель уже затихал, оставались лишь отбросы недавних удовольствий: раздавленное на ковре фаршированное яйцо, клочки салата-латука и лиловатых бумажных носовых платков, пощелкивание лениво пущенных пинг-понговых мячей, последний куплет «Коричневой кружечки». Все это не задержало Хэролда. Он был уже у стеклянных дверей. Вырвался на волю. Под конец побежал. Он не мог не слышать себя: бежал бы молодой, казалось бы, стучат копыта, а бег старика — словно сухой шорох удирающего таракана.

Его движения подчеркивали напряженную застылость кустарника. Из рододендронов сочился сок. Зверь, что вторгся сюда, расшвыривая

лапами гравий и разрывая унизанную капельками паутину, ничуть не мешал источающим сок кустам. Он был всего ничтожней в пещере тьмы, которую ночь заполняла сталактитами тишины. И сознание это подхлестывало пробиваться все глубже, в попытках наконец стряхнуть с себя что-то, что при свете могло бы показаться лишь проявлением паники.

Зубы Хэролда Фезэкерли выстукивали признание: я перепуганный старик, ищу неведомо чего.

И вот оно уже замаячило. Густые кусты расступились, он метнулся через границу и нырнул в вечнозеленые заросли. Где хлестали прутья. Где из-под его тонких подошв выскакивали камни. И поднятая рапира рассекла щеку. Он чувствовал, плоть поддается. А может быть, пробиваясь дальше и уже не давая себе труда избавиться от холодной паутины тумана, он освободился от некоей несущественной части самого себя. Туман окутал пальцы, прилип к обнаженной скуле.

Он брел, спотыкаясь, сквозь туман, и, словно нарочно ради него, туман начал расступаться, выпуская луну. Хэролд остановился на краю глубокого ущелья, и незачем было туда кидаться, ему там уже знаком каждый камень. Черной водой он обернулся, что текла и текла тонкой струйкой

по дну. Отвесной стеной обрыва обернулся, что изъедена потаенными пещерами. Крутыми изгибами могучих деревьев обернулся.

И все время в ущелье лежал туман, дремал, невесомо касался зверя и птицы, по которым скользила целительница луна. Нет, не то чтобы кто-то из них отринул свое земное обличье, просто ночь и туман размыли их черты, сделали доступней их успокоительно схожий облик, к которому он, Хэролд, никогда не решался проявить свою любовь.

Вскоре он пошел назад. Из кухни слышалась чья-то одинокая песня, позвякивала оставшаяся от позднего ужина посуда. В смутной гостиничной полутьме некому было заметить, что черный костюм Хэролда Фезэкерли порвался, из дыры выглядывает колено. Ивлин спала, непритворно спала, лицо блестело от крема и слез. Губами она всасывала жизнь с упорством резиновой груши.

Хэролд все снял со своего словно ставшего незнакомым тела, почистил зубы, вставил их обратно и лег в другую кровать.

Оставшиеся дни они провели во «Дворце Кэрауонг» недурно, главным образом благодаря миссис Хаггарт, которая привязалась к Ивлин. Не лишать же старушку ее маленьких радостей.

Обычно во второй половине дня Ивлин и миссис Хаггарт разъезжали в «Кадиллаке», который вел шофер миссис Хаггарт, Билл, осматривали окрестности, водопады, заброшенные поселки и входы в пещеры. Внутрь они не входили — но только потому, что все пещеры более или менее на одно лицо. Обеим больше всего нравилось остановить машину и любоваться красивым видом, и Ивлин принималась рассказывать про Нил, а миссис Хаггарт вспоминала, какие она покупала овощи. Так они и сидели, пока первый завиток тумана не подавал им знак, что пора уезжать.

Иногда удавалось уговорить мистера Фезэкерли, и он сопровождал дам, по-военному прямо надев твидовое кепи и не знающее сносу английское пальто. По настоянию миссис Хаггарт он садился рядом с Биллом, и в ее мире вновь воцарялись порядок и мужественность.

— Когда мой муж был моложе, он для поездок в автомобиле надевал кожаное пальто, — говорила она. — Оно восхитительно пахло.

Ивлин по-прежнему с благоговением взирала на пелерину из колонка, которую хозяйка носила только по вечерам, и на бриллиантовое ожерелье, которое иной раз оставалось и на день, так

как миссис Хаггарт забывала его снять.

— Неста Сосен… — начала однажды Ивлин Фезэкерли и замолчала.

— Кто? — спросила миссис Хаггарт без особого интереса.

— Одна моя приятельница, — сказала миссис Фезэкерли, заметив, что меняющийся свет совсем по-иному изваял песчаник.

Скоро эта неделя кончилась. Дамы обменялись адресами, хотя даже миссис Хаггарт подозревала, что они никогда не понадобятся.

Но все равно неделя была на редкость приятная.

— Я получила такое удовольствие, — сказала миссис Хаггарт.

Глядя на мужа Ивлин, она растянула почти бесцветные губы в обольстительной улыбке.

— Я вам завидую, — прибавила она столь же бесцветно. — Вы такая прекрасная пара, каждому видно.

Хэролд всегда держался очень прямо, без сомнения, научился в армии. Ивлин этим гордилась.

Фезэкерли по-прежнему путешествовали. В ту зиму[5] они побывали в Кэрнсе. Не сидеть же

---

[5] Примечания: 5
Июль в Австралии — зимний месяц.

им было дома, слушая, как поскрипывает шкаф и капает из крана. Они дважды побывали на Барьерном рифе. Им повезло: годы шли, но их организмы, казалось, сработаны навечно. Они летали на Аделейдский фестиваль, но лишь однажды, так как, принимая в мотеле душ, Ивлин сломала ребра. Боль была отчаянная и всего мучительней минуты, когда, придерживая шляпы, чтобы не сорвало встречным ветром, они переходили взлетно-посадочную полосу. Один только раз они отправились в плавание по Тихому океану, это было им не по средствам, да и вообще оказалось ошибкой: их преследовал запах манго, а море все время выплескивало на них из глубин похороненные мысли. Летали они в Новую Зеландию, но, право же, она слишком отстала от века. (На обратном пути заглох один мотор.) В ту зиму, когда у Ивлин особенно разыгрался артрит — руки ее уже изрядно скрючило — и ее напугала перемена, происшедшая в Хэролде, они снялись с места раньше обычного, на этот раз они посетили Мертвое Сердце.

Хэролд всегда укрывал ее пледом.

— Тебе удобно, дорогая, ты уверена? — обычно спрашивал он.

Супруги Фезэкерли все еще наслаждались

пенсионным житьем, в автобусах выбирали передние сиденья, чтобы ничто не мешало любоваться видом, а семейные пары из Кофс-Харбора и Хея, из Вуллонгонга и Пик-Хилла вечно спрашивали друг друга, кто же они такие.

Лишь один-единственный раз, пролетая над неправдоподобной красотой деревьев, что хлестали ветвями, Хэролд Фезэкерли вновь почувствовал себя крепконогим путником, широко шагающим по земному шару, и на миг возвратился к былому естественному для него одиночеству и вспомнил лица тех, по ком тосковал, тех, кого так никогда и не коснулся.

Но тотчас поспешил спросить:

— Тебе удобно, милая, ты уверена?

И пока они ездили по своим туристским маршрутам, им так привычна стала смена цветных кадров, что можно было надеяться, их уже не испугает конец — быстрый промельк пустой прозрачной пленки.

Ночь мародера

Миссис Баннистер успела добежать только до раковины в ванной, где ее и вырвало. Сначала она собиралась воспользоваться для этой цели унитазом, но после такой кошмарной ночи неудивительно, что планы ее сорвались. Она стояла над краном с текущей водой, глядя на свое расплывающееся отражение в зеркале. В ее собственной ванной. Ее собственное отражение. Она содрогнулась и завернула краны. Она чуть не обтерлась мужниным ополаскивателем для рта, пока форма флакона не подсказала, что это не ее одеколон.

Была уже половина десятого, а Фелисити все еще не выходила из комнаты. Спит? Лежит в кровати без сна? Один Бог знает. Миссис Баннистер предпочла не сосредотачиваться на состоянии ума дочери из страха взбаламутить собственное отчаяние. По крайней мере Фелисити не отказалась принять снотворное, которое дал доктор Херборн. Все они, даже Хамфри, приняли таблетки.

У миссис Баннистер вырвался звук, похожий

на жалобное «мяу». Она была не из тех женщин, что ожидают от мужей сверхчеловеческих проявлений, но в этом деле самым страшным итогом стало открытие, что ее собственная власть не безгранична — а ведь она втайне полагала, что, за исключением рака, авиакатастроф и войны, все прочие обстоятельства она способна контролировать всецело.

Ее вере в себя был нанесен такой сокрушительный удар, что она уже несколько часов назад излила бы Мадж Хоупкерк душу по телефону, если бы представления Хамфри о том, что можно и чего нельзя рассказывать даже самой близкой подруге, не были настолько несгибаемыми. Хамфри позвонил в офис, предупредил, что задержится, а сам теперь был невесть где. У мусоросжигателя, наверное. Некоторых мужчин хлебом не корми — дай что-нибудь посжигать, кучу времени тратят впустую. Может, они так утешаются? Мысль об этом не так раздражала бы, если бы она только осмелилась позвонить Мадж и поведать о том, что они пережили.

Безысходность словно присыпала мелом щеки миссис Баннистер, когда она рывком отодвинула портьеру в до сих пор сумрачной гостиной, а за окном оказался ее супруг — наклонившись, он де-

ловито срезал мертвые головки гераней в кадках под подоконником. Поглядев на его суховатые пальцы, тщательно выбритые щеки, все явственные признаки мужской бесчувственности, она ринулась к телефону. И так торопливо набрала номер, что была даже готова услышать на том конце совершенно чужой голос. Но голос был знакомый, и мысленно она бросилась в объятья подруги, и ей на этот раз было все равно, что Мадж громко хрустела тостом.

— Дорогая… Да, я знаю, что припозднилась, но ты не представляешь, что мы пережили… страшная ночь… глаз не сомкнули, хотя доктор Херборн дал лекарство… Так вот… Мадж, я расскажу тебе, только это строжайше между нами, ты поймешь… из-за Хамфри… Будь терпелива со мной, дорогая Мадж.

Миссис Баннистер испугалась собственного голоса, но, собрав волю в кулак, заговорила чуть сдержаннее:

— Я рассказываю все, как я это помню, потому что шок был страшный, ты скоро поймешь. Дело было примерно в полвторого ночи. Я проснулась — сон у меня очень чуткий, поверхностный, — услышав плач Фелисити, прямо-таки рыдания, в столовой. Бросилась туда. Она была

просто в истерике. В одной изорванной ночнушке. Она сказала, что проснулась ночью от того, что кто-то забрался к ней в постель! Один из тех мародеров, злодеев, о которых писали в газетах — что врываются по ночам к девушкам в спальни и… Психически ненормальный человек… Мужчина, Мадж! Фелисити обнаружила в своей постели МУЖЧИНУ! Да… Я… даже не в силах это выговорить. Он — надругался — над моей малышкой — над Фелисити!

Какое-то время миссис Баннистер просто рыдала в трубку. Она понимала, что звук может сильно напугать Мадж, но такова уж, в конце концов, доля самых близких.

— Представляю себе, какие муки пришлось пережить моей бедняжечке. Когда все закончилось, — миссис Баннистер помимо воли издала громкий сосущий всхлип, — он потащил ее в столовую. У него был нож, Маджи… Нет… Я знаю, они так делают, но он не стал. Он угрожал ей… Он выкурил одну из лучших сигар Хамфри. Он выпил полный стакан коньяку. Он и ее заставил пить с ним — и оскорблял при этом самыми гнусными непристойностями — держа мою девочку на острие ножа… Да… Да… Ох, господи, да, да!

Пока Мадж говорила, миссис Баннистер беспре-

станно думала об ужасной тяжести случившегося, события прошлой ночи все прокручивались у нее в голове. Мадж, конечно же, не способна понять. Она, надо признать, весьма поверхностная особа.

— Ох, и не спрашивай… Но дай мне шанс, дорогая. Все возможное было и будет сделано. Хамфри, конечно, проспал бы и Страшный суд, но когда мне удалось его разбудить, он точно знал, какие шаги следует предпринять. Набрал номер полиции, и они оцепили округу. Два детектива пришли к нам. Нам позволили вызвать нашего семейного врача. Это гораздо удобнее. Фелисити знает доктора Херборна с самого раннего детства.

Тут Мадж предприняла еще одну попытку утешения.

Как только у миссис Баннистер появилась возможность вклиниться, она ею воспользовалась:

— Один из детективов — милейший молодой человек. И смышленый, должна сказать. У него хобби — он разводит папоротник «олений рог». — Она глянула на стул, где совсем недавно сидел симпатичный детектив, на сиденье даже осталась вмятина, и в горле ее снова образовался тугой комок отчаяния. — Но они, конечно, не поймали это животное… Наверное, он убежал в парк,

через пролом в заборе… Они его не поймают. Но если хоть что-то просочится наружу, то скандал нам обеспечен на ровном месте… Второй детектив мне вообще не понравился — не то чтобы наглый, но настолько циничный, насколько это вообще мыслимо. Знаешь, с каким удовольствием эти «представители закона» делают всякие намеки, не обращая внимания на то, что именно ты — невиновный, пострадавший. Вот именно. Второй детектив по каким-то причинам — возможно, политическим — не хотел принимать нашу сторону… Мадж? Ты же будешь нема как рыба, дорогая? Хамфри мне в жизни не простит.

Из трубки хлынула такая мощная волна протеста, что миссис Баннистер пришлось отодвинуть динамик от уха. Когда характерный хруст в динамике сообщил, что поток иссяк, она собралась с духом и предложила менее драматическую, хотя и важную тему для разговора.

— Джон еще ничего не знает.

Наверное, предложила слишком обыденно. Голос Мадж на том конце трубки звучал как-то удручающе глухо.

— А кто ему расскажет? — Миссис Баннистер скорее рассуждала вслух, чем спрашивала совета, которого никто не в состоянии дать. — Кто сможет

произнести это — я не говорю *приемлемо* — хотя бы не так *уродливо*? Человек тактичный смягчил бы удар. Потому что это же чудовищный шок для психики — даже для современного молодого человека, услышать, что за месяц до свадьбы его невесту изнасиловали… Мадж?.. О дорогая, как жаль! Ужасно, когда опрокидываешь чашку на постель. — Миссис Баннистер могла позволить себе сочувствие: вообразив Мадж Хоупкерк, сидящую в грязной луже разлитого кофе и кофейной гущи, она ощутила некоторое превосходство. — Но, возвращаясь к вопросу о том, кто ему должен рассказать, Хамфри с этим не справится — во всяком случае, я так считаю. Двое мужчин, оказавшихся в такой щекотливой ситуации, могут невольно в конце концов все опошлить. — Миссис Баннистер облизала пересохшие губы. — Я тут все думала-думала, весь остаток бессонной ночи, и мне кажется, я сама должна сказать Джону. У нас сложились такие чудесные отношения с самого начала этой долгой помолвки. Ох уж эти долгие помолвки! Но когда его назначили в Джакарту, он так решительно отказался подвергать Фелисити испытаниям ужасного климата. И как только он узнал, что получит новое назначение… мы не знаем куда — это все еще неофициально,

но как сказал человек из Канберры — кое-кто *высокопоставленный* — его собираются назначить первым секретарем в Риме… Да, милая, знаю, что я тебе не говорила — Хамфри бы этого не одобрил. И теперь это страшное происшествие!.. Кто расскажет Джону… в такой момент… его карьеры.

Миссис Баннистер сжала телефонную трубку обеими руками и простонала:

— Да, Мадж?…Да… Да-ааа — я знаю, каковы нынешние девушки. Знаю, что они спят со всеми подряд. Но я уверена — не такое у нее воспитание, и мое дитя не стало бы от меня скрывать — я абсолютно уверена, что Фелисити была непорочна. И подозреваю, что Джон — человек высочайших моральных устоев. — В голосе миссис Баннистер зазвучали «высокоморальные» нотки. — Конечно, порядочный человек в первую брачную ночь может *убедить* себя, что все так, как должно быть. Но разве самые порядочные не будут исподволь терзаться душевными муками? А Фелисити — мое дитя!

Настолько *ее дитя* была Фелисити, что миссис Баннистер на какой-то невыносимый миг почти вживую испытала акт насилия, которому подверглось *ее дитя*. У нее — довольно солидной женщины — подкосились ноги, и она чуть

не выронила телефонную трубку, но устояла и, прокашлявшись, хрипло продолжила блуждать по моральному лабиринту, в который сама же себя и загнала.

— Знаешь, Маджи, что я решила?

Потому что она действительно решила. Только что. Как будто миг сопричастности со своим изнасилованным ребенком придал ей решимости.

Глаза ее увлажнились от избытка вдохновения.

— Фелисити сама должна ему сказать! — продолжила миссис Баннистер. — Нет ничего более трогательного, чем юная девушка, открывшаяся будущему мужу в самом позорном событии в своей жизни. Честный человек воспримет это, как подобает, и всю жизнь будет беречь свою супругу. То, что может вызвать отвращение, если будет сказано родителями — ну, сама знаешь, «порченый товар» и все такое прочее, — в устах решительной девушки только убедит жениха в ее честности и мужестве.

Миссис Баннистер так воодушевилась, что сшибла на пол серебряный поднос, оставшийся со времен визиток и горничных.

— Ну, *конечно*… все зависит от Фелисити. Но я знаю своего ребенка, Мадж!

Грохот металла лишил ее бдительности, но тут совершенно беззвучно появился Хамфри, — чертовы резиновые подошвы! — и римская матрона в ней скуксилась в одночасье.

— Пока, дорогуша, — хрипло прочирикала она, так что было больше похоже на карканье, — пора заняться делами.

— Кто это?

А то он не знал.

— Мадж Хоупкерк.

Она облачила свой ответ в свинец и нацелила его в мужнин затылок, который этим утром он, видимо, изо всех сил постарался приукрасить — лысина сияла особенно агрессивно. Миссис Баннистер почувствовала прилив презрения к тому, кто частенько был предметом симпатии, а иногда — она содрогнулась от одной только мысли — даже страсти.

Хамфри сказал:

— Надеюсь, ты не доверила этой женщине ничего, что она может только испортить.

Хамфри всегда ревновал ее к верной старой подружке Мадж, поэтому она проигнорировала его ремарку и спросила с напускной мягкостью:

— А тебе не пора на работу, дорогой? Ты же сам так расстраиваешься, когда другие пренебрегают

своими обязанностями.

— Да, — ответил Хамфри безропотно, и эта покорность заставила ее содрогнуться от собственной беспомощности.

А потом, словно этого было мало, он совершил нечто еще более ужасное: он тяжело опустился в одно из ярко-синих кресел, в которых он мог бы навсегда отказаться от фондовой биржи, и даже хуже: прикрыл глаза волосатой рукой — лысый Хамфри был волосат — и начал издавать такие звуки, которых его супруга никогда от него не слышала: такие сухие, пыльные, рваные, они ну никак не вязались со знакомым мясистым телом.

— О, дорогой! — всхлипнула она, скорее по-традиции. Чувствуя себя старой рваной тряпкой, она шагнула было к нему, но остановилась, чтобы не спровоцировать еще более ужасный катаклизм. — Фелисити это не поможет! — прорыдала она.

Но кем была Фелисити в тот день? Или, если уж на то пошло, кем она вообще была?

Чтобы исправить свои ощущения, мать принялась раздвигать занавески, впустила дневной свет в дом и тут же пожалела об этом. Страшнее всей этой ужасной ночи было то, что ее религия —

порядок и вкус — подверглась жесточайшему сомнению: початой бутылкой «Курвуазье», сигарным пеплом, лежавшим словно аккуратные кучки экскрементов (окурок забрали детективы), захватанные бокалы, из которых эти неотесанные мужланы хлестали свое пиво. (В теперешнем угрюмом свете кощунственной была сама мысль об «оленерогом» милашке-детективе).

Тут послышался какой-то шум — кто-то двигался в глубине дальних комнат — и всё на переднем плане, каждая разрозненная его деталь застыла от этого звука.

— Это Фелисити, — произнес отец, будто надеялся, что кто-то возразит ему.

Страстно желая вернуть жизнь в ее ритмическое русло, мать напомнила ему:

— Сегодня вывоз мусора, Хамфри. Ты не забыл выставить бак на улицу?

Он откашлялся, прочищая носоглотку от застоявшейся слизи — обычно это бесило ее, а теперь его отхаркивание звучало чуть ли не утешительно.

— Я позвонил миссис Помфретт, — сказал он, — и предупредил, чтобы ее на работе не ждали. Сказал, что она растянула лодыжку.

Жена его наморщила лоб и поджала губы. Будь

она на его месте, то придумала бы что-нибудь менее определенное, не такое лживое: она ненавидела ложь, но уважала обходные маневры, дабы ее избежать.

Звук движения приближался, он стремительно надвигался, и свет на лицах родителей замелькал еще более лихорадочно.

— Жаль, что Джон такой порядочный парень. Какому-нибудь пройдохе было бы проще пережить все это.

— О, Хамфри, девственность — это не кусок железа.

— В мое время все было иначе.

— Но те времена прошли. Девственность нынче не в моде, — процитировала она Мадж Хоупкерк, но сочла благоразумным не ссылаться на источник.

— Мужчина не всегда в восторге от настолько модной жены. Особенно когда его при этом выставляют дураком.

— Уверена, никто не станет высмеивать подобное несчастье.

Но миссис Баннистер прекрасно знала, что это неправда, как бы ни старалась она изобразить негодование в голосе: когда дело касалось других, они с Мадж с удовольствием смеялись над чужи-

ми бедами. И все же она рискнула:

— Я полагаю, что это сблизит Джона и Фелисити. Они еще сильнее будут стараться порадовать друг друга.

Уверенности в этом у нее не было вовсе, но она думала, что ее осенил очередной прилив вдохновения.

Хамфри только издал сосущий звук сквозь стиснутые зубы.

То, чего они оба так боялись, наступало. В комнату входила Фелисити. Впервые с момента их общей ночной катастрофы, они оказались лицом к лицу со своим переменившимся ребенком. И каждый надеялся, что она скажет что-нибудь, освободив их от ответственности заговорить первыми.

Но веки Фелисити внезапно опустились — казалось, скорее от отвращения, чем от смятения или боли. Она неуклонно приближалась, лишь чуть помедлив там, где гостиная переходила в столовую, чтобы подобрать все еще валявшийся на полу серебряный поднос. Она вернула поднос на консоль красного дерева и тяжелой походкой, шлепая босыми ногами, двинулась дальше — в кухню.

— Дорогая, где твои тапочки? Ты простудишь-

ся! — Миссис Баннистер как будто всеми силами желала, чтобы это произошло.

— Это вряд ли. — Не было ничего необычного в некоторой утренней мешковатости Фелисити до первой чашки кофе.

Хамфри Баннистер покосился на свои часы: на миг он смог убедить себя, что это совершенно обычное семейное утро.

Мать точно старалась изо всех сил.

— Хочешь, я сварю тебе яичко? Или парочку? Или почку поджарю. Такая вкуснота.

— Ты же знаешь — я никогда не завтракаю.

— Я просто подумала, — промямлила миссис Баннистер, — может ты… проголодалась. — И тут же возненавидела себя за глупость.

А дочь эту глупость или не поняла, или просто не позволила себе заметить. Во всяком случае она была полностью поглощена своими сиюминутными делами: разогревала кофе, выбирала яблоко, пробовала, скисло молоко или не скисло. А родители тем временем маячили рядом на негнущихся ногах — такие большие, неуклюжие и беспомощные.

Скорее здоровая, чем хорошенькая, Фелисити и сама была довольно крупной девушкой. Цвет лица, считавшийся главным ее достоинством,

слегка потускнел в утреннем свете, бледно-розовый халат был измят, если не сказать несвеж. Она всегда носила розовое — или голубое — подчеркнуть цвет лица, да и мамочка всегда так советовала.

Этим утром от мамочки не укрылось, что у дочери под халатом ничего не надето. Мысль об изорванной ночнушке наполнила ее горло какими-то горестными комками.

Кофе убежал и залил плиту, зато сразу для кого-то нашлось дело. Первой у плиты оказалась Фелисити, она и сделала его — кое-как.

Она села, стала чистить яблоко и есть: звук и вид у яблока был отличный. Полупрозрачный бледно-розовый халат лишь наполовину прикрывал ее выпуклые груди, особенно выступали соски — они могли бы показаться менее целомудренными, если бы не определенная откровенность всего тела. Не то чтобы мать засмотрелась на эти соски, но почти. Мистер Баннистер, в свою очередь, собирался в офис. При виде дочкиных грудей он почувствовал смущение, почти целомудренное. Он пробормотал что-то невразумительное и нежное: то ли «птт-птт», то ли «пет-пет», запечатлев на ее челе ритуальный поцелуй. Наверное, она почувство-

вала, как дрожат его губы. И без того неловкая ситуация усугублялась запахом хрустящего яблока. Он с явной радостью ретировался оттуда на резиновых цыпочках, а мать так и осталась стоять, упражняясь в чувстве, которое со временем могло перерасти в холодность. Они с мужем так много не сумели вместе — даже ребенок, и тот был их ребенком теперь еще меньше, чем всегда. Поскольку Хамфри вечно чего-то ждал от них, после его ухода женщины вздохнули свободнее и стали вести себя естественнее: миссис Баннистер, например, почесала ягодицу — такую роскошь она не могла себе позволить ни в чьем присутствии, кроме дочери.

— Знаешь, что я бы сделала на твоем месте? Сходила бы в салон красоты, — предложила практичная мать, — и сделала бы там все: макияж, маникюр — все-все. Тебе это пойдет на пользу, дорогая.

— Не нужна мне никакая польза. — Игнорируя факт, что ее светлые мышиные волосы были в полном беспорядке, она энергичным движением плеча отвергла материнский совет, и бледно-розовое распахнулось при этом еще сильнее.

— Мне просто хочется тебя как-то порадовать, дорогая, — пробормотала мать, чтобы скрыть оча-

рование, вы-званное явлением дочерних грудей.

Она едва ли обращала на них внимание с тех пор, как они оформились, а эти были не просто грудями Фелисити, они несли на себе печать того, что «тот человек» сделал с ними. Еще более пленительными, чем плоть от плоти ее, были тени на ней, или то были ужасные синяки?

— Прикройся, Фелисити, — это был в равной степени приказ собственному воображению. — Нехорошо ведь.

Фелисити, наверное, и самой так было удобнее, но миссис Баннистер хотелось думать, что дочь подчинилась ей. Она всегда гордилась, что у нее такая разумно сговорчивая дочь, однако, припомнив подробности ужасов минувшей ночи, стала спрашивать себя: неужели удача от нее отвернулась?

— Я вот тут все думаю-думаю кое о чем и никак не в силах понять… — С горьким триумфом она возвращалась к теме, которую, наверное, была неспособна вынести.

— Хватит мусолить это, мама. Всегда найдутся вещи, которые ты — или кто-то другой не сможет понять.

— Но почему? Почему ты не позволила старому доброму доктору Херборну осмотреть тебя? Ведь

это необходимо!

— Я знаю! Знаю!

Фелисити швырнула огрызок яблока в угол. Скорее по привычке, не испытывая неодобрения, мать подошла и подняла его.

— Помимо всего прочего, — миссис Баннистер сжала в руке огрызок, — мы все оказались в дурацком положении. Я видела, что этот противный детина-детектив тут же начал ухмыляться. Если они поймают этого извращенца, мы не сможем завести на него дело, как ты не понимаешь?

— Я знаю! Я знаю! Но они его не поймают!

Она швырнула через плечо мастерски срезанную длинную стружку яблочной кожуры. Оглянулась, чтобы посмотреть, как она шлепнется, но яблочный серпантин не выдержал и разорвался на кусочки. Она хохотнула себе под нос.

На этот раз миссис Баннистер оставила мусор лежать, где был.

— У них есть все шансы выследить его. Я это чувствую. Ты описала его очень подробно — просто ужасно. А потом отказалась от нашего собственного врача!

— Как ты не понимаешь, все случившееся и так достаточно унизительно, без того, чтобы еще

врач там копался!

— Ох, милая, а если вдруг будут последствия?

— Я не настолько беспомощна, чтобы не справиться с последствиями.

Так что слов у матери не осталось, остались только слезы. Она даже пожалела, что мужа нет дома. Ну ничего, она все равно решила им воспользоваться:

— Папочку так расстроило твое странное поведение. Ты же знаешь, как много значишь для него.

— Ах, папочка! Для него моя девственность значит больше, чем все остальное во мне. Все эти нотации! Слава богу, я от этой гнили избавилась.

Возмущенные рыдания стали стучаться о стиснутые зубы миссис Баннистер, чуть ли не выбивая их.

— Я не могу поверить, Фелисити, что ты — та самая девочка, что мы с папой воспитали.

— Да. В это невозможно поверить.

— Той самой, что согласилась выйти замуж за такого благородного человека, как Джон.

— Джон так благороден, так добр, так *безупречен* — я с ним просто не смогу жить. Я написала ему утром.

Она вынула конверт — чуть менее спокойно,

чем ей хотелось, из кармана халата и прислонила к пустой чашке.

Миссис Баннистер еле сдержалась, чтобы не схватить его:

— Что ты написала? Фелисити? Твой разум помутился! — По счастью, она не сказала «повредился».

— Написала, что разрываю помолвку. По многим причинам. И потеря папочкиной драгоценной девственности — самая распоследняя из них.

Они посмотрели друг на друга: каждая, казалось, боялась услышать, как рвется нечто еще более тонкое. Обеим хотелось оттянуть момент. А потом ужасно неуклюже заковыляли к неизбежному телесному шлепку. Они таяли вместе, цепляясь за то, что еще в состоянии были удержать и разделить, и пока стерильная кухня содрогалась от их беспомощных рыданий, кожица от яблока бурела, свиваясь кольцами вокруг их щиколоток.

Едва поженившись, Хамфри и Дорис Баннистер осели на окраине парка. Район был скорее уютный, чем престижный: просторные и фешенебельные дома в стиле «сиднейский тюдор», поздневикторианском или неовизантийском

стиле, колониальном а-ля Бетти Дэвис предполагали богатство, которое никогда не выставлялось напоказ. Обитатели их, казалось, одной улыбкой в глазах негласно договорились никогда не упоминать о деньгах, а странноватые «ягуар» и «даймлер» безмолвно просили прощения.

Хамфри это весьма и весьма устраивало — солидно и всего десять минут езды от ГПО[6]. Дорис, которая, возможно, хотела произвести хорошее впечатление, сдерживала свой энтузиазм. Она поздно вышла замуж. У нее было время наверстать упущенное. Но она посвятила себя солидности и тишине, и парковому воздуху. Когда она устраивала прием с бриджем для кого-нибудь из своих более светских друзей, она позволяла им превратить свой район в скромную шутку для вечеринки — не более. Никто не мог бы упрекнуть ее в нелояльности.

И когда родилась Фелисити — их единственное дитя, окрестный парк стал истинным благословением: как чудесно толкать колясочку по косматому травяному ковру вокруг заросшего илом озера (трудно рассчитывать, что кто-то станет ухаживать за парками, когда идет война и

---

[6] Примечания: 6
ГПО — Главное почтовое отделение г. Сиднея.

все мужчины далеко от дома), сидеть на лысоватых склонах под араукариями и глядеть в самую глубину дочкиных глаз, захватывать друг дружку врасплох, нежно пощекотав ресничками щеку. Дышать в унисон, деля смех и удовольствия, как будто они по-прежнему одно целое — в этом навевающем дрему парке казалось, что иначе и быть не может.

Каждую неделю Дорис фотографировала дитя, чтобы отослать карточку Хамфри, а тот в ответ изливал в письмах чопорную ностальгию по дому, убеждавшую ее, тем не менее, что он вполне счастлив на своей адъютантской должности.

Хамфри был мужчиной до мозга костей: он предпочел бы иметь сына, хотя вряд ли знал бы, что с ним делать. А девочка кажется такой хрупкой, когда держишь ее в своих огромных руках.

— Как-то она странно кряхтит, тебе не кажется? — спрашивал он жену, или: — Мне кажется, ей не нравится, как я ее держу. У меня слишком неловкие руки. Возьми ее к себе, пожалуйста. — Он отстранял дочку от себя подальше и отдавал с явным с облегчением.

В начале Хамфри называл Фелисити «Она». Это было абсурдно, Дорис задевало такое странное отношение отца к собственному дитяти, но все

же была в этом и отрадная сторона: Дорис лишний раз убеждалась в том, что Фелисити всегда будет ЕЁ дочерью. Так что она могла себе позволить некоторую щедрость, вознаграждая бедного старину Хамфри.

Когда он вернулся навсегда, девочка уже начала ходить, Дорис частенько говорила ей:

— Беги к папочке, деточка. Ты забыла о поцелуйчиках, который приберегла для него. Он ждет, Чичи. Знаешь, как папочка тебя любит!

Однажды или дважды она уговорила его искупать Фелисити. Смотреть на это было забавно, но и только: Хамфри не преуспел ни разу, он трудился на пределе отчаяния, капая воду из губки на цветочки детского тельца, припудривая самодовольные складочки и морщинки.

Мать получала дочурку назад, награждала парой шутливых шлепков и быстро облачала ее в пижамку, в очередной раз демонстрируя свои поразительные навыки и ловкость.

Конечно, она никогда не собиралась целиком завладеть любовью Фелисити. Ребенок любил и отца. Девочка устраивала засаду, пока он закрывал гараж, и выскакивала на него из шалфейных зарослей. Она обхватывала его ноги и даже пыталась вскарабкаться по ним выше, как будто она

была кошкой, а он — деревом. Однажды, когда он отдыхал после трудового дня, утопая в своем огромном кресле, она бросилась к нему на грудь и лежала, свернувшись калачиком и закрыв глаза, в ожидании, что будет дальше.

— О, дорогая, — воспротивилась мать, — папочка слишком сильно устал, чтобы выдержать такую тяжелую девочку на груди.

Но пусть папа не играл с ней, зато хотя бы не сопротивлялся.

Потом Фелисити вспрыгнула и ненароком укусила мочку отцовского уха. До крови укусила. И сама же надулась. Кровь ее испугала.

Мамочка вознегодовала. А папа рассмеялся:

— И кто же это у нас тут? Маленький тигр?

Ухо все кровило и кровило, и пришлось принести карандаш с перекисью.

Тем вечером, когда он целовал ее перед сном, она пробормотала в ответ:

— Я тигррица!

— Кто-кто? — засмеялся он.

То ли он забыл, то ли не понял. Она не стала объяснять и постаралась не смотреть на «папочкины отличные зубки», как величала их мама.

Когда Хамфри Баннистер начал спрашивать жену: «Как ты думаешь, наша Фелисити счастли-

ва?» — та отвечала немедленно: «А почему бы и нет? У нее есть все, чего только может пожелать девочка!» Хамфри чуть усугубил: «Она почти не разговаривает». — «В ее возрасте все девочки такие. Им нравится секретничать между собой. Хотя у Фелисити не так уж много подружек. Это все потому, что у нас очень тесные семейные узы». Дорис прекрасно разъяснила ситуацию.

Но Фелисити и в самом деле стала неразговорчива. И у нее появились прыщи. Ее чудесное леденцовое личико превратилось, как сказал бы человек недобрый или слишком уж прямой, в неудавшийся пудинг.

Она стала надолго запираться в уборной.

— Что ты там делаешь, дорогуша? — спрашивала ее мамочка.

— Читаю.

— Но, душечка моя, это вредно для здоровья — я имею в виду, там так тесно, у тебя же есть прекрасная комната, где столько воздуха.

По обе стороны двери чувствовалась напряженность.

Когда Фелисити исполнилось шестнадцать, миссис Баннистер устроила танцевальную вечеринку — с завлекательной музыкой, ужином и японскими фонариками на лужайке. Отвергнув

розовый и голубой, Фелисити, пожалуй, была бы очень хорошенькой в бледно-желтом платье и мамочкином жемчужном ожерелье, не будь она такой неловкой. Но молодежь, похоже, вся была неловкой, за исключением разве что пары-тройки юнцов, которые решили произвести впечатление громкими, вульгарными воплями, хотя — казалось бы! — проживали по очень почтенным адресам. Да и миссис Баннистер было в конце концов не до этого, так она была занята, разве что когда гости игнорировали музыку. Но нельзя было сказать, что они не радовались — все эти неуклюжие юбки из тафты и мокрые рубашки так и взрывались под большой магнолией в дальнем конце сада.

Время от времени появлялся Хамфри, и молодежь тут же смолкала. Он пытался оживить вечеринку, припомнив жаргонные словечки тех времен, когда он сам был школьником. Пара мальчишек начали хихикать, но как-то двусмысленно — в общем, ему не удалось восстановить атмосферу, нарушенную его приходом.

Вскоре после вечеринки папочка разродился первой лекцией из серии «Хранить чистоту и невинность для мужчины, который в конце концов всецело доверится девушке».

— Ты понимаешь меня, Фелисити?

Она лишь хмыкнула и насупилась. Ее как никогда остро тревожили прыщи: она прямо чувствовала, как нерожденные гроздья пробиваются на поверхность ее зудящей кожи, пока папочка сидел, скорчившись в своем кресле, полностью поглощенный величием собственной миссии.

— Потому что для хорошего мужчины, Фелисити, девушка значит, наверное, гораздо больше, чем для ее родителей.

Струйки пота сочились по ребрам Хамфри Баннистера. Если бы он только мог оставить это на усмотрение Дорис, как оставил все прочее, но он не имел права рисковать: как ни высоки ее моральные принципы, материнская рука слишком нежна, чтобы повернуть ключ в двери целомудрия.

Так что Хамфри потел, но тянул эту лямку, а Фелисити вся зудела, но тоже терпела.

Когда все было кончено, они выскочили из комнаты в противоположные двери, как будто оба были сделаны из резины. Фелисити бросилась прямиком в ванную и посмотрела в зеркало, немедленно обнаружив только что проклюнувшиеся прыщики. И принялась их выдавливать.

— О, дорогая, ты нанесешь своей коже непопра-

вимый вред! — Мама возникла в зеркале, прямо у нее за спиной.

На следующее утро миссис Баннистер сходила в специальную экспедицию и купила доченьке лосьон и крем, которые та благоразумно согласилась использовать.

Фелисити (и все трое это осознали) в конце концов сбросила старую кожу. То, что было мукой, стало теперь легче легкого. И гордости Дорис Баннистер не было предела, когда Мадж Хоупкерк возвестила, что ее дочь, дочь Дорис Баннистер, — «ослепительная юная женщина». Фелисити и в самом деле выглядела очень здорово и приятно, у нее был восхитительно прозрачный — *английский*, как нравилось думать ее матери, цвет лица. И что самое важное, она научилась разговаривать на языке, который все понимали: миссис Баннистер с удовлетворением обнаружила, что ее дочь способна инстинктивно отличить «прекрасное» от «ужасного». Девушкой гордилась вся округа. Она обожала детей. И стариков. Мужчины в возрасте не приударяли за ней — для этого она была слишком утонченной — но головы их качались, как маятник метронома, во время ее предсказаний погоды, который всегда в точности совпадали с их собственными. Старики-соседи

по-прежнему называли ее Чичи, дабы показать, что знают ее с колыбели.

Миссис Берстолл, из тех, кого миссис Баннистер назвала бы «простушкой», если бы могла позволить себе такое *недемократическое* высказывание, была также, пожалуй, их самой заинтересованной соседкой.

— Теперь мы должны найти правильного парня — мистера Райта, Чичи. И тогда можно пускаться в забег.

Это было тем более неловко, что Джон Гэлбрейт уже не просто появился на сцене, а перешел от робких ухаживаний к чему-то более основательному и заметному.

Миссис Баннистер говорила в трубку телефона, чуть дыша:

— Министерство иностранных дел… Да, Мадж!.. Ждет назначения. Джон не обмолвился об этом, но я знаю из достоверных источников, что премьер-министр принял его… О, я не смею надеяться, но время покажет… Нет. Она не намекнула даже, но я бы и не спросила. Фелисити — такая чувствительная девушка.

Чувствительность самой Дорис Баннистер была очарована стройным молодым человеком в сером фланелевом костюме. Его наручные часы

ее просто опьянили. А редеющие волосы опечалили, напомнив, что история повторяется.

— Канберра, — губы ее осмелились вымолвить пластмассовое слово, — такая холодная — *безлюдная*, как мне кажется. Конечно, деревья там растут замечательные, но нельзя же жить среди одних деревьев, во всяком случае, не бесконечно.

Ей так понравилась собственная шутка, что она рассмеялась. Не слишком ли далеко она зашла? Ради своего ребенка она была готова на все. Или ради этого невыносимо желанного молодого человека.

Пришла пора Фелисити брать дело в свои руки.

Хотя именно Фелисити приняла предложение Джона Гэлбрейта, помолвка стала триумфом для всей округи. Миссис Баннистер не была знакома со своими соседями, но все они считали своим долгом остановить того или иного члена семьи на улице, чтобы поздравить и полюбоваться кольцом, если это была Фелисити.

Все были под впечатлением, кроме разве что миссис Берстолл, которая предпочла бы и камень покрупнее, и оправу посолиднее. Все остальные понимали, что кольцо подобрано с большим

вкусом, как и следовало ожидать от молодого человека из МИДа и дипломата и Чичи Баннистер, работавшей с недавних пор у Мойры Помфретт, которая занималась оформлением интерьеров всех наиболее престижных домов. Прекрасный сапфир да еще, кроме всего прочего, точно такого же оттенка, что и глаза Чичи. И даже когда из-за назначения жениха в Джакарту помолвка затянулась настолько, что порой возникала мысль: а была ли она вообще? — кольцо по-прежнему сияло на пальце, как напоминание, и внезапно вспыхивало в воображении соседей, озаряя не слишком-то яркую жизнь обитателей округи.

Для тех, кто разделял эти романтические предвкушения, было величайшим потрясением, когда этот изверг, этот мародер залез в комнату Чичи Банистер, а кто-то уверял, что и в постель, хотя в газетах об этом не писали — все купили «Сан» тем вечером и «Геральд» на следующее утро — в газетах не было никаких подтверждений, что злодей угрожал Чичи ножом, но добрые люди были так расстроены, что несколько дней не могли проглотить ни кусочка, так они переживали о той ночи, когда насильник грубо раздвинул прекрасные белые бедра, словно куриную тушку разделывал, и только случай уберег их собственную Триш

или Венди, или да — ты и сам мог оказаться там, в постели Чичи Баннистер, причем пожилые, страдающие простатитом, джентльмены были убеждены в этом, как никогда прежде и никогда после.

В общем, все пришли в ужас.

В нынешних взаимоотношениях с Баннистерами соседи упорно игнорировали факты: к этому можно было относиться только так, как будто вся семья перенесла тяжелую болезнь. Участливо справляться о здоровье, что они едят для восстановления сил и рекомендовать чудесную программу для инвалидов, о которой писали на коробке от хлопьев. Но это годилось лишь для родителей. С девушкой все было гораздо сложнее, потому что ты же своими глазами видел, как она боролась в постели с похотливым чужаком: татуировки на его руках, следы от прививок на ее руке, когда она пыталась защититься от ножа.

Так что соседи в основном старались избегать Чичи Баннистер. В любом случае Чичи и сама изменилась. Во-первых, стала иначе одеваться, хотя нельзя сказать, что не по моде: это был стиль без всякого стиля. Но даже и невзирая на черный цвет одежды, который предпочитали очень многие девушки, ее лицо стало другим,

как и следовало ожидать всякому, кто осмеливался взглянуть на него, потому что она сменила прическу. Если хорошенько подумать, то эта Фелисити всегда была девушкой, с которой вы были знакомы, но которую совершенно не знали. Когда вы говорили с прежней Фелисити, она казалась неким металлом, мерцающим и искаженным под толщей воды, а вы глядели на него с надежной пристани. Теперь даже этот манящий и далекий объект был затемнен пронесшимся над ним событием и волосами, которые она теперь тщательно взъерошивала в духе сегодняшней моды.

Самое важное — кольцо исчезло, как утверждала миссис Берстолл — храбрейшая или, наоборот, самая беззастенчивая из всех соседок. Она хорошенько рассмотрела руку Фелисити, так, между прочим, остановив ее с вопросом:

— Ну как там твоя работа, Фелисити?

— А я ее бросила — ту, прежнюю.

Она отдернула длинную, спутанную прядь волос, которую при надобности можно было использовать как занавеску. Но сейчас Чичи была открыта взору и миссис Берстолл подумала, что никогда не видела такого голого лица и такие напряженные глаза ей еще не встречались.

— Ну, раз ты так себя чувствуешь, — сказала

миссис Берстолл. — Независимость — главное для человека, правда?

— Думаю да, если она существует, — рассмеялась Фелисити одними бесцветными губами, прохладно, если не сказать — холодно.

Миссис Берстолл обиделась бы, не будь она слегка напугана — Чичи Баннистер, всегда такая прямая и приятная в общении, вдруг заговорила мудрено. Даже если принять во внимание, что девушка переменилась после случившегося с нею, все равно миссис Берстолл испытала облегчение, когда юная особа в высоких ботинках и черном костюме зашагала прочь, снова оставив ее наедине с георгинами. Миссис Берстолл поплотнее запахнула домашний халат. В любом случае она заметила, что Фелисити больше не носит кольцо.

Молодой человек не показывался с тех пор, как произошли упомянутые неприятности. Только однажды мистер Джеррольд видел его. Мистер Джеррольд, ныне пенсионер, вывел собачку на дневную прогулку и приметил какую-то английскую машину, стоящую у парка на другой стороне улицы. Машина была необычная, мистеру Джеррольду захотелось ее рассмотреть, и тут он узнал человека на водительском сиденье — это был

молодой человек Фелисити Баннистер, и сама она сидела рядом с ним в машине. Старик попал бы в весьма неловкое положение, если бы лица всех троих не были обращены в одну и ту же сторону. По крайней мере он мог пройти мимо, глядя вполглаза, зато навострив уши и не дав песику поднять ножку на один из сверкающих колпаков.

Собственно, мистер Джеррольд мало что услышал, потому что парочка сидела, склонив головы, казалось, они безмолвно рассматривали приборную доску, как если бы некий хрупкий рычажок на ней забарахлил. Или просто разговор подошел к концу.

Джон Гэлбрейт позвонил Фелисити сразу же, как только получил ее письмо, и сообщил, что приедет тогда-то в таком-то часу. Его голос из Канберры звучал приглушенно, но был теплым и добрым, как никогда прежде. И во время всего телефонного разговора Джон ни словом не обмолвился о содержании ее письма.

Миссис Баннистер сказала:

— Я знаю, что Джон все поймет.

Глядя матери в лицо, слыша ее голос, Фелисити была исполнена решимости избежать ловушек, в которые могло завести ее это «понимание»

и пресечь малейшую попытку матери обхаживать своего возлюбленного. Миссис Баннистер накрасила губы и для одиннадцати часов утра как-то слишком обильно надушилась.

Так что, едва заслышав рокот мотора, Фелисити почти бегом бросилась по наклонной дорожке через палисадник, преодолела два лестничных пролета с неким подобием изящества и контраста ради с неуклюжим топотом приземлилась среди гибискусов у подножия лестницы. Платье на ней было самое простое, проще не бывает — старое белое теннисное платье из хлопка, которое мама не одобрила.

Она почувствовала истошную дрожь удовольствия, когда рядом остановился серый «Астон Мартин».

Джон так нежно обнял Фелисити, что, пожалуй, снова покорил бы сердце миссис Баннистер, если бы она только видела это. И она, несомненно, все видела.

— Вот теперь, любимая, — сказал он, — мы можем поговорить о том, о чем не пишем в сиюминутном запале.

Как нежно и как разумно это было сказано.

— Да, по крайней мере, мы можем поговорить, — согласилась она.

С этим-то она согласилась, но Фелисити также понимала, что никакой разум не защитит ее от формы его спины, от текстуры ткани поверх нее, не говоря уже о кожаной обивке сиденья «Астон Мартина».

— Для того я сюда и пришла, — добавила она, задыхаясь, — чтобы мы все обсудили — разумно — без помех.

Они проехали немного вдоль парка. За перилами конная полиция проводила утренние мероприятия, словно в поддержку разумной картины мира. В обычных обстоятельствах пейзаж был бы слишком знакомым, чтобы его замечать. Теперь он поражал воображение — обгорелый и косматый, с обрывками газетных листов, попавших в колючие еловые лапы.

Полиция плела свои аккуратные узоры, разворачиваясь и перестраиваясь в соответствии с командами, отдаваемыми голосом командира, а в это время другой голос накладывался в противосложении: это был голос дрессировщика, который среди куч грязного песка учил послушанию молодого палевого лабрадора. Внезапно тренер выругался, собака взвизгнула раз или два, а потом рванула по широкой истерической траектории, и тренер бросился следом, принялся

притворно-ласково подзывать надрывно орущего пса, а тем временем полисмены на лошадках-качалках все кружились, в упоении от собственной мужественности.

Было бы, пожалуй, гораздо тревожнее, если бы вскоре не воцарилась обычная утренняя тишина. Пока сама тишина не стала тревожной, звенящей тишиной, которая способна прозвенеть глубоко личным решением.

Когда они оба более-менее успокоились, Джон Гэлбрейт сказал:

— Я нашел покупателя для машины — шеф-повара бразильского посольства.

— Он много тебе за нее заплатит?

— Не очень много. Но мне повезло, что меня так легко отпустили. Да и отъездился я уже в «Астон Мартине».

— Да. Уже отъездился.

Когда он взял ее руку и крепко сжал в своей большой, надежной ладони, она подумала о том, как уютно, как счастливо могли бы они жить вместе, подобно тем парам, которых обычно меньшинство на званых обедах, чья взаимная любовь, казалось, защищала их не только от соблазнов плоти, но и от острой потребности в любви.

— «Астон Мартин», конечно, дорогое удовольствие, — сказала она буднично, — но ведь ты хотел именно такую машину. Интересно, чем ты заменишь его в Риме.

— Это будет наполовину *твое* решение. — Он улыбнулся, и ей подумалось почему-то, что он всю дорогу из Канберры репетировал эту улыбку, сидя за рулем. (Не подергиваются ли уголки его губ?) — Потому что ты ведь не веришь, правда? Разве хоть что-нибудь — что бы ни случилось — может изменить наши с тобой отношения? Фелисити, любимая!

И все же он изменился — теперь он смотрел на нее с интересом, которого до сих пор старался не показывать. Он пытался в мельчайших подробностях представить воочию то, что другой мужчина с ней сделал. Рука, сжимавшая ладонь Фелисити, вспотела. А прежде довольно бледные, мясистые, но приятные и не слишком чувственные губы внезапно расползлись. Рот Джона Гэлбрейта был воспитан тактичной беседой, иностранными языками и стратегическими улыбками, хотя он с удовольствием целовал ее, исполняя свой долг.

— То есть ты же не считаешь, что я буду меньше любить тебя? — Теперь он исполнял свой долг на словах.

— Нет, — ответила она. — Не считаю. — Она не верила, что Джон настолько страстен, чтобы когда-нибудь изменить ей.

— Значит, как я понимаю, ты согласна со мной, что то письмо твое было безрассудным. Но ты почувствовала потребность написать его.

— О, я должна была его написать.

— Это если бы я был подонком, способным нарушить договор.

— О, Джон, я знаю, ты сдержал бы слово. Но я вдруг осознала, что, возможно, не способна сдержать свое. Потому и написала тебе: оказалось, во мне нет той любви к тебе, какую ты хочешь и ждешь от меня.

— Но ты ведь любишь меня?

— Да. Люблю. Вот только это не то, чего ожидаю от любви *я*.

Он отдернул руку. Наверное, движение не показалось бы таким поспешным, если бы до этого он не сжимал ладонь Фелисити в своей.

— Неужели похоть того, другого, все настолько прояснила?

— Нет. Похоть его уж точно ни при чем. Как и все, что произошло между нами, — кроме самого факта, что это случилось. И я не принимала в этом участия.

— Но уж в браке-то двое должны принимать участие?

— Иногда — да, а порой — нет. Как в изнасиловании.

— Не вижу тут аналогии.

Ей следовало быть настойчивее.

— Поэтому мне пришлось разорвать помолвку. Да и как это, кстати, возможно — «заручиться» любовью? — Она засмеялась, потому что подумала об этом только что. — И как это можно «разорвать»? Что-то большое надо «разрушить» — никак не меньше!

Наверное, она подалась к нему, потому что он отстранился — едва заметно. Его лицо как будто застыло, одервенело, он, наверное, затаил дыхание.

А она тем временем продолжала смеяться:

— «Разорвать» — до чего ничтожный глаголишка!

Его кадык судорожно дернулся — вверх-вниз — дважды, словно скоростной лифт. Потом он спросил:

— Должны ли мы что-нибудь сделать? Я имею в виду, что-то официальное? Как-то объявить об этом?

Пожалуй, впервые в жизни кто-то спрашивал у

нее, что делать.

— Не думаю, — сказала она. — Матери я скажу сама. А ты просто забудь, пусть все исчезнет само собой.

Он смотрел на нее влажными глазами благодарной собаки.

— Что ж… Если ты испытываешь именно такие чувства, Фелисити. Я буду только рад сделать все, что ты хочешь.

Осталось только одно — снять кольцо и положить его в бардачок его машины, что она и сделала без всякой нарочитости, а ему хватило чувства такта не заметить это.

Какое-то время они сидели рядом. Беседовали о Риме, и она умело поддерживала разговор, потому что много читала об этом городе. Она что-то говорила об итальянской сосне, когда вдруг вспомнила, что ей пора.

— Мне нужно идти, а то мама сделает неверные выводы.

— Может, это мы с тобой поступаем неверно?

— О нет, если так подсказывает тебе чувство!

Он на самом деле старался уговорить ее, соблазнить — взглядом, который прояснился после освобождения, поцелуем, во время которого его язык даже проник к ней в рот. Она почувствова-

ла подступающий к горлу всхлип, и заставила себя сдержать его, подавить вместе с тоской по той мягкости и пушистости, которую он мог ей предложить.

— Спасибо тебе, дорогой. — Она ответила на поцелуй с такой силой, что их зубы столкнулись с уродливым стуком.

Она видела, что оставила плохое послевкусие и что оба были спасены.

Когда Фелисити вошла в дом, мать встречала ее в холле. На ней была пара резиновых перчаток, защищавших ее руки во время выполнения самых грязных подробностей домашнего мученичества.

— О, дорогая, что ты со мной делаешь! — немедленно возопила миссис Баннистер.

— Но это я была помолвлена.

— Я тебе только одно скажу, Фелисити: это какое-то чудовищное извращение — твой поступок. — Почему, почему, скажи на милость, ты решила нас уничтожить?

Глядя матери в лицо, было невозможно сдержаться и не заорать в ответ:

— Почему — ПОЧЕМУ?!!! Если бы я знала ответы! Но я не знаю! Я же не твоя любимая заезженная пластинка!

Едва за дочерью захлопнулась дверь, мать содрала перчатки телесного цвета. Ей нужно поговорить, она должна сказать Мадж. Но палец ее соскользнул на полпути, набирая знакомый номер. Наверное, она слишком стара, слишком уродлива. Прозрачные, разорванные перчатки казались ей такими же отвратительными, как и собственная кожа.

Раньше она подбегала к телефону, словно там ее ждали объятия возлюбленного. Теперь она стала бояться звонков. Ее больше не возбуждали часы флирта с чужими горестями: то, что начиналось, как восхитительное чувственное роскошество, превратилось в инквизицию. Она даже начала признавать, что Хамфри был прав: Мадж Хоупкерк все делает только хуже. Безусловно, Мадж задавала очень неприятные вопросы.

А телефон трезвонил без умолку. И приходилось поднимать трубку, потому что это же неприлично, притворяться, что тебя нет, когда вот она ты: никто не сможет упрекнуть тебя в несоблюдении основополагающих правил хорошего тона.

— Нет, Мадж… Нет. Ты меня вовсе не отрываешь — так, пара мелких рутинных дел… Конечно, дорогая, я буду рада выслушать, если ты действительно чувствуешь, что должна сказать… С

другим молодым человеком?... Н-ну, Мадж, если бы только с одним. Если бы Фелисити была с одним и тем же ужасным парнем, а не с несколькими, с которыми ты ее встретила, тогда нам стоило бы начать волноваться. А так, я не собираюсь терзаться... Я знаю, у некоторых ее друзей сомнительная репутация. Это началось с тех пор, как она бросила прежнюю хорошую работу у Мойры Помфретт и устроилась на новое место, в этот бутик, или в комиссионный магазин. Впрочем, это едва ли меня касается... Я говорила тебе — у них это называется «складчина»... Уверена, что в название не вкладывался какой-то особый смысл. Это просто глупая, безвкусная шутка. В наши дни у многих проблемы со вкусом... Но Фелисити — чистая, здоровая девушка. Если внешне она и переменилась — одежда стала немного «другой», — так это из-за компании, с которой она общается. И потому что... да... она изменилась — с тех... Тебе нет нужды напоминать мне, Мадж. Хамфри предложил, мол, а что, если попросить доктора Херборна свести Фелисити с хорошим психоаналитиком. А она ответила, что сама себе психоаналитик — не хуже любого другого. Почему бы и нет? Она образованная девушка. И я всегда говорю: никто не знает человека лучше

его самого. Это совершенно бесспорно… Согласна, существуют и те, кто не понимает самого себя. Всегда будут существовать простаки. Это другой вопрос… Счастлива ли она? Нет, ну правда, Мадж! Как я могу о таком спрашивать? Я хорошо усвоила урок… Мне нужно идти, дорогая. Что-то выкипело и уже пригорает. Чувствую по запаху…

Стряхнув с себя назойливого дознавателя, Дорис Баннистер направилась прямиком в столовую и плеснула себе немножко коньяку из запасов Хамфри. Не в тот бокал, ну и ладно, и пусть от нее пахнет спиртным, если кого-то принесет на порог нелегкая…

Это была влажная ночь. Дождь уже кончился, но капли свисали и осыпались с черных, листьев из лаковой кожи. Откроешь окно — и холодный, почти жидкий воздух окатывал тебя, заставляя пить его взахлеб. Создавалось ощущение, что ты стоишь на одном конце фланелевого туннеля, а на другом его конце храпит папа, и мама, убежденная, что она бодрствует, на самом деле уснула на своей половине двухспальной кровати. А в темноте между ними висело тиканье часов, которое утром должно было вернуть их к жизни.

Пару раз мама что-то произносила, но звук был серый, фланелевый. Однажды прозвучало слово:

«Фффью-лиссс?», а потом нависший сон поглотил его, заглушив.

Мама ни за что не догадалась бы, что другие называют тебя «Лисс», если бы не подхватила это словечко где-то в ухабистом туннеле, сквозь который ее тащило во сне. И если так, то сон уменьшил или, по крайней мере, притупил ее неодобрение.

Склонность к неодобрению — это, пожалуй, главное, что ты унаследовала от родителей. С этим ничего нельзя поделать, разве что успокоить совесть неодобрением к себе.

Она отбросила щетку, которой приглаживала мокрые волосы: все равно ночь, сырость. Стук упавшей щетки был единственным реальным звуком во всем этом спящем фланелевом доме. Щетка была из крепкой слоновой кости — из набора, подаренного папой на двадцать первый день рождения, с золотой монограммой «Ф.Б.», напоминающей, кем ты была, когда имя — наименьшая часть тебя.

Уложив волосы, она сошла вниз. То и дело, и на лестничной площадке, и внизу она натыкалась на мебель, хотя знала географию дома наизусть. Она могла бы пораниться, если бы углы не были обиты войлоком и если бы ее плоть не презирала

боль.

На улице ее движения обрели некую целенаправленность, память и инстинкты уже не настолько затуманивали ее сознание. Тело ее стало мускулистым под панцирем скользкой кожи, лицо содрогалось в спазмах от прикосновений мокрых листьев в потоках воздуха, когда, наклонив голову, она прокладывала себе путь по безлюдным улицам.

Все обыденные, робкие добродетели сидели по домам, хотя льдисто-голубые фонари продолжали светить, чтобы, согласно административным правилам, оградить блуждающих по улицам от бед, которых те искали на свою голову.

Когда она шла по улице, ее ледяная кожа усиливала ощущение неприкосновенности.

Те, кто вторгался в ее обособленное существование — старый убогий бродяга, шайка спотыкающихся масонов и даже встречный грубый мужлан, — опускали взгляд. Поначалу все это казалось ей шуткой, игрой. Карманное зеркальце все объяснило бы, но тщеславие не обеспечило ее этим предметом, в конце концов она приняла опущенные взгляды как неизбежность.

Один из ее ухажеров — Гари, или как там его? Барри? — наехал на нее: «Ты возомнила себе,

Лисс, что можешь любого заставить потушить свет. Ну а мы, блин, не согласны его тушить и не собираемся».

Сперва она не осознавала, какой эффект производит на других, не только на тех неведомых ночных прохожих. Поэтому просто посмеялась над этим обвинением, и этот парень — Барри или Гари, ее дружок, невольно опустил глаза, не сумев совладать с собой на какое-то мгновение.

Все юноши и девушки в ее новой компании, которой она так рьяно стремилась подражать, по крайней мере сначала, имели похожие имена и взаимозаменяемые тела. Верхом блаженства для них было собраться компанией на полу, и пребывать в состоянии эйфории, которое казалось ей трогательным и завидным. Ей до смерти хотелось подстроиться, но в то же время она мечтала ослепить их неким откровением любви, в которую они верили, но не могли обрести. Пару раз доходило до того, что она разделяла с ними их полудетские, почти бесполые ритуалы. Пожалуй, она была единственной, кто не терял отчетливости — и фактически она была угрозой, так что некоторые из них, узрев контуры, которые не желают сливаться с их общим размытым пятном, начали третировать ее. Тут она ничего не могла

поделать. Не могла уложить свою волю на их цветочное поле или успокоить их страх, что она может обрушиться на них потоком лавы, которая поглотит и превратит в камень их блаженство.

Она и сама поначалу не могла признать это пугающее, хотя все еще дремлющее, коническое жерло собственной воли.

Именно в ту ночь после дождя вулкан ожил, но уже не в первый, а во второй раз. И той же ночью она увидела или начала осознавать иную возможность. Пока она шла по склону холма, любой из помпезных домов, брошенных здесь за эти годы, мог бы открыться ей, если бы она только пожелала. Но она откладывала наслаждение своей силой, пока не смогла устоять перед домом, похожим на их собственный в своем уродливом великолепии и самоуверенной неприкосновенности.

Фонарь над крыльцом был зажжен, сообщая, что обитателей нет дома.

Маленький камень, брызги стекла, и вот уже ее рука без труда повернула защелку. Перебравшись через подоконник, она сразу почувствовала знакомый фланелевый запах — так пахли эти дома по ночам. Для начала она прошлась, не столько осторожничая, сколько пробуя силы, по гости-

ной: походя щелкнула бокал, чтобы услышать его звон, довольно милосердно пнула дурацкую скамеечку для ног. Здесь был портрет женщины в модном платье, которое нынче уже вышло из моды, лицо на портрете лучилось улыбкой успеха и богатства. Мебель загромождала изначально просторную комнату. Теперь, в качестве инициации, стоит поскрести ногтями обивку цвета плоти.

Следующая богатая комната пахла самцом и кожей. Она зажгла сигару — для компании. Она оседлала кожаный подлокотник, чтобы осмотреть гравюры с лошадьми, календари, ножи для бумаги, справочники, бутылки и прочие приспособления мужского авторитета. Затем сплюнула на ковер жеваный табак, от которого ее затошнило. А если бы вырвало? Хорошо бы!

Комнаты наверху казались еще более беззащитными, поскольку были более приватными. Ну и более уродливыми, конечно, из-за фантазий о юности и сексе, висевших в шкафах и цеплявшихся за муслиновые юбки туалетного столика. В пустоте двуспальной кровати кукольные мальчик и девочка сплелись, неубедительно изображая любовников.

По всему дому слышны были только звуки мебели, часов и тишины.

Так что она устроила в нем веселуху. Улеглась на кудрявый коврик из овчины и принялась кататься по нему, пока не закашлялась в клубах пыли. Согнула пополам отделанную пухом тапочку и выстрелила ею в алебастровый абажур, а тот отозвался, словно потревоженный гонг. Растерзав тряпичных кукол, она вспрыгнула на громадную кровать и стала топтать ее, по щиколотки увязая в ее обширных белокурых телесах, атласная кожа ее лопалась и сдиралась без труда. Она отвернулась от фотографии, которую собиралась разъяснить, но позднее и более тщательно. Ящики и шкафчики воссоединились с овчинным ковриком, раскрывая ей секреты крупной женщины на портрете внизу: секреты сии были малоинтересны в своей банальной роскоши, а порой — неряшливости и неуемности плотских желаний, поэтому она равнодушно позволила им валяться на полу. Они шлепались или взрывались с металлическим треском, раскатываясь по углам. У книги художественных фотографий, должно быть, сломался хребет — вид у нее был такой изломанный, беззащитный, поверженный. Она впечатала каблук в «любовную позицию № 27».

Она совершила блиц-тур по нескольким ком-

натам поменьше, заполненным игрушками, трофеями и мечтами недорослей или маленьких мужчин: вымпелами, посеребренными кубками, рядами футболистов, демонстрирующих мускулы, плакатами с красочными и весьма сисястыми девицами.

Ворвавшись в ванную, она швырнула чугунного атлета в зеркало — результат был сокрушителен: теперь казалось, будто ее собственная голова застряла в центре хрустальной паутины. Будь у нее время, она разделась бы догола, растянулась бы в этой вожделеющей ванне и испытала бы все виды виновато-сладострастных объятий. Но времени не было.

Она вспомнила о фотографии в рамке из искусственной кожи во флорентийском стиле, стоявшей на туалетном столике в хозяйской спальне: лицо мужчины, хозяина, властелина женщины, для которой его черты стали слишком привычными, чтобы иметь какое-то значение.

Слегка задыхаясь в своем кожаном костюме, она побежала обратно по лестнице. Ей не терпелось съесть, сожрать что-нибудь мясное, зажевать оскомину приторной, рахат-лукумовой сладости.

Она схватила фотографию с вычурного туа-

летного столика и поднесла ее близко-близко к лицу, как будто впитывая тревожными ноздрями терпкие, мужские запахи всех подобных лиц: лосьона после бритья, бриллиантина, алкоголя, табака, которыми они время от времени маскируют истинный запах своей шкуры.

«Господи, я похожа на голодного идиота!» Она глянула на себя в зеркало, оторвавшись от еды — поскольку это и в самом деле стало для нее пищей: деликатесом из отборной говядины.

Но этот неосознанный мужчина продолжал улыбаться ей с фотографии, вечной улыбкой, запечатленной поверх надписи на языке безотказного рыцарства:

Дарле
с любовью и покусываниями

от Харви

«Да ты и впрямь настоящий Харви», — проворчала она. А тот продолжал улыбаться всем Дарлам на свете.

В конце концов ей пришлось разбить стекло, защищавшее тщательно выбритые улыбки всех слабых, пухлых, успешных мужчин на свете. Улыбку она разорвала, как картонку. Все мужчины слабаки.

Теперь Дарла. Разбросать ее наиболее интимные принадлежности — щетки, флакончики духов, приоткрытую пудреницу — было проще простого. Сорвав вычурную оборку с туалетного столика-подделки, она обнажила его кривые ножки.

Звук собственного дыхания может возбуждать похоть.

Так что она с грохотом ринулась вниз по гулкой лестнице и непременно расшиблась бы, если бы не вцепилась в костяную рукоятку ножа, притороченного к поясу (*Это еще зачем? А, это мой нож-акула. Я взяла его на всякий случай*), крепко держась за него, она смогла восстановить равновесие на крутых ступеньках.

Оказавшись внизу, она зашагала — твердо и трезво — туда, где предположительно находилась кухня, чтобы удовлетворить очередную свою надобность. Потом вернулась. И принялась вымазывать портрет Дарлы: сперва мучнистое лицо с двумя пятнами победного румянца, затем цветастый шифоновый торс, потом снова лицо — малиновым джемом, на счастье. Дарла была раскрашена от души.

Затем пришла очередь телесных кресел. И столешницы Харви из тисненой кожи. Правда,

тут малиновый цвет несколько потерялся на малиновом фоне. Она с гораздо большим удовольствием — честное слово — вымазала бы стол Харви дерьмом. Вот только дерьма под рукой не оказалось.

Зато под рукой был нож. Столешница сопротивлялась — Фелис чуть не сломала свое залитое малиновой кровью запястье. Кресла поддались куда легче: словно плоть больших, мягко улыбавшихся, но перепуганных в конце концов мужчин. Кожа Дарлы, обтянутая персиковым атласом, вряд ли стоила трудов, но кожаная претенциозность мужчин — дело совсем другое.

Оседлав толстые кресельные бедра, без устали рубя, дергая свободной рукой поводья, разрывающие рот, державший удила, она в какой-то мере была оправдана, хотя ужасные спазмы вины наконец охватили все ее тело.

Она рухнула в кожаные объятья, почти мечтая, чтобы мамочка вошла вон в те двери и на лице у нее было бы выражение: «Мамочка сейчас возьмет на ручки свою девочку, которую даже папочка не должен касаться мочалкой»

Она лежала и лишь наполовину верила в то, что теперь обрело своего рода завершение.

В ту ночь, когда к ней в комнату влез чужак, она

не испугалась, не сразу, не с самого начала. Конечно, она замерла в кровати от неожиданности, но не от страха. Даже нож не испугал бы ее — она читала, что грабители угрожают ножами, но этот не угрожал.

Он влез неуклюже, если не сказать шумно, и чуть не свалился, зацепившись обувкой за подоконник — словно какой-то дилетант. Правда, в дальнейшем представлении были моменты, где он показал себя более опытным: к примеру, искусно откинул простыню. Потом улегся рядом с ней. Это было так естественно. А поскольку, как ей показалось сейчас, именно этого она всегда ожидала, она повернула лицо в ту сторону темноты, откуда должны были смотреть на нее его глаза. И приготовилась схватиться с ним в чудесной, но взыскательной игре — игре, в которой ей еще не доводилось участвовать, она лишь репетировала ее, шаг за шагом, в потаеннейших уголках сознания, хруст костяшек, сплетение ног в единый, крепкий канат. Затем, согласно правилам игры, она подзадорит его погрузиться глубже в ее безмолвный рот. Она почувствует, что его сила зависит от него, и при малейшем колебании она станет побуждать его своим всепроникающим поцелуем, покорять другие вершины — по

ее выбору. Она, и только она, будет повелевать решительным ударом.

И вот она не отворачивала лицо от своего желанного незваного гостя. И ждала первого шага, а тем временем его кеды, сквозь которые она ощущала форму его больших пальцев, скребли ее голые ноги, а сильно засаленная поверхность его джинсов зацепилась за подаренную мамой «прелестную ночнушечку».

Еще несколько мгновений — и он набросится на нее. Но пока она ждала, тошнотворный, мерзкий, кисловатый душок подозрения начал просачиваться в ее ожидание: а что, если окажется, что это никакое это не испытание силой, а все-навсего оскорбление бессилием?

Она выпростала руки. Взялась за его предплечья: на ощупь они были как влажное оперение поверх костей. Только тогда он начал слюнявить ее рот тугими, пахнущими прогорклым жиром губами. Он впился в ее щеку зубами, и она представила себе эти зубы — мелкие, неровные, кариесные.

И была настолько потрясена, что ударила этот рот кулаком что есть сил, и его голова с шипением уткнулась в ее подушку.

Ситуация накалилась до такой степени, что

она чуть не опрокинула лампу, когда потянулась, чтобы включить ее. Лампа покачалась, но выстояла. И щелкнула.

Голова на подушке стонала. Фелисити видела синеватую щетину и провал в ней, открывавший, как она верно угадала, мелкие, испещренные чернотой зубы. Вонь разложения ударила ей в ноздри из раззявленного рта.

Ее самоотверженность была оскорблена таким неаппетитным партнером.

— А что ты хотел? — набросилась она на него. — Вполз сюда, как какой-то таракан, да еще такой мерзкий, грубый!

Он отвернул от нее лицо, словно свет лампы слепил его. И хотя ее голос, когда она обращалась к нему, звучал даже громче обычного, он притворялся, что ее не существует.

— Что! — Это был не вопрос вовсе. — Ах, я знаю, ты получаешь свое. Надругавшись над слабыми, истеричными созданиями, перепуганными школьницами или полупарализованными старушками. Мне даже спрашивать не надо — я читаю газеты.

Но он не отвечал. В их совместном молчании ей казалось, что она слышит каждое движение его век.

— Если не знаешь, поверится с трудом. — Отпрянувший незваный гость внезапно вызвал в ней приступ ярости. — Даже если бы я захотела тебя, ты бы не смог. Ты такой — мерзкий!

И она принялась хлестать этого мужика тыльной стороной руки, била кулаками по небритым щекам, так что его голова моталась из стороны в сторону на подушке.

— Ах, ты!

Привстав на колени, она колотила его кулаками по ребрам, а он извивался, скулил и хрипел под ее ударами.

— Слышь, имей сердце! Что за игры у тебя?

— Никаких! — Она не могла бы объяснить, что на нее нашло, но пробормотала в ответ: — Никаких *игр*!

И вдруг ее охватил огонь: она упала на него, лаская его щеки своими щеками, закрывая его и без того безымянное лицо волосами, и погрузила язык ему в рот.

Ужас его оглушительно захрапел вокруг нее, и она отстранилась: тошнота, вызванная запахом прогорклого жира и отвращение к раскисшим картофельным чипсам заставили ее отпрянуть и сесть на колени.

Если бы он в этот момент дернулся, чтобы убить

ее, она даже не заметила бы этого.

— Вот этим ножом ты их резал?

Она вытащила нож из ножен, висевших у него на поясе и взвесила на ладони, нацелив в него клинок.

— Давай! — сказал он. — Твоя взяла!

Она не хотела убеждаться в том, что глаза, мерцавшие в приглушенном свете, оказались крошечными, маслянистыми и жалкими.

– *Ничья* не взяла! — Ей пришлось собрать все силы, чтобы не выразить жалость из-за собственного разочарования. — В том-то и беда.

Потом, откинув назад волосы и громко шморгнув носом — папина привычка, которую мама не одобряла, — она сказала:

— Эй ты, вставай! Надо отметить проигрыш.

Все еще сжимая нож в одной руке, другой она тащила плюгавого мужика, крепко держа за запястье, а тот послушно, по-детски, топал следом. Такое вообще возможно только во сне.

Вместе, но порознь они ворвались в столовую.

— Я капли в рот не беру, — отказывался он, когда она налила полбокала «папиного хорошего коньяка».

— Всего глоточек! — Она попыталась влить коньяк сквозь его стиснутые зубы. — Я понимаю,

обычно в этом нет необходимости. Но сейчас необычная ситуация.

Но человек уперся сильнее, и к ней возвратилось презрение — на этот раз необоснованное — к его рассудительности.

— Ты и не куришь, как я понимаю.

Она поперхнулась, глотнув обжигающий коньяк.

Он кивнул, соглашаясь с тем, что не курит.

Она закурила сигару, вспомнив, как это делали в ее присутствии. Ярость бесцельно клубилась внутри нее.

— Значит, я не могу пригласить тебя как-то отпраздновать?

— Чего?

Ничего.

Она плавала в дыму и слезах, а он перегнулся через стол и спросил:

— Что ты собираешься со мной сделать? Если хочешь сдать копам — валяй. Я тока хочу сказать, что у меня жена и парочка детишек — приемыши, две маленькие девчушки.

— Только не девчушки! — запротестовала она.

Она на минутку испугалась, что он сейчас начнет поверять ей историю своей банальности — этого она бы не вынесла, пока ее полузадушенное

желание все еще извивалось внутри нее.

— Не надо мне ничего рассказывать, — сказала она. — Ничего не хочу знать — ни о тебе, ни о ком-то еще.

Она продолжила лелеять свою полуправду после того, как выпустила его. Он прошел мимо нее — сущий электрик или сантехник.

Только по возвращении в столовую расплескавшийся коньяк и тлеющая сигара подчеркнули ее несостоявшееся намерение: разрушить, желательно одним яростным взрывом, *ничто*, которым она была, чтобы начать *жить, быть, знать*.

Теперь она могла бы унизить свою и без того чрезмерно униженную волю, ранив себя физически, если бы не слышала, как другое «я» мычит, словно обездоленная корова. Расхаживая взад-вперед, она рвала на себе ночную рубашку, которую ей не довелось разорвать, как положено, в обстоятельствах столь далеких от классической трагедии.

Пока не явилась мама с характерным выражением на лице.

— О, Фелисити! О, моя дорогая! Дитя мое! Расскажи мне все!

Она позволила им сказать ей, что делать, и

повиновалась им до такой степени, что дала именно те ответы, которых они ожидали. Правда, не на все вопросы.

— Нож? Он ведь забрал его? Да, он вытащил нож и угрожал мне им.

Ей важно было сохранить эту единственную памятку, которую она спрятала за буфет — ради безопасности. И еще скрыть суть моральных затруднений, которые они, возможно, не смогли бы понять.

Она так и лежала бы в руинах поверженного кресла Харви, роскошествуя в хаосе, вопиющем вокруг, если бы пульс истерзанного дома не ускорился слегка: обмякшее безмолвие становилось все напряженнее, время громко восстанавливало свою сталь. Вытаскивая руки из горячих кресельных потрохов, она уже слышала ключ, грызущий замок, и голоса, одержимые банальностями: папа опять брал верх над мамой, а мама негодовала, что ее над ней снова взяли верх.

Было бы слишком утешительно позволить им себя поймать.

Затем начал вспыхивать свет в других комнатах. Хозяева заметались среди своих вещей, неожиданное уродство которых заставило их заговорить такими голосами, какими они, на-

верное, годами не пользовались. Как будто на бегу… так что и ей пора было бежать. Не было времени даже на то, чтобы обменяться с Харви прощальным любящим взглядом — смесью ужаса пополам с удовлетворением.

Она нырнула под бельевые веревки и соскользнула, в своей гладкой коже, по задней стене. Скорость, и опасность, и влажная ночь наделили ее профессиональной непринужденностью — или безразличием. Пробегая проулок, она вынимала из ладоней колючки и наслаждалась запахом, оставшимся на ней от побитых лимонов.

Памятуя, вероятно, советы людей знающих, ее отец, Хамфри Баннистер, стриг лужайку довольно регулярно. Он пропалывал огород усерднее, чем когда-либо. Он высаживал рассаду с точностью вышивальщицы, а улитки или гусеницы объедали ее или кошки, зарывая свои экскременты, разоряли ее. Он высаживал ее наново с терпением, которое восхищало бы, не будь оно средством самозащиты. Она наблюдала за ним, стараясь не приближаться, иначе им пришлось бы обмениваться малоубедительными уловками, словами. Стоя на коленях, внешне отец был погружен в свое занятие, но она подозревала, что мысленно он делал робкие попытки к сближению — так

же как и ее мать, стоявшая у окна наверху в замшевых перчатках, надетых, чтобы вытирать пыль, и созерцала пустоту, в которой они втроем существовали.

Однажды она снизошла до того, что поинтересовалась у отца холодным тоном, который казался ей теплым:

— Что ты сажаешь на этот раз?

— Портулак.

Всю свою жизнь она смотрела, как он сажал портулак. Могла бы и сама узнать эти обрезки растительной плоти.

— Ну конечно. Неужели они тебе не надоели?

— Они надежны, Чичи.

Она закусила губу, уловив случайный намек.

Не отрываясь от дела, он произнес:

— Прошлой ночью кто-то разграбил дом одного моего приятеля — Харви Мейкина. Хотя «разграбил» — не совсем верное слово. Они, похоже, ничего не взяли. В любом случае не важно, что ими двигало, но банда мародеров вломилась в дом и практически разорила его.

Он засмеялся — на удивление громко, чуть ли не одобрительно.

— Что ж, молодцы. Надеюсь, они получили свой заряд острых ощущений. Харви всегда был

этаким гладеньким, самодовольным голодранцем, а его дом смахивал на мавзолей и просто напрашивался на изнасилование.

От нее не укрылось, как он осекся, осознав свою оплошность, пот выступил у него на затылке, пальцы побелели, укрепляя почву вокруг саженца.

— Это, между прочим, мнение «Сан». — Он отчаянно нуждался в таком же беспардонном соратнике.

У него не хватило смелости посмотреть на нее, и он так и не узнал, что она была потрясена. А ее потрясло — не бестактное слово с неудачным личным подтекстом, не упоминание события, в котором она была виновна, а то удовольствие, одобрение, которое он выразил безобразной — по его же собственным стандартам — выходке.

— Удивительно, что ты не признала старый добрый портулак, — сказал он, немного опомнившись.

— Я не подумала. — Она пнула отброшенный отцом саженец. — Ерундовые растения.

— И они порой преподносят сюрпризы.

В этот самый момент для нее лично неприятным сюрпризом стала неожиданная реплика отца. Глядя на тыльные стороны его увядаю-

щих рук, на морщинистый загривок, она могла принять физическое разложение, но не гниль, разъедавшую то, что должно было остаться невредимым. Признание отца окатило ее новой волной несчастья, словно она сама была виновата в том, что заразила невинных нравственной болезнью.

Как бы ни сокрушалась Фелисити о несовершенстве своего безупречно правильного отца, она с новыми силами продолжила избывать с помощью актов насилия пассивное «я», навязанное ей другими. Хотя и подозревала, что и такое поведение тоже могло быть принято при желании. Она никогда не находила удовлетворения и не могла утвердить своего превосходства в беззащитных домах, куда она вламывалась, неся разорение. Оставалась еще возможность, переросшая в конце концов в надежду, что ее поймают. Но ее так и не поймали. Снова и снова она тыкала носом в собственную глупость тех, кто был неспособен ее поймать — мужчин, разумеется.

Однажды ночью инстинкт, помогавший угадывать отсутствие обитателей в доме, подвел ее. Когда луч карманного фонарика выхватил из темноты спящего человека, у нее захватило дух — не от осознания своей оплошности, а от

того, что она могла наконец-то найти. Или она собиралась развенчать очередную свою иллюзию в обнаженном теле этого юноши, чутко спящего среди завитков сбившейся до голеней простыни? Он был физически сильнее, но трогательная беззащитность спящего человека была для нее так явственна: приоткрытые, будто умоляющие губы, нежные веки, невинные мускулы, мужская грудь, переставшая быть агрессивной фальшивкой под хохолками растительности, тайные плоды, доступные вороватым рукам мародера. Не был ли этот так мало похожий на мужчину мужчина на самом деле восковым воплощением божества? Нерешительно скользящий свет фонаря выражал сомнения и тоску, касаясь золотой поверхности. Пока спящий не пробудился.

Слишком быстро заново налившись силой, тело оказалось мучительно мускулистым, губы жадно хватали неуловимый воздух, окаменевшие глаза незряче блестели.

— Что ты тут ищешь? — спросило божество довольно высоким, бесцельным голосом, прикрываясь дрожащими листами рук. — Чего ты хочешь? — повторило оно на еще более высокой ноте, а потом перешло к делу: — Если денег, то на столе есть пара купюр и кое-какое серебро.

— Нет. — Она опустила голову. — Деньги ни при чем.

Она погасила фонарик, выскочила в открытое окно и со всех ног кинулась бежать прочь от развалин видения.

С той ночи она начала упиваться реальностью во всех ее проявлениях, какими бы ужасными или оскорбительными они ни были. Она стала бродить по парку по ночам («… только не на ночь глядя, Фелисити… умоляю… одни пьяницы, головорезы и извращенцы… никто в здравом уме, даже тренированные спортсмены, не ходят через парк после заката…»), особенно ночами потемнее, когда ветки деревьев хлестали по щекам, сети трав оплетали ноги, ямы ловили в западни, а озеро уменьшалось до шороха и прон-зительных криков водоплавающих.

Она протискивалась между прутьями ограды, в одну из многочисленных прорех, где железо было вырвано из каменных гнезд, и уходила под дубы и сосны, частенько подворачивая ногу о брошенные пьяницами бутылки. Парк предлагал множество возможных исходов, наверное поэтому ночами в нем было так людно. Было слышно, как сердце ее радостно колотится навстречу удовлетворению, доселе неизведанному. Она брела

по песку, и с каждым шагом, казалось, вырастала. Подошвы ее ботинок были подбиты шипами. Она чувствовала, что стоит ей в любую минуту кликнуть зычным голосом, и ее антипод немедля ответит с той стороны, где обычно находился пригород из красного кирпича. Она воображала, как голоса будут сближаться, взывая друг к другу, чтобы определить направление, чтобы дать друг другу силы принять уродство в любом виде.

Так что она продолжала брести и спотыкаться, собираясь для той минуты, когда ей понадобится вся ее храбрость, и порой луна приморaживала ее к месту, внезапно взойдя и застав ее врасплох посреди мыслей, намерений: она не могла немедленно примирить мир красоты с образами реальности, которые хотела призвать. При таком вот лунном свете она набрела на тело, степенно плывущее ничком среди камышей: его спина блестела, покрытая дождевиком, волосы на затылке слиплись в крысиные хвостики. Если эта громадная туша и шевелилась чуть заметно внутри расходящихся кругов, то это из-за какой-то невидимой подводной живности. Она решила уважать тайну смерти незнакомца, как если бы это была ее тайна.

В другой раз она спокойно и терпеливо выслу-

шивала тех, кто хотел выговориться: к примеру пьянчуг, размахивающих бутылкой, точно знаменем, зазывая ее присоединиться к ним под ветвями какой-нибудь смоковницы. Она ложилась рядом с ними, не осуждая за вонь гнилых зубов, сивухи, немытых ног, готовая смириться с чем угодно, лишь бы это не оскорбляло ее чувство меры и обещало некое откровение.

Одна старушка изливала ей душу:

— Ты не представляешь, как эти монашки заставляли меня страдать! В приюте «Пресвятой Девы милосердия». Господи, милосердия там нет и в помине! Я никогда бы не поверила, что и среди монахинь встречаются настоящие суки. А все из-за английской булавки, которой я пристегиваю трусы, чтобы согреться. Нет, милочка, не так — кажется, это все из-за далматинца, потому что *далматинец* — мой любимый торт. Все из-за сестры Перпетуа. Я называла ее «сестра Перепетуя», я тебе не рассказывала? Наверное, нет. Наверное, это и неинтересно — никому-уу, кто встречался с этой жалкой неумехой из Куннамулы, что в Квинсленде.

— Не рассказывали. Расскажите — если это вас утешит.

Но старуха уже потеряла нить и утопила свои

страдания на дне бутылки: ее рассказ так и не прозвучал, если не считать зычных глотков между метиловыми выхлопами.

Некоторые пьянчужки предлагали любовь, словно старый хлам, завалявшийся у них в кармане, который они могли вытащить при желании из-под клочков серых нитей, сопливых носовых платков или измятых обрывков билетов.

— Придержи коней до утра, — советовала она, — а там посмотришь, был ли ты прав.

Никто никогда не пытался обругать ее или избить: все понимали, что только такой же изгой, как они, может уважать серьезность их намерений.

Зато сама она могла обругать при надобности. Споткнувшись о какую-нибудь деваху в трансе, растянувшуюся поверх томного своего хахаля, она пинала их ботинком и орала:

— Вы бы не врубились, даже если бы уже были полудохлыми, как туши на живодерне! А теперь давайте — валите!

Она орала и пиналась, а те судорожно вскакивали, влезали в трусики, дергали «молнии», чтобы защитить свои срамные места от возможного поругания, лица их, которые могли только смутно догадываться о выражении любви, изображали

все возможные гримасы ненависти и страха.

Один толстомясый букмекер или олдермен ирландского разлива, начал брызгать слюной и стращать ее, когда худенькая девушка, которую он ласкал, соскочила с того, что было промеж его ляжек.

— Я тебя под суд… в полицию… рейнджеру… Такие, как ты, — угроза всему обществу!

— Такие-разэтакие, черта с два! Ночью мы все здесь не по ту сторону ограды. Только цели разные.

Но он, похоже, не понял. Никто из них не понимал, на каком языке ни говори.

Если она приставала к толпе в черных кожаных куртках, вопя, как труба иерихонская: «Эй, братва, стойте! Мож, нам есть о чем поговорить?» — те предпочитали спастись бегством, а она продолжала преследование, крутя над головой велосипедную цепь, которую добыла во время другой такой встречи. Цепь со свистом рассекала воздух, а она кричала: «Мы так и не узнаем, пока не выясним, пока не поговорим с глазу на глаз!»

Но по большому счету она могла сказать, даже не глядя в напряженные глазные яблоки любой из этих кожанок, даже не щупая пальцами пульс

на трепещущем горле, она могла сказать, что это ее собственная душа рвется наружу из их бросившихся врассыпную тел.

С певцами было все иначе: она была сама нежность, когда издалека шла на их задумчивые голоса. Юные певуны сидели на влажных кочках среди чахлых сосен. В этот предрассветный час деревья на дальней окраине парка становились черными-пречерными. Казалось, времени для поющих не существует, хотя они, наверное, пропели ночь напролет и уже довольно вяло перебирали струны своих гитар, голоса по-прежнему звенели страстью, а слова на чужом языке выражали мысль наиболее ясно.

— Скажите мне, о чем вы поете? — спрашивала она с должной мягкостью и почтением. Вообще-то она знала, о чем, — инстинкт подсказывал, но надеялась подбодрить их.

В этом водянистом раннем свете на полинявших лицах парней застыло потрясенное выражение. Она с таким же успехом могла бы вскрыть вены на волосатом запястье первого гитариста — в результате ее грубого вторжения все его физическое существо выражало отчаяние, которое до этого изливалось в песне.

Чей-то голос ответил:

— Это песня о единственной любви.

Ответ показался ей довольно веским.

— Об одиночестве, — сделал свой взнос другой певец.

И этот тоже.

И тогда третий, долго жевавший слова во рту, наконец избавился от них:

— Это песня о человеке, который вскрывает ее — ну, ее тело — и сажает камни там, где нет сердца.

Она упала на колени на песок рядом с группой певцов.

— Это неправда! Никто не рождается без сердца. Это просто дурацкие слова глупой песни. До вас бы дошло, не будь вы шайкой молокососов, которые тащатся от ложного пафоса. Вы бы знали, что сердце есть в каждом теле — и оно только и ждет, чтобы его разорвал кто-нибудь — кто-то достаточно крупный, чтоб совершить кровавое дело. Поняли?

Она никогда не делала таких осмысленных заявлений. Постыдилась бы!

Но стыдно стало юным молокососам-грекам. Они встали и двинулись прочь. Их предводитель волочил за собой гитару, та подскакивала, гулким стуком по мокрым кочкам подчеркивая

собственную пустоту.

Белый свет брал свое. Поскольку обвинять было больше некого, вся ее ярость ополчилась против этого сияния, которое восходило, исполненное великолепием совершенного самообладания. Стоя под останками луны, Фелисити грозила беспомощными деревянными руками и, запрокинув тыквенную свою голову, извергала:

— Гребаный боже, ненавижу тебя за то, что ты от меня скрываешь!

Выйдя из судорожного ступора, в котором она лежала, Фелисити, наверное, обвинила бы свою волю в том, что выжила, если бы могла уважать ее до такой степени. Кроме того, ей грозила нервная икота. Поэтому она заставила себя подняться с жесткой травы и продолжила действовать, повинуясь некой надобности. Прядки японского тумана все еще болтались над озером на фоне света, который превратился в покалывание прозрачной, почти слышимой золотой фольги. И сквозь этот эйфорический мир она ковыляла, обремененная грузом камней.

Чьи-то дома, надвигающиеся по ту сторону парковой ограды, напомнили ей, что ее отец, совершенно далекий от клоунады, станет похож на клоуна, вымазав рот зубной пастой, а заспанная

щека матери будет слегка помятой. Строй чужих домов был так безупречен, что усиливал чувство вины в каждой восприимчивой душе.

Она кралась по тротуару, зная, что незнакомцы уже нацелили в нее стрелы своих обвинений из недр зашторенных комнат. Часть из этих когда-то величавых домов превратились из «резиденций» в «жилплощадь», с дощатой обшивкой и балконами, облепленными растрескавшимся асбестом. Некоторые особняки были явно запущены и заброшены. В одном из них, например, она заметила, что ставни повисли на одной петле, завитушки деревянной резьбы то ли сгнили, то ли были оторваны на растопку, осколки стекол блестели на черепице и плитках дорожки, словно навечно застывшие льдинки.

Тщеславие шевельнулось в ней, напомнив ее собственную превосходную технологию разрушения, пока она шла по дорожке к брошенному дому, ломая преграждающие путь ветви жимолости и калины, обходя трупик скворца на некогда мозаичной веранде.

От запаха стылой плесени из окна, в которое она заглянула, у нее сперва перехватило дух. Затем ее стали настигать прочие запахи — тряпья, мешковины, и наконец — она поняла это, когда

ее глаза одолели пятнистый мрак, — дух дряхлой человеческой плоти.

Наверное, благоразумнее было бы не вглядываться глубже, но она должна была вглядеться.

— Что вы здесь делаете? — спросила она, с трудом поборов отвращение.

— Существую. Ну, или тут мое, как говорится, место жительства.

Она так ужаснулась, что вошла в дом и, продравшись сквозь его пустоту, отыскала путь к смеси запахов комнаты, где на испятнанном голом матрасе лежал старик.

— Вы что-то совсем раздеты, — сказала она, выискивая взглядом, чем бы прикрыть его наготу.

— Я перестал одеваться с некоторых пор. Так меньше хлопот. Если хочешь, к примеру, почесаться. Или писнуть. А если кто нагрянет, так постоит в дверях — и уйдет, оставит тебя в покое.

Она поняла бы намек, если бы не его возраст. Наверное, на более ранней стадии своей жизни вид его был бы невыносим, но, прожив достаточно долго, он был допущен в музей времени: объективный разум мог совершенно спокойно принять мошонку, как принял бы яйца динозавра или египетские мумии.

— Может, и так. Но должен же у вас быть кто-то — кто приходит, перед кем вы хотели бы предстать в лучшем виде?

Полузабытые наставления из кодекса общественной морали заставили ее почувствовать, что она обязана впихнуть его умонастроение в надлежащие рамки.

— А это и есть мой лучший вид, — сказал он. — И теперь уже нет никого — с тех пор как они получили, что хотели. Примерно тогда же, когда я остался без одежды и простаты.

Она в отчаянии огляделась. Если бы под рукой оказалось… что-то спиртное, скажем, она могла бы хоть пролежни протереть. В отличие от старика ей страшно нужно было оправдать свое существование. Но все бутылки в углу комнаты оказались пустыми.

— Ни капли, даже грога, — подтвердил хозяин. — Никогда бы не подумал. Грог был моим преданнейшим врагом при жизни.

— Да ладно вам! При жизни! — Блестящая сиделка, которую она внезапно открыла в себе, заставила ее осклабиться в профессионально ободряющей улыбке. — Это вы-то, когда в вас столько еще жизни! Не хотите ли, чтобы я вас умыла?

Она бы тоже этого хотела, не дрогнув даже, но когда она опустилась на колени — прямо на голые доски рядом с ним, стремясь получить его одобрение, старик закрыл глаза, поджал губы и ответил бессонным храпом. Так что самое большее, что она могла сделать, это попытаться успокоить его зловонную кожу, покрытую коростой и полузлокачественными родинками.

Старик лежал и улыбался, но она подозревала, что улыбка предназначена не настоящему.

— У вас хотя бы остались воспоминания, — посмела она надеяться.

Он открыл глаза.

— Я вспомнил те дни, когда мог наслаждаться, писая без труда. И стул был как часы. Ты вдруг понимаешь, что это две самые важные вещи.

Ну уж нет, она не должна позволить ему утянуть ее вниз, на свой уровень отрицания и убожества, она нуждалась в нем больше, чем в любом из тех, кто ускользал от ее.

— Беда в том, — продолжил он, — что понимаешь ты это слишком поздно, чтобы оценить преимущества.

Нет, она еще поборется.

— Но должно же у вас быть хоть *что-то*. Все — или почти все — в конце концов находят

кого-нибудь или что-нибудь — другого человека, или кошку, или растение. Так ведь? Или какую-то великую идею. Чтобы верить в нее. — Она была в полном отчаянии.

— Могу честно признаться, я никогда ни во что не верил, ничего ни от кого не ждал. Никогда не любил, даже самого себя — чего не скажешь о большинстве людей. — Он засмеялся, показывая десна, молочно-лиловые десна. — Я всегда считал себя дерьмом. Я — *ничто*. Я верю в ничто. И вера в ничто не есть благородная вера. Никто не может уязвить *ничто*. Так что нет и повода бояться.

— Я боюсь, — призналась она.

Но она так же сильно расстроилась из-за старика, который оказался у нее на руках. Ей хотелось напомнить ему о чем-нибудь чудесном и удивительном. Она силилась вспомнить о чем-то таком из своего мизерного опыта. Мысли ее метались и путались, и все, что она смогла наскрести в памяти — куриное яйцо с двумя желтками, которое ей показали в раннем детстве: яйцо разбили в медную миску — близнецы-совершенства, золото на золоте. Но как это передать? Чертова неумеха.

Фелисити беспомощно лепетала слова — бесцветные пузыри слов под конец начали обретать сущность.

— Я могла бы остаться с вами и помочь вам, если позволите. И тогда, наверное, я смогла бы показать вам…

— Что?

Не любовь — это, как уже не раз доказано, слишком смелое слово.

— Ох, я не знаю. — Она заплакала. Она рыдала по-настоящему, слезы капали на струпья, на раковые родинки, на усохшие старческие соски, и этот старик — она чувствовала — ускользал от нее. — Этот свет, например. — Она почти физически вцепилась в него. — Смотрите! Видите, как он меняется?

И правда, до сих пор бесцветные или — в лучшем случае — пыльного цвета стены озарились: притоки гнили порозовели, голые материки были осыпаны золотом.

Но старик не открывал глаза, она не могла показать ему это.

— Свет не уничтожит крыс, — внезапно произнес он. — Разве только на время.

— Крыс?

— Ночью вылезают крысы. Сидят и пялятся на тебя из темноты. И прикончат со временем.

— Нет, если я останусь. — Она сжала его руку, словно обладала всем знанием мира. — Я хотя бы

смогу отгонять крыс, и вам не придется ждать от меня больше, чем от кого бы то ни было.

— Да, — сказал он.

Он облегченно чуть выдвинул чайный ящичек, в который были вставлены его зубы.

— Нет крыс, — выдохнул он. — И писать легко.

Он и правда начал мочиться, и пока она смотрела, как ручеек мочи струится по иссохшим бедрам, все ее существо заливала жалость.

— Это уже *что-то*, правда? — Она была так благодарна за их совместное освобождение от мифов, рабами которых они оба были, что не сразу поняла, что его рука в ее руке умерла.

Черты Фелисити посуровели, заострились, она отпустила руку старика. Потом вышла через сад на улицу. Казалось, никто из тех, кто был занят своим делом — отпирал дома, доставлял хлеб, гонял по тротуару на самокатах, — не считал ее присутствие подозрительным.

Между двух бетонных плит бесконечный муравьиный ручей струился и стекал сквозь песчаный пупок прямо в тело земли. Так что она пошла вверх по холму, чтобы сообщить о смерти старика, которого обнаружила несколько минут назад, но знала так близко, как саму себя — в отверженности, в одиночестве и в том, что ка-

залось головокружительным течением вечного становления.

Сытое брюхо

Через несколько месяцев после того как немцы заняли город, старшая госпожа Макриди стала заметно сдавать. Она редко разговаривала, и это само по себе сильно огорчало ее близких, но что еще хуже — все сказанное ею било не в бровь, а в глаз.

— Если бы только мы с тобой угомонились побыстрее, Проноя, — сказала она своей младшей сестре, — то осталось бы на два рта меньше, но время нас до того закалило, что, наверное, помирать придется долго.

Проноя была румянее, мягче сестры, обладала не столь аскетической натурой и, разумеется, не соглашалась.

— Ах, Маро, ты говоришь так, словно мы уже не люди, а скот!

Госпожа Макриди-старшая не возражала. Дамы с превосходным слухом любили посудачить об усилившейся глухоте Маро, тогда как семья воспринимала ее безмолвие как некую завесу, за которой она предпочитала скрываться.

— И не хочу я умирать! — не унималась Про-

ноя, которая всю жизнь негодовала на острые углы, предназначенные причинять ей боль и унижения.

Две старушки всё стояли у окна, залитые ясным светом — часто казалось, только этот свет и остался им от города, что они знали, — а Коста в это время сидел по другую сторону раздвижных дверей, грея руки между ног. Это был один из тех дней, когда кровь застывала в его огрубелых пальцах, и он оказывался не в состоянии превратить фортепиано из мебели в музыкальный инструмент. Разговор в соседней комнате показался бы ему зловещим, если бы не вера Косты, что тетки его вечны и незыблемы. Ведь не может же исчезнуть, скажем, Парфенон! Совершенно очевидно, что реальный мир должен пережить даже теперешние взрывоопасные времена, поскольку воля Косты не допустит иного.

Свет уже вовсю играл скользящими цветными бликами на лицах старых дам у окна. Повелось, что с самого детства Маро считалась интеллектуалкой. Проноя же слыла натурой художественно одаренной: была тут и наполненная светом ваза с фруктами (холст, масло), и «Кипарисы у стены» (целая кипарисовая серия), и метры вязанных крючком кружев, которые ей так и

не удалось раздарить. А Маро между тем была скорее генератором идей. Прежде она делилась своими идеями, делилась со всей страстью и в основном с мужчинами. Она признавала мужчин лишь как носителей интеллекта, восхищалась мужчинами-учеными, мужчинами-поэтами, священниками. И никак иначе. В период между войнами ее огромной любовью стал Гете. Она говорила по-английски, по-итальянски по-французски знала сумасбродный русский, и с величайшей педантичной точностью владела — хотя нынче совесть велела ей помалкивать об этом — немецким.

После замужества Элени две оставшиеся сестры отправились вместе с матерью в Европу, приличные люди всегда рассчитывают на Европу в поисках достойного занятия. На водных курортах они подлечивали мамину печень, мамину астму и мамину подагру. Маро находила отраду в тамошних музеях, слушала лекции в университетах. А Проноя тем временем вращалась в узких греческих кругах Парижа и Вены. Она примеряла шляпки и делала эскизы памятников попроще. Мать скончалась в Риме, после чего сестры перевезли ее в Грецию, чтобы похоронить по христианскому обряду. А еще они внезапно

осознали, что деньги на исходе.

Сквозь щель в раздвижных дверях Коста наблюдал, как угасающий свет присыпает комковатые щеки тетушек сиреневым пеплом. Ему казалось, что свет обращает мрамор в пемзу, а плоть — в серую ноздреватую керамику. Это был особенный свет, подвергавший сомнению и собственный дар Косты: ему не хватало сил уверовать в музыку, окоченевшую в его пятнистых пальцах-сосисках.

Так что он обрадовался суровому поцелую, которым наградила его Анна, проходя через столовую. (Знакомые считали Анну ледышкой только потому, что она была слишком занята, чересчур много забот лежало на ее плечах.) Этим вечером на ней был ее самый бурый костюм из грубого сукна — значит, большую часть дня она провела, добывая пропитание. В целом Косте нравилось быть младшим братом практичной Анны. Он встал и пошел следом за ее крепкими лодыжками, в которых явно угадывалось сходство с его руками. Ему до смерти не терпелось узнать, что у нее в пакете.

Анна относилась к теткам с такой нежностью, какую редко проявляла к другим — даже, пожалуй, к Ставро.

— Ты приняла таблетки? — Лицо ее преоб-

разилось, она понизила голос, потворствуя впечатлительной душеньке тети Пронои.

— Марулла, ты не замерзла? — Тронула она руку второй старухи, будто рука эта была сделана из хрупчайшего материала.

Тетя Маро ответила:

— Нет, но если бы и так, с этим ничего уже не поделаешь.

Это и был тот самый реализм, который с недавних пор так огорчал окружающих.

У тети Пронои вырвался краткий, но довольно пронзительный всхлип — до того ей не терпелось увидеть, что же раздобыла Анна.

— Что там у тебя? — спросила она с придыханием, не сводя слезящихся глаз со свертка.

— Что принесла? — Вошла Параскева, шаркая подметками — шурх-шорх — по золотисто-медовому паркету.

Служанка и ее хозяйки хоть и происходили из разных сословий, но срослись накрепко с незапамятных времен и вместе встретили ворчливую пору старости.

— Да все то же самое. — Анна виновато протянула ей охапку вырванного с корнем молочая.

— Опять сорняки? Только и едим, что эти одуванчики. У меня от них ветры, — проворчала

служанка, еще сильнее сморщив морщинистый рот, и удалилась — шорх-шурх — по давно не натиравшемуся паркету.

Тетя Проноя, глотая слезы, посоветовала ей возблагодарить Бога.

— Фу! За то, что Он кормит других? — Параскева нынче вечером была явно не в духе.

Тетя Маро припомнила:

— Он послал нам ягненка из Витины. И не его вина, что какая-то свинья в человеческом обличье украла его из мешка.

Сущая правда. И подложила вместо него дохлую собаку.

Тетя Маро рассмеялась. Происшествие до сих пор забавляло ее, поскольку служило отличной иллюстрацией, чего можно ожидать. Но почти сразу же ее лицо посуровело, глаза блеснули: она вспомнила, что любит Господа.

В комнате пахло стылой сырой землей — от корневищ одуванчиков, которые Параскева унесла, чтобы вымыть и отварить. Коста воспользовался ожиданием ужина как поводом отложить работу над сонатой Гайдна. Он пообещал себе, что съеденный им вскорости комок вареного молочая — без масла, без соли, без ничего — придаст ему силы одолеть физические преграды и возне-

сет на вершины постижения.

А между тем он знал, что Параскева права: в желудке одуванчики превращались в ветер, подобный однообразным пассажам в высоком регистре, неумолчно щебечущим у него из-под пальцев.

— Но мы хотя бы поедим! — Тетя Проноя предвкушала трапезу с каким-то лихорадочным весельем.

— Я не буду. — Решение тетушки Маро упало между ними, точно каменная глыба. — Только не теперь, когда каждый кусок на счету. Вспомни о детях. Кто я такая, чтобы отбирать у них пищу?

Наверное, каждого из них слегка лихорадило. У Косты все время потела голова. Старая Параскева бормотала и заговаривалась, прожигая глазами дыру в каждом, на кого глянет. Тем самым вечером тетя Маро и слегла.

И с тех пор все последующие дни напролет она не переставала воскрешать в воображении этих маловразумительных, чересчур идеализированных детей. Огонь, который она с большим трудом по-прежнему поддерживала в лампадке под иконами, несмотря на лишения и голод, и то был более существенным, чем «дети» тетушки Маро.

Поначалу захворавшая тетя стала для Косты

прекрасным поводом, чтобы не заниматься. В такой-то тесной квартирке.

Но она стала просить его, лежа в кровати:

— Поиграй для меня, Костаки. Музыка гораздо сытнее любой еды.

И он играл для нее, и временами музыка возносилась на вершины, которые он так мечтал достичь.

После того как они научились смиряться с оккупацией и первые ножевые удары голода переродились в постоянную тянущую боль пустоты, Коста решил использовать, одухотворить свое физическое страдание. (И даже сделал себе памятку по-французски, аккуратнейшим почерком на внутренней стороне обложки «Хорошо темперированного клавира»[7].) В определенном смысле это удалось, как ему нравилось думать. Например, отрешенная голодная меланхолия, проистекающая из его физического состояния, помогала ему с Шопеном. А благодаря приливам и отливам изменившейся крови и его собствен-

[7] Примечания: 7

«Хорошо темперированный клавир» — сборник из 48 прелюдий и фуг для фортепиано (1722–1744) И. С. Баха.

ной *погруженности Cathédrale engloutie*[8] в исполнении Косты восставал с сияющей убедительностью, прежде недосягаемой. Он начал постигать баховскую архитектонику и баховский аскетизм, хотя ему еще не давалось Баховское прозрение. Проноя предположила, что это зависит от «зрелости души». У Косты больше не осталось сил, чтобы раздражаться из-за тетушкиных сентенций. Наоборот, он развлекался, воображая как его «душа» округляется, словно зависший в воздухе футбольный мяч, и парит в пространстве вблизи Парфенона.

Коста Иордану был серьезный, коротко стриженный мальчик с большими мускулистыми руками. Весьма неожиданными для тех, кто мог бы наизусть пересказать его родословную.

Вспомнить хотя бы его мать — Элени — ослепительную, с какой стороны ни взгляни: ее туалеты от Уорта, длинные надкрылья ее рук, ее суждения, ее щедрость, ее злость, ее непокорные волосы, ее шея, ее глаза. Ее глаза. Ничего такого уж сверхъестественного не было в том, что Иордану — холодный, честный человек, взял ее без всякого приданого. Несомненно, что именно

[8] Примечания: 8

«Затонувший собор» (*фр.*) — пьеса из цикла фортепианных прелюдий Клода Дебюсси.

Элени подвигла его стать президентом. Лейкемия трагически сократила его полномочия, и еще большая трагедия, что Элени суждено было разбиться за рулем собственного автомобиля на том злосчастном вираже у Какья-Скала.

Для Косты мать и отец всегда были лишь фотографиями и мифами — не более того. Тетки же стали для него осязаемым воплощением родительства. Совершенно естественно, что эти добрые души забрали к себе Элениных Анну и Костаки. (Сиротство всегда печально.) Анна была смуглая девочка-бука, а Коста — забавный малыш, который начал подбирать короткие мотивчики на фортепиано Пронои, едва научившись самостоятельно ковылять.

До сих пор, лежа в кровати под иконой Панагии, Маро напоминала ему о любимом.

— Сыграй мне, Костаки, *La Cathédrale*.

Голос тети, отражаясь от зеленоватой каменной кладки, медленно возносился над его трепещущим животом, над радужными водами, мерцавшими в воскресшем свете окон-розеток.

Перво-наперво между тетками было решено, что дети должны унаследовать великолепие своих родителей. Анна выйдет замуж за посла, а приданое ей даст, как все надеялись, двоюродный

брат Стефо Мавромати. Но Анна — эта смуглянка Анна — уцепилась за молодого доктора из Витины — Ставро Влахоса. Многие месяцы спустя все подруги и знакомые тетушек говорили с ними так участливо, словно старались помочь бедняжкам пережить безвременную утрату или тяжелую операцию.

На счастье тетушек, Костаки родился вундеркиндом, что оказалось очень кстати, учитывая обстоятельства. Сама Нина Закинфину, говорят, завидовала своему ученику. И Антонидис из школы музыки «Одеон» в конце концов сообщил госпожам Макриди, что Коста должен учиться у того, кто сможет дать ему больше. Черты лица Маро заострились еще сильнее прежнего. Пока с помощью двоюродного брата Стефо не было решено, что Коста поедет на рю Кортамбер — в Париж.

И тут случилось невероятное — дом Европы рухнул.

Коста приучился не вспоминать подробности своего несбывшегося будущего. Хотя и хранил билет на поезд на самом дне ящика с носовыми платками. И музыка осталась при нем — ничто в ней не могло ни обесцениться, ни разрушиться. Течение ее продолжилось, возможно, не так рав-

номерно, как прежде, то временами сокращаясь до раздраженного захлебывания, а то булькая, словно водоворот, исчезающий в сливном отверстии.

Когда порой чересчур задушевная семейственная атмосфера этой квартиры — с ее приторной любовью и удушающей заботой — иссушали музыку дотла, Коста освежался тем, что призывал фантазию о собственном уголке: студия, достаточно просторная, чтобы вместить фортепиано и диван, на подушках которого он время от времени раздевал какую-то девушку, образ коей еще не совсем обрел отчетливость в его сознании, не говоря уже о том, чтобы обладать мраморными столбами ее бедер, ее горгульими грудями, медленно всплывающими из маслянистых вод и роскошных огней его воображения. Или обсуждал со своим другом Лукасом теоретические выкладки о любви, теребя половинки раздобытой сигареты. Пахнущими табаком пальцами. Лукас говорил, есть такая поза при соитии, когда два тела совместно составляют что-то вроде лодки под парусом. О как!

Лукас, у которого в левом паху было родимое пятно, напоминавшее карту Крита, исчез однажды ноябрьским вечером, как теперь нередко

случалось с людьми. И карта Крита не помогла. Никто его так и не опознал. А Коста, на удивление скоро, о друге и думать забыл. И это нынче тоже обычное явление. Скорбь стала пережитком времен визитных карточек в передней и незамужних дам при деньгах.

Или он и впрямь был эгоцентриком, как в минуты особенно жестокого голода клеймила его тетушка Проноя? По крайней мере, он бестрепетно осознавал собственные изъяны — и моральные, и физические, когда ловил свое отражение в стекле: вот это пятно на подбородке его слишком избалованного щенячьего лица, глаза, вокруг которых мучительные ночи отпечатали круги, похожие на липкую коричневую фланель. Вот до какой степени он был реалистом. Или же это просто самолюбование? Ему мучительно хотелось быть таким же старым, таким же хитрым и таким же неприкосновенным, как Гете на исходе своего сладострастия, когда пороки принимались за опыт, а банальности ценились на вес золота.

— Какое благо, — воскликнула тетя Маро, обретя контроль над механизмами своего тела, — осознавать, что музыка может быть и французской. Спасибо, милый Костаки. За твой «Собор».

И тетя Проноя, это старенькое дитя, заклекотала: *«Ravissant, ravissant!*[9]» — и принялась теребить подушки Маруллы.

В ранней юности Проноя очень недолго была помолвлена с каким-то офицером. Никто не знал, почему помолвка расстроилась. А с Маро в Мюнхене случилось некое таинственное происшествие, которое никогда не обсуждалось вслух. После чего обе девушки посвятили себя Афине и Панагии. Наверное их собственные имена[10] предопределили такой исход. На самом деле, ни одна не признала бы, что исполняет свой долг. И обе отрицали бы преданность друг другу.

— Оставь меня, Проноя! — заскрипел голос Маро, она уперлась затылком в край подушки. — Ты сущая суматошница!

— Да я же о твоем удобстве пекусь!

Удобство было безнравственностью, которой Маро не собиралась потакать.

— Нет, нет и нет, Проноя! Прочь, Проноя! — голос Маро воззвал, рыдающим эхом прокатился

---

[9] Примечания: 9

Прелестно, очаровательно! *(фр.)*

[10] Примечания: 10

Афина Проноя (*греч.* «предусмотрительность», «предвидение») — прозвище богини и основное понятие стоической философии; Мария — имя Богородицы, Панагия — «Всесвятая» — эпитет Богородицы.

по мраморным вершинам.

Сестра же по-прежнему стояла на равнине.

— И уйду, раз уж ты так меня ненавидишь, — пообещала Проноя. — Всю жизнь ты так и норовишь сделать мне побольнее.

Тогда Маро рассмеялась и сказала:

— Моя память не так хороша, как твоя.

Подслушав, как тетя Проноя сказала, проходя мимо: «Что мы будем делать, если ее не станет? Что тогда?» — Коста догадался, что вопрос адресован не ему. Заметив его, она немедленно сообщила:

— Когда я была молодой, то играла на фортепиано, чтобы доставить удовольствие другим. Но профессиональные музыканты становятся эгоцентричными, забывают о своих слушателях. От публики им только овации подавай.

Каждый очертил круг, в пределы которого Проное был заказан вход. Даже Параскева, ее служанка.

— Чего ты тут стоишь столбом? — сердилась Проноя. — Стоит и стоит! — Наверное, это от голода голос у нее стал таким тонким и визгливым. — О чем ты думаешь, — спросила она однажды у Параскевы, — стоя вот так?

— Я думаю, — ответила Параскева, ее неторопливость

ливые мысли были слишком чувственными для такого старого сухаря, как она. — Я думаю, каково оно было в те дни, когда мы ходили с сытым брюхом.

— Ох, наши брю… наши животы — это единственное, о чем ты можешь думать? О таком низменном предмете? И совершенно неважном?

— Еще каком важном, — возразила Параскева.

Ответ заставил госпожу броситься к безделушкам, смахнуть пыль с потишей, которыми служанка пренебрегала, с книг, в которых забытые авторы запечатлели комплименты знатным дамам, с икон, которые от заботы о них только ветшали.

Проноя всегда надевала перчатки, вытирая пыль. Однажды в уборочном раже она затушила огонь в лампаде под иконами, мерцавший в капле масла, которое Маро выменяла у армян за четыре серебряные ложки. Уж так она себя за это корила, так корила. Будто совершила святотатство, никак не меньше.

Но Маро открыла глаза и молвила:

— Да ну, Проноя, ведь ни один огонь не вечен. За исключением, пожалуй, того, что во мне.

Она теперь открывала глаза, только когда для этого был веский повод. Веки словно сдвигались

со скрипом, являя виде́ние старого, редкостного коричневого янтаря. Время могло тянуться сплошной, долгой, пустой, усыпляющей холодной струей, если бы не механика век Маро да выстрелы, которые порой доносились с улицы после комендантского часа.

Этой зимой дом, в котором они жили всю жизнь, поразил Косту Иордану живостью, которую способны разжечь только болезнь или голод. Свернуть за угол означало заново взглянуть в это охряное землистое лицо, испещренное пятнами нищеты, изрытое оспинами истории, под тиарой из терракотовой черепицы. Серовато-бурые ставни на ржавых петлях можно было с трудом распахнуть навстречу солнцу или со скрежетом захлопнуть перед носом врага. Всякие притязания на величие этого дома каким-то образом ослаблялись тем, что, хотя его делили члены все той же семьи, теперь их жизнь протекала в изменившихся обстоятельствах. С тех пор как доктор Ставро Влахос с женой заняли первый этаж, он превратился в суматошный проходной двор, да и снаружи у дома постоянно слонялись пациенты. На ступеньках под докторской табличкой вечно просиживали в ожидании своей очереди покрытые струпьями старики. Но зато сам собой отпал

вопрос постоя для немцев, и когда возникала необходимость захлопнуть и запереть ставни, среди тех, кто вслушивался в звук приближающихся шагов, не возникало недомолвок.

Во всем остальном их совместная жизнь не так уж сильно изменилась. Хотя Анна бывала довольно властной. Домочадцы слышали, как она ходит внизу, а потом Анна появлялась наверху и верховодила всеми. Их квартира служила для Анны кукольным домиком, в котором она заправляла, командуя семейством. Ставро был человек занятой, он, если придется, умрет за своих пациентов, как говорила Проноя. (Хотя они не умели разговаривать друг с другом и за все время обменялись всего несколькими словами, Коста любил Аннииного мужа.)

В сводчатых комнатах было темновато из-за тюлевых занавесок цвета бечевки и нагромождения мебели, доставшейся теткам в наследство. Некоторые предметы обстановки до того обветшали, что сестры безмолвно остерегали гостей, пытавшихся ими воспользоваться. Были здесь надписанные фотографии господ в накрахмаленных воротничках и дам в декольте — и носы у всех безукоризненно аристократические без малейшего намека на тщеславие. Наособицу

стояла фотокарточка президента Иордану в серебряной рамке, придававшей его фигуре холодную явственность. Коста избегал смотреть на эту фотографию, словно его отец во плоти присутствовал в комнате. Юношу потрясала мысль, что когда-то он сам был лишь каплей семени в президентских штанах. Он предпочитал растрескавшиеся портреты более отдаленных родственников — адмиралов и благородных разбойников, сражавшихся с турками. В беседах его тетушек вечно высверкивали такие слова, как «независимость» и «освобождение». Тетушки сделали эти слова исключительно собственным достоянием и только теперь, обменяв на еду остальные свои драгоценности, стали расходовать их более осмотрительно.

Над изголовьем Маро висела страшноватая иконка Панагии. Маленьким Коста частенько взбирался на кровать, чтобы потереться носом о бурый византийский клюв Девы Марии. Однажды, когда никто не видел, он сковырнул и попробовал на зуб кусочек золотого нимба — вкус нимба разочаровал Косту, да еще он раскашлялся. Когда у него появились прыщи, Дева стала строже глядеть на Косту, а он тоже заметил оспины от прыщиков на деревянных щеках Божьей Матери.

Наконец, между ними установились ровные, официально-иронические взаимоотношения. (После посещения музеев Коста заподозрил, что тетина икона — далеко не шедевр.)

Пока в одну из ночей нынешней зимы, забрызганной пулями, пахнущей промозглыми вареными сорняками и кровью, любовь или голод не переполнили глаза Панагии, и он потянулся к ней, словно капля воды к другой капле, и одно кристальное сияние озарило обоих.

Тетя Маро открыла глаза и спросила:

— Что ты там разглядываешь, Костаки?

Он замер, дрожа от стыда за свои неуправляемые, мокрые, зловонные подмышки.

— Тебя! — соврал он, улыбнувшись, равно устыдившись и своего малодушия, и тех переживаний, в которых никак невозможно было признаться.

Маро скорчила чуть ли не кокетливую гримасу, так не вязавшуюся с ее обрезавшимися чертами и седыми прядями. Он бросился к ней и стал разминать теткины руки: кисти Маро напоминали культи из глины или дерева, скрепленные кожаными ремешками. И заглянул ей в глаза — в знакомую с детства туманность коричневого янтаря. Возможно, он никогда не мог найти общий

язык с теткой, но он боготворил ее нетленность и почти такое же сияние, как у Панагии.

Утром пришел доктор.

Как правило, по утрам доктор Влахос, коренастый уроженец деревни, приютившейся среди сосен и скал, навещал госпожу Макриди. Его тяжелые шаги на ступеньках Коста воспринимал как нечто само собой разумеющееся.

Маро ни за что бы не призналась племянницыному мужу, что в ее глазах он был самым уважаемым человеком, как, впрочем, не призналась бы, что так и не простила ему женитьбу на Анне, разрушившую великий замысел.

Играя утреннюю порцию гамм, Коста слышал голос Ставро. А стоило ему чуть повернуться на крутящемся стульчике, и в поле зрения попадала спина свояка, его крупная голова и крепкая, непреклонная выя.

— Все упирается в силу воли, — объяснял Ставро. — С вами все в порядке, Марулла, вот только — куда подевалась ваша воля?

Коста знал, что голова Маро будет подпрыгивать на подушке в такт ее словам.

— Я знаю все о воле. В частности, о моей собственной. Когда ее надо употреблять. И в какой мере. И если я решила обойтись без нее, то это

мое личное дело. — Речь Маро стала бессвязной, она пробормотала: — Моя жертва. Ради детей.

Анна всегда пыталась чем-то побаловать тетку, поскольку некоторые пациенты Ставро были в состоянии его отблагодарить: то парой яиц, то маслом в пузырьке из-под микстуры, однажды кто-то расплатился козьей котлетой, аромат которой взбудоражил весь дом.

Этим утром Анна принесла суповую тарелку водянистого риса. По большей части это была рисовая пыль со дна мешка, более клейкая и вязкая, чем обычно. Госпожа Василопуло раздобыла этот рис — бог знает как — и из мстительного милосердия предложила малышке Анне горсточку для ее старой скрипучей снобки-тети.

— Всего ложечку, Марулла, — просила Анна дуя на рис. А потом прибавила с несвойственным ей задором: — Он до того пресный, что твоя совесть может быть совершенно спокойна.

Ну, они хотя бы посмеялись вместе.

Но Коста понял, что сестра потерпела неудачу. Он услышал звон ложки о фарфор, а потом громкий вздох Анны.

Вскоре Влахосы спустились к себе, чтобы влачить дальше все стадии утренней докуки. Из операционной всплывали голоса пациентов. Ко-

ста сразу распознавал чересчур веселые, сквозь дрожь, интонации тех, кто не мог заплатить.

Он заставлял себя уверовать в музыку. Кровь музыки текла по жилам его рук, выплескивающих на клавиатуру вступительные пассажи. Если он только сможет жить ради музыки, то музыка даст ему жизнь взамен — дух, как убедительно доказал старина Бах. Каким утешением было сознавать: мысль, а не демон, ведет к Богу.

И тут внезапно ему пришлось сорваться и броситься опрометью, продираясь извилистыми и темными тропами тесной квартиры. В уборную. Он едва успел снять штаны. Это все сорняки, их дежурное блюдо. Дух в конце концов весь вышел с потоком зеленой слизи.

Или не в конце концов.

В конце концов он сидел и ублажал свое едва восставшее естество, даже ничего не воображая. (Вот тебе и здравый смысл, и Бах, и Маро, и Проноя — да Панагия в червоточинах.) А потом поник головой над своей убогой липкостью.

И вспомнил день, вскоре после того как враги заняли город, когда Проноя запорхала из комнаты в комнату, словно мерзкая престарелая балерина, вдохновленная не то ожиданием, не то страхом. Его собственное разрывающееся сердце. Хорошо,

что он всего лишь юный племянник.

Параскева прибежала наверх. Его очень удивило, что кто-то настолько жилистый и крепкий, как их служанка, способен так отчаянно дрожать.

— Немецкий офицер, — объявила она.

— В каком звании? — пролепетала Проноя.

Ну и что, что пальцы у нее выделывали перепуганные арпеджио, некоторые формальности должны соблюдаться.

Но Параскева сроду не разбиралась в офицерских чинах, да и вообще: немец он и есть немец. Внезапно став слишком старой, чтобы настаивать, Проноя брякнула:

— Значит, они пришли за нами.

Все трое замерли *in extremis*[11] в ожидании наставления, как будто святые не превратились в деревянные доски с тех пор, как Господь лишил их своей милости.

Маро поднялась с кресла. Все осознали, что именно на это они надеялись. Маро была их единственно возможным спасителем.

Все пошли вниз. Будучи простым гоплитом[12],

---

[11] Примечания: 11
На краю *(лат.)*

[12] Примечания: 12
Гоплит — древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин.

Коста вздохнул с облегчением.

Дул сильный ветер. Той зимой ветер дул на Ликавит, не переставая. Ставро вызвали к больному, Анны тоже не было — она копала молочай. Так что вся фаланга оказалась лицом к лицу с холодным синим и дождливым днем, распахнувшимся в дверном проеме.

Мертвенная тяжесть выгнала всех четверых на улицу. Проноя прижимала волосы к голове, но грива Маро развевалась по ветру. Она любому показалась бы хмурой, а тут еще черты ее лица — резкие, высеченные из выветренного камня.

Молодой лейтенант — все, кроме Маро, впоследствии признавали, что не было в том лейтенанте ничего предосудительного — стоял, неестественно вытянувшись, у крыльца их дома по улице Патриарха Исайи и протягивал аккуратный продолговатый сверток.

— Госпожа Макриди, — начал он слагать на робком греческом, — прошу вас принять с поклонами от профессора Шлосзауэра, чьим я был студентом — в Мюнхене, этот маленький пакетик настоящего кофе.

Тишина вспухла над улицей Патриарха Исайи.

Затем госпожа Макриди на своем, окостеневшем от долгого молчания, но все равно потряса-

ющe чистом немецком сказала:

— Профессор Шлосзауэр не предвидел, что вынудит меня совершить предательство, приняв от него пакетик кофе. Уверена, что профессор не хотел бы этого.

Волосы развевались ошметками белого облака над ее мраморным лицом.

Параскева безостановочно ворчала под нос что-то неразборчивое.

Маро облизала свои пересохшие человеческие губы на мраморном лице.

— Скажите ему, — начала она. — Скажите. — Она почти пропела это слово. Но во взлетевшем голосе крылся изъян. Голос сорвался на самой высокой ноте. И разбился вдребезги.

Немецкий лейтенант щелкнул каблуками. Салютовал. Развернулся кругом. С пакетиком кофе в руках. Наголову разбитый фалангой.

Победившие греки триумфально прошествовали наверх. Они ничего не праздновали в тот вечер. Проноя то и дело начинала хныкать, потом смолкала. Она никак не могла согреться с тех пор, как топить стало нечем. Старая Параскева вслух подсчитывала, сколько маленьких порций кофе могла бы она выжать из того пакетика. А там, где мог бы витать кофейный аромат, висел тяжкий

дух вареной крапивы.

А тем постыдным утром, когда Коста Иордану сидел в уборной, вытирая бедра носовым платком, даже сорняками не пахло. Стоял запах холода. И экскрементов. В квартире никого не было — Параскева и Проноя ушли кто куда — на промысел. Однажды кого-то могут и убить. Оставалось надеяться, что все они выживут на сорняках.

Коста вошел в комнату Маро. Приподняв ее повыше на подушках, он обнял свою похолоделую тетю. Тарелка остывшего риса источала запах дряхлой человеческой плоти. Тетины веки напомнили ему кожистые надглазия кур, которых селяне подвешивали за ноги, но ее губы — старые, синеватые, студенистые и покорные — остались человеческими. Он больше был не в силах смотреть. Он вышел и бросился куда глаза глядят. Хлопнув входной дверью. Омерзительный гений, чьи пороки разъедали ему горло и прилипали к бедрам.

Но все же крохотные чистые ноты правды по капле просачивались в его сознание сквозь глаза: небо, по-прежнему благосклонное к чешуйчатым крышам домов под ним, герань, по-прежнему пламенеющая в горшке, ослик, роняющий скуд-

ные, но по-прежнему благоуханные шарики навоза.

Он шел по улице Калерги, на ходу застегивая куртку. Свернул на Тессалогенос. Там споткнулся о камень, сильно подвернув лодыжку, и чуть не упал. Обернулся, чтобы обругать камень. На улице Мелеагру госпожа Василопуло выглянула из окна на первом этаже своего дома. Она надела шляпу, но тут же сняла ее и поманила Костаки.

— Кое-кто обещал меня подвезти, — сообщила госпожа Василопуло, — к моей сестрице в Порто Рафти. Я туда езжу каждую неделю, если оказия есть. Это от моей сестрицы — из Порто Рафти — оттуда яички.

Госпожа Василопуло издала горлом хлюпающий звук, кивком указывая на вазу с яйцами. Яйца нынче обрели статус цветов. Их гладкость, их податливая форма будоражила. Сестрицыны куры несли коричневые яйца. К пористым скорлупкам прилип пушок. Они были воплощением яичного совершенства — вовсе не для еды.

Наверное, именно поэтому как-то сразу «яички» госпожи Василопуло вызвали ненависть. У нее была жирная кожа, особенно вокруг глаз. А еще у нее имелся довольно заметный зоб. Она пахла плотью, и плоть эта выглядела как побитые

темные груши.

Во время разговора ее черные веки все время трепетали.

— Моя сестрица из Порто Рафти…

Она вспыхивала под слоем пудры и улыбалась:

— Оттуда яички.

Потом улыбка сползла с лица госпожи Василопуло. Уголки рта поникли, глаза вылезли из орбит, а лицо потемнело, скукожилось в тугой клубок из морщин. Можно было подумать, что госпожа Василопуло страдает резями в животе.

— Костаки, — запридыхала она короткими и резкими мятными порывами. — Каждый день, когда ты проходишь мимо, я спрашиваю себя, что я такого сделала ему, что он никогда на меня даже не взглянет? Конечно же, — сказала она, — я знаю, — сказала она, — все молодые люди переживают период черствости. И слишком поздно понимают… — Из глаз госпожи Василопуло брызнули слезы. — …что потеряли.

Тут она схватила его руку и засунула ее в самое гнездилище своих гниющих груш. Косту прошиб пот, он ощутил небывалый, безжизненный холод между враз подкосившихся ног.

Госпожа Василопуло опять заулыбалась. Улыбка эта ужасала сильнее, чем прежняя гримаса

резей в животе.

Она придвинулась к нему, и запах плоти, затаившейся в засаде под пудрой, ударил ему в ноздри.

— Просто не верится, — выдохнула она, — что ты настолько жестокий мальчик. Ты ведь сущий ангел. Глубоко внутри.

Тут ему наконец удалось вырвать свою оцепенелую руку из жаркого средоточия ее груш.

— Вы… и ваши старые яйца!

Под наплывом эмоций, бушевавших в нем и вокруг, ему почудилось, что яйца в вазе начали набухать, множиться, а он сам и госпожа Василопуло стали заполнять собой тесную, пульсирующую комнатушку.

— Мои яйца? — взвизгнула она. — Да чтобы ты знал, они самые крупные на свете! И свежайшие! — Груди у нее ходили ходуном в перерывах между визгами. — Но что мне они? — И, чтобы проиллюстрировать, она принялась хватать яйца и швырять. — Вот! — орала она, — Вот как я люблю яйца! — швыряла она. — И тебя! — Она швыряла и швыряла. — И твоих спесивых полоумных теток! — Яйца летели и летели. — Мерзкий, *распутный* мальчишка! Те еще повадки! Дурная кровь!

Он выскочил наружу. На его счастье госпожа Василопуло довела себя до такого исступления, что могла только колотиться о стены своей гостиной.

Он пошел под гору. По сужающимся, совершенно безлюдным улочкам, которые покачивались под ногами, будто сходни над бурным морем. Самые ясные утра в этом городе были теперь, пожалуй, самыми горькими — в своей хрупкости, уязвимости перед неотвратимой угрозой.

В канаве на улице Боболинас лежала старушка. Шляпка, которая, несомненно, была на ней надета прежде, теперь исчезла с аккуратно уложенного валика на голове. Ноги ее были в одних чулках — туфли тоже пропали бесследно. Слишком прямые, широко раскинутые ноги придавали ей сходство скорее со скелетом, чем с трупом, однако приличное черное шелковое платье в белый горошек, да и все в ее облике, кроме лица, напоминало о его собственных, еще живых тетях.

Смерть не разлучила ее с сумочкой. Коста заглянул внутрь, потому что никто в нынешние времена, за исключением его теток, разумеется, не упустит возможности поживиться. Конечно, сумочка оказалась пустой.

Он брел по лабиринту пробелов меж глухими

железными ставнями. В арке у входа в безлюдную подворотню стоял немецкий капрал и протягивал на красной ладони какую-то консервную банку.

– *Guck mal*![13] — улещивал он. — *Fleisch*[14] карашо.

Нетронутая банка была так ослепительно безупречна, что могла содержать правдивые разгадки всех тайн на свете.

Коста был зачарован этой банкой.

Капрал понизил голос и заговорил напряженно и тихо, с надеждой и обольстительной интонацией:

— Я будут ибать тебя карашо, малыш. Пошли! *Nimm's doch*![15]

Рука капрала, явно укушенная однажды, дрожала, дрожал и его голос.

У Косты Иордану не было времени обдумать ответ, который вошел бы в историю, так что он просто сказал:

— Иди и засунь ее себе в очко!

---

[13] Примечания: 13
Гляди *(нем.)*

[14] Примечания: 14
Мясо *(нем.)*

[15] Примечания: 15
Бери это *(нем.)*

Реплика должна была прокатиться громом, отражаясь от облупленных стен, но на деле вышла писклявая, срывающаяся мальчишеская угроза.

Так что он бросился наутек. Бегом от собственного псевдогрома. Бегом через пустой рынок. Бегом, перебирая слишком короткими, когда-то мускулистыми, а теперь отечными, подгибающимися ногами.

Ветер и тишина ополчились против него.

Он рассекал ветер и тишину, пока улицы, иссякнув в переменчивых волнах Агоры, не разорвали в клочья остатки его сил. Он упал, задыхаясь и хрипя, среди земляных насыпей, рухнул прямо на пожухлые стебли каперсов. Здесь в прошлые годы они с Лукасом — его лучшим другом — рыскали летом, покатываясь со смеху над парочками, колыхавшимися среди переплетающихся каперсовых лоз и запаха пыли, все еще теплой от солнца, под желтой луной. Теперь каперсы только шуршали, когда ветер трепал их сухую шелуху. Парочки исчезли вместе с бархатными ночами. С истаивающими по капле дынными льдами. С набухшими, взрывающимися золотыми лунами. В этом году только худенькие девочки, трагически обремененные, толкали ветер животами.

Бездыханно приникнув к зимней траве, он вне-

запно осознал, что не может пошевелиться. Не от бессилия, не только. Ему привиделось блюдо с жареным козленком, которое он съел где-то на Халандри. Память сотворила из этого козленка музейный экспонат: бронзовая корочка, взрезанная не по какой-то мифической прихоти, а исключительно ради сочности, под ней полосы розовато-мраморной зернистой мякоти, кости, еще не достигшие окончательной скульптурности. Самая суть — изысканные маленькие почки.

Слезы покатились из-под его зажмуренных век на шепчущие каперсы. Мучительнейшие живые соки снова хлынули по его венам, мускулы окрепли, как зеленые лозы, член вступил в схватку с ширинкой.

Он сел. Конечно, в прошлом он заслуживал и яиц, и пары банок немецкого мяса. Бах только притоптывал рядом с нуждой набить рот съестным. И всегда превращаясь в итоге в одну и ту же слюнявую тварь, дух возвышался над ним и ухмылялся на всю Агору.

Коста встал на ноги, хватая горсти песка, какие-то осколки. С немецким капралом будет не так грязно, зато больнее, наверное. Да и все равно госпожа Василопуло со своими помятыми грушами и совершенными яйцами уже отправилась к

сестре, предварительно отмыв гостиную. Остался немец с мясистыми ручищами.

Коста (все звали его Костаки, но он видел себя печатной надписью «ИОРДАНУ» — заглавными буквами) в конце концов шел в том направлении, куда гнали его двусмысленные устремления, хотя неровная почва под ногами и затуманенное сознание все еще удерживали его от окончательного решения. Чуточку дольше. В обычные времена он пробирался бы по Агоре осторожно, прислушиваясь к любому сокровенному хрусту. Впрочем, теперь ему нужно было спешить. Он начал прихрамывать. Наверное, все-таки покалечил ногу. Петля из лозы поймала его за щиколотку. Он дернулся. Оступился. И, наконец, зацокал бегом по улице, что вела прямо к Монастираки.

Он мчался.

Заглатывая воздух.

Он мчался мимо железных ставен. Плоские физиономии шлюх и спекулянтов маячили в подворотнях. Казалось, они ничуть не удивлены. Может, считали его своим? Его запах был под стать этим сырым коробкам с облезающей штукатуркой, тряпью, которое и украсть-то негоже, дерьму. Пока он разыскивал капрала, который

должен был дожидаться его. Не верилось, что изваяние могло растаять. Или жестянка с немецким мясом.

Эта консервная банка сама по себе была слишком явственна. Рот у Косты обложило, но какие-то липкие бутоны выросли на языке. Ладони уже пульсировали от порезов, полученных, пока он терзал жестянку. Чтобы добраться до мраморного мяса за зубастым краем.

Все, что он пробегал теперь: дома, лавки, мимо которых ходил всю свою жизнь, и тот раздвоенный пыльный кипарис, памятник Диогену — все это зиждилось на разумном постулате практичной жизни, которая все еще была возможна, и кто-то даже продолжал ее вести. Вот он, например, просто руководствовался практическими соображениями. Он никогда не смог бы глотать сырые яйца. Пришлось бы нести их домой, варить, делиться с тетками, чья преданность сделала его таким уязвимым, со служанкой, чей мужицкий аппетит не унялся с возрастом. Так-то. Яйца. А мясо он мог сожрать, отвернувшись к стене, по пути, набить им полный рот и забыть о боли, которую пришлось вытерпеть, добывая его.

Мясо.

Как тоскливо и нелепо он почувствовал себя,

когда до него дошло, что именно он делает, обшаривая взглядом тупики и подворотни в поисках призрачного капрала. Если бы они только встретились, он бы жадно впился губами в мясистый рот. Может, даже слишком торопя и напирая. Но все — все немцы любят поговорить о Вагнере, и ни один грек не может обвинить музыку в измене.

Так что, как видите, дух способен выжить даже в выгребной яме, и православной вере стоит поумерить свое православие.

Пока он бежал, она пристроилась рядом и скакала вприпрыжку. Голубое одеяние она сменила на короткую белую юбочку в складку. Каждое ее движение было исполнено изящества и легкости. И здоровья. Точным ударом она послала победный мяч на половину поля противника. Его Панагия. Он заглянул в ее глаза с такой любовью, какую никогда в жизни не испытывал и, наверное, уже не испытает. Волосы ее струились прядями едва брезжущего солнечного света.

Он дал слабину, и млечные ямочки на коленках его Девы-Валькирии в конце концов истончились и растаяли в воздухе.

Он шел мимо крошечной церкви Благовещения у подножия горы — бурая, угловатая, нищая

церквушка, из тех, что особенно любила Проноя: «Убогие святые всегда ближе к Богу». Она приводила его сюда на ту последнюю мирную Пасху.

Теперь он толкнул покосившуюся дверь и сразу оказался в объятиях замкнутой пустоты.

Он облокотился, вернее, рухнул на стасидион, чтобы отдышаться, и древнее дерево поддержало его, распростертого подобно летящему орлу, византийские ребра его жестоко скрипели, а тем временем с иконостаса на него уставились профессиональные голодающие: псоглавый Христофор, троглодиты, похожие на радостных львов, евангелисты в плащах с крестами — вся роскошь святой нищеты.

Он помолился бы, если бы не забыл язык, весь, кроме нескольких выжженных фраз. В минуты праздности или радости ему нравилось думать, что бытие — и есть молитва, но это не помогало в моменты вины или отчаяния. Поэтому теперь он молитвенно сжал ладони. Вдыхая запах умершего ладана, он качал головой и шаркал косолапыми ступнями. Единственная анемичная свечка теплилась среди грязных катышков и болезненных сталактитов прошлогоднего воска.

Золотые литургии минувшего все еще висели, выгравированные в сером колеблющемся

воздухе настоящего. К которому и приникли с надеждой его алчущие уста.

Там, в самом центре, стояла его собственная деревянная Панагия, заключенная в ящик со всей строгостью, и все же ветер терзал ее православные волосы и божественный орлиный клюв. И ему почудилось, что его знакомая Дева струится сквозь раковины ушей в самое святилище его мозга.

Прими, ешь, — молвила она, — *сие есть тело мое, мое водянистое месиво из рисовой трухи с черного рынка, которое предназначено тебе.*

И в тот же миг явственно увидел он сквозь туман изнеможения облачко — но то был не дымок воскурений, а пар, поднимающийся от плошки с вареным рисом.

Тяжелые веки его Панагии подтвердили ее решение.

Коста Иордану оттолкнулся локтями от стасидиона. Встал на свои негнущиеся бутафорские ноги. Если он и не совсем восстановил силы, зато снова обрел цель, собственную волю, когда одолел последний подъем в гору, петлявший между шаткими кипарисами, вверх, вверх по улицам с охряными домами, к тому адресу, что прежде считался хорошим местом жительства.

К плошке причастного риса, который уже начал липнуть к его губам опаловой слизью.

Он то и дело пытался как-то возблагодарить свою суровую Деву, но на полпути полуумышленного-полумистического восхождения он вдруг вместо этого вспомнил Дебюсси. Тоже самовлюбленного коротышку-крепыша, которого в конце концов сожрал рак — Коста прочел об этом в книге.

По правую руку показалась стена, на которой среди чужих каракуль Коста давным-давно нацарапал: «Иордану». Надпись не стерлась до сих пор. Смерть — это для других, для Дебюсси и прочих. А для Иордану, плавными аккордами восходящего на тяжелых ногах, затонувшее будущее должно явиться на поверхность вместе с глотком склизкого риса.

Он ворвался в дом с грохотом. Не было слышно, что Анна или Ставро дома. Это прибавило ему радости, дерзости даже. Он загромыхал по темной лестнице.

Что она скажет, если откроет глаза? Но Она уже открыла Глаза Свои. И открылась ему.

Он никогда не думал, какое множество дверей нужно отворить, пока доберешься до самого сокровенного.

Ручка двери тети Маро поддалась без труда. Казалось, он слишком натужился, распахивая легчайшую из дверей. Высокая, худая старуха лежала в своей обычной теперь позе: вытянувшись в струнку, глаза закрыты, покрывало под самым подбородком. И над ней раздавалось шокирующее, душераздирающее — совершенно неправославное звяканье ложки о фарфор.

Это тетка Проноя жадно поглощала рис, вцепившись в тарелку дрожащей рукой.

Закатив глаза, с блаженным выражением на бледном мягком лице, она запихнула ложку в рот, как никогда не делала прежде. Запихнула еще раз. Он слышал стук металла о ее все еще отличные зубы. Но она все запихивала. Оскверняя комнату сестры звоном посуды. Проноя, видимо, никогда не понимала, что такое уважение к святости.

— Аxx, ты! — Впрочем, он услышал только тихое собственное шипение, язык у него стал похож на редиску.

Когда он бросился к тарелке.

И они стали бороться.

— Ты не понимаешь! — Она была оглушительна. — Меня мучил ужасный, ужасный голод!

Перед ним мелькало лицо его тетки — мордаш-

ка престарелой прожорливой девчонки. Сила ее обманчивых рук привела его в ярость. Тетка была холодна, как ящерица, но мертвая хватка и блестящая ловкость наводили на мысль о крупной птице, которая не выпустит добычу из когтей. Она дышала на него сладким ароматом жеваного риса. Высунув изо рта уродливый язык.

— Костаки! Нет! Нет! — визжала его тетя-неженка. — Неужели в тебе нет ни капли жалости… почтения?

Во время драки сосуды у нее в глазах страшно вспучились. Ну, хоть серьги не царапались — они давно уже у армян. Ложка упала и запрыгала по истертому ковру и, наконец, зазвенела в тишине, оказавшись на голом полу.

— Нет! Нет! Коста! Коста-ааа-ки!

Хлестнула она его именем.

— Да ты просто разбойник! — в запале это прозвучало будто сквозь смех.

И придало ему сил, если уж на то пошло. И почти убедило, что у него есть некая миссия.

Тарелка упала — Аннина тарелка! За отсутствием приданого тетки подарили ей прекрасный фарфоровый сервиз и еще кое-какие хозяйственные мелочи. Анна очень гордилась своей столовой посудой.

Тарелка разбилась у них под ногами, топтавшими остатки злосчастного риса.

— Коста, ты будешь страдать!

Нежной тетушке не хватило визга, чтобы обвинить кого-то кроме себя самой.

Подобно какому-то черно-белому насекомому, она прыжками бросилась наутек. Прочь из комнаты. Подавляя малейшую мысль о крике из-за служанки, без толку переставлявшей порожние горшки в пустой кухне.

Тетка сбежала, а Коста бухнулся на ковер, чтобы запихнуть в рот остатки риса. Всего несколько уцелевших рисинок. Иногда попадались комки пыли. Или грубые ворсинки ковра. Бедра у Косты распухли, что твой вареный рис. Рисинки прилипли к кончикам пальцев, к ладоням. Он слизывал эти рисинки. Всасывал их. Фарфоровые осколки резали губы. Вкусная слизь. Струйки крови. Даже кровь была пропитанием.

В какой-то момент (он не помнил, когда именно) тетя Маро вдруг открыла глаза.

— Ешьте, бедняжки, — сказала она. — Набивайте животы досыта, дети мои.

Он был слишком занят, чтобы посмотреть на нее. Но слышал каждое слово.

— Я молюсь лишь о том, чтобы вы сумели про-

стить друг друга.

Ближе к вечеру Параскева разнесла по всему дому благую весть:

— Госпожа Проноя! Костаки! Вы чуете этот запах? Анне дали голову барашка, две ножки и легкое! Господи боже! Панагия милосердная! Будем пировать!

Посреди ночи Коста Иордану, маясь пустотой, вернулся в комнату своего позора, надеясь, что оракул возвестит ему: случившееся никогда не случалось на самом деле. Он коснулся костлявых пальцев. Но веки ее не дрогнули. Он постоял еще чуть-чуть, благодарно вслушиваясь в ее призрачное дыхание. Без него была бы только гулкая тишина да мебель.

К счастью, в той продолговатой квартире имелись отдаленные друг от друга укромные углы, куда могли забиться те, кто нуждался в укрытии.

Похороны, однако, вытащили их из нор. И поставили лицом к лицу. После чего они вместе коротали одиночество — самую суть, как им казалось, их помертвелого от горя города.

Двадцать минут шестого

Почти каждый вечер, если позволяла погода, Натуики сидели на своей передней веранде и смотрели на улицу. К пяти поток уличного движения густел, а иногда и застопоривался. Были там полугрузовики, рефрижераторы, солидные седаны прежних времен, малолитражки, старые драндулеты и, само собой, «холдены». Она многих марок не знала, но Ройял, как мужчина, знал, хотя в технике тоже не особенно разбирался. Ей нравилось, когда он что-то ей объяснял или заговаривал с соседями, подходившими к их калитке. Он мог поддержать любой разговор, поскольку был человек образованный и много размышлял — у инвалида времени для размышлений хоть отбавляй.

Он сидел в инвалидном кресле, которое она завела, когда мужа разбил артрит, она — в своем старом, плетеном. Кресло это никуда уже не годилось: она порвала о него зимнюю кофту и несколько пар чулок, но расстаться с ним у нее не хватало духу. Они привезли его из Сарсапариллы, когда продали там свой бизнес, и теперь мог-

ли спокойно сидеть и наблюдать за большими стальными жуками, которые порой пугали ее.

— Ненормальными надо быть, чтоб поселиться на Парраматта-роуд, — сказал Ройял.

— Ты же хотел быть в гуще жизни, — напомнила она. — Видеть вокруг движение, даже если ноги откажут.

— Да ты посмотри, сколько их! С каждым годом все хуже. А воздух! Гноит легкие почище, чем сигареты. Надо было отговорить меня — это ж ты у нас практичной считаешься.

— Я думала, ты как раз этого и хотел, — ответила она мягко, не желая с ним спорить.

— Мне, к слову, ноги уже отказали.

Как будто и в этом она виновата. Это ее так задело, что кресло с противным скрежетом проехалось по шахматной плитке.

— Но мои-то при мне, и я вполне могу ходить за покупками.

Она старалась не огорчать его, но сейчас не сдержалась, потому что сама расстроилась.

Они смотрели на машины по вечерам, когда оранжевый свет сгущался в плотные слитки и загорались неоновые вывески.

— Видишь того, в двухцветном «холдене»?

— Который это?

— Прямо у калитки стоит.

— Коричневый с розовым? — Сегодня ей было не так интересно, но больным надо потакать.

— Угу. Чтобы мужчина ездил в розовой тачке!

— Пепельно-розовый — модный цвет, — сказала она со знанием дела.

— Не для мужчин.

— Может, это его жена выбирала. Может, у них в семье она главная.

— Ну, раз он из подкаблучников, так нечего и переживать за него, — засмеялся Ройял.

Она посмеялась с ним за компанию. Все говорят, что они живут душа в душу, и это правда. Что она будет делать, если Ройял уйдет первым?

На улице образовалась пробка. Водители сигналили, высовывались из окон, переговаривались, но человек в коричнево-розовом «холдене» просто сидел.

Если подумать, она уже видела его раньше. Да. Хотя он и неприметный.

— Двадцать минут шестого, — сказала она, посмотрев на часы. — Я его уже видела, он постоянно здесь ездит. Руководитель, наверно, какой-нибудь.

Ройял отхаркнулся и сплюнул. Хотел за край, а попал на веранду. Лучше не замечать, не вол-

новать его лишний раз. Она смоет это потом, из лейки, когда завезет его в дом.

— Руководители! Боятся, что все пропадут без их руководства. В наше время люди дело делали, а не руководили. И не стыдились в этом признаться.

Она не ответила, зная, что ответа не требуется.

— И голова у него какая-то сплющенная. Дурацкая голова.

— Может, он родился таким. Внешность не выбирают, как и религию.

Как-то вечером здесь разбился «шевроле», погиб молодой водитель. Бедная его жена, бедные детки. Она схватила пару одеял и коврик, подарок Хейзел, сгребла подушку с кровати. Ройял что-то кричал ей вслед.

Она бросила одеяла и подушку на мостовую, под оранжевым небом. Парень всё вертел головой, как будто хотел ей что-то сказать. Фотограф из «Миррор» заснял ее — сказал, что так будет трогательней. Пришел священник, фотограф и его снял. Миссис Долан сказала, что он совершил сворование, но над чужой религией, как и над формой чужой головы, смеяться нехорошо, и миссис Долан прекрасная соседка, большая чистюля. У них вся семья такая.

Вернувшись на веранду, она испугалась, что Ройял вот-вот вывалится из кресла.

— Ты что, Элла? — выдохнул он. — Как теперь кровь отмыть?»

О крови она не подумала, хотя, конечно, вся перепачкалась, и одеяла испачкала, и красивый онкапарингский[16] коврик Хейзел. Ну, не ему ведь отстирывать.

— Я узнаю, как. В молоке замочу или еще что-нибудь.

Сказав это, она наклонилась и поцеловала Ройяла в лоб на виду у всей Парраматта-роуд, о чем сразу же пожалела. Он выглядел таким беспомощным в своем инвалидном кресле, и лоб у него был холодный и влажный. Но сделанного назад не воротишь.

Счастье, что они все еще могут сидеть вот так на веранде. Ройялу становится всё хуже и хуже. У него застарелая грыжа, которую он боится оперировать из-за сердца, а тут еще артерит.

— Артрит, — поправляет он.

— Да, — повторяет она послушно. — Арт-рит.

Хорошо мужчинам, они все трудные слова с ходу запоминают.

---

[16] Примечания: 16

Онкапаринга — река и округ в Южной Австралии, близ г. Аделаида.

— Что у нас на ужин?

— Сюрприз, — улыбнулась она, потирая руки.

Часы показывали двадцать минут шестого.

— Вкусные филейчики, которые мне дал мистер Баллард.

— Что значит «дал»? За так, что ли?

— Ну что ты. За деньги, конечно.

— Выходит, мы можем позволить себе филе?

— Это только тебе, Ройял. У меня-то задний край, тоже вкусно.

Больше он не ворчал — уже легче.

— А вон и тот джентльмен в «холдене».

Он проехал мимо, привычный, как и всё остальное.

Ройял значит «королевский». Для своей мамы он и был маленьким королем. Друзья-приятели его звали Роем, только она и старая миссис Натуик держались полного имени — оно ему шло.

И что он в ней только нашел? Такой высокий, с блестящими черными волосами и носом, как у исторической личности. Она гордилась его носом, хотя никогда бы не сказала этого вслух. На фотографии, снятой в Кенте[17] у фамильного дома под тростниковой крышей, бабуля Натуик в

---

[17] Примечания: 17

Имеется в виду округ на о. Тасмания.

переднике, на вид одного возраста с мамой, сидит в плетеном кресле, а по бокам стоят тетушки с рукавами «баранья ножка» — статные и носатые, как Ройял.

Однажды она слышала, как ее собственная мама говорила матери Ройяла: «Элла хоть и не красавица, зато всегда веселая и послушная». Что ж, она и правда была серой мышкой, но разговор поддержать умела. «Моя Элла и печет, и стирает, и шьет», — говорила мама миссис Натуик. Но в женских конкурсах она никогда не участвовала, очень уж нервничала.

Не странно ли, что Ройял обратил на нее внимание?

Однажды вечером на веранде она спросила его:

— Помнишь, как ты ездил из Бугилбара в Кутрамандру?

— В Кутамандру, — поправил он.

Конечно. Поэтому их дом на Парраматта-роуд и называется «Кута».

Когда он слез с коня и снял шляпу, его лоб, белый с коричневым, и черная шевелюра так ее поразили, что она сбегала за тряпкой и вытерла его сапоги, покрытые белой пылью после долгой езды. Уже приступив к работе, она испугалась, что

может себя унизить в его глазах, но Ройял Натуик, похоже, не усмотрел ничего особенного в том, что Элла Макуэртер вытирает его сапоги — возможно, даже ожидал, что она это сделает. Она до того обрадовалась этому, что чуть не заплакала.

Старый мистер Натуик, приехав в молодости из Кента, днем работал, а ночью учился и со временем получил место бухгалтера в Бугилбарском поместье. У хозяев он всегда был на хорошем счету, хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и обучал его бухгалтерии, но Ройял не собирался работать на сквоттеров-толстосумов: у него были свои планы.

Когда он женился на Элле Макуэртер (никто, в том числе и она сама, не понимал почему, а Ройял объяснений не давал — да и с чего бы?), они переехали в Джаггераву и купили тамошний универмаг. Дела в нем шли плохо, а при Ройяле пошли еще хуже, потому что он мыслил гораздо шире, чем его покупатели.

Супруги перебрались в Фулбрук, где Ройял устроился бухгалтером на скотоводческую ферму. Она переживала за него, но не за себя — она-то никогда высоко не метила. Проработала несколько лет официанткой в кафе «Дикси» на Хай-стрит, да еще уборщицей подрабатывала. Раньше она

не знала, что такое ненависть, теперь возненавидела мух, садившихся на сахар и на бутылки с томатным соусом.

По выходным муж приезжал к ней, и они лежали в ее комнате наверху, слушая, как гремит кровельное железо и трещит рассыхающаяся вагонка. Он жаловался на ее «мокрые поцелуи», и она удивлялась этому, боясь, наоборот, показаться ему суховатой.

Годы в «Дикси» и впрямь высушили ее: кожа шелушилась, несмотря ни на какие лосьоны. Если уж родилась дурнушкой, то и стараться не стоит, зато ее накопления росли с каждым днем, и заглядывать в сберкнижку было ее любимым занятием.

А вот Ройял, наоборот, прибавлял в весе, и на работе его очень ценили. Когда молодым леди из поместья не хватало партнеров для тенниса, приглашали бухгалтера, даже на бал как-то раз пригласили. Он хорошо зарабатывал и тоже откладывал, хотя и не скупердяйничал, как она — любил хорошие сигары, к примеру, и хорошо одевался.

Иногда хозяева подвозили его в город. Молодые леди — когда выбирались в кино «Эмпориум», мистер Филип — когда ехал посидеть в баре.

Ройял всегда дожидался, когда они уедут, и лишь потом заходил: не хотел показывать им жену, которая, как они наверняка слышали, разносит жесткие, как подошва, стейки и слипшуюся жареную картошку.

Им еще долго пришлось бы работать, чтобы скопить приличную сумму, но тут умер старый мистер Натуик. Он, как оказалось, тоже был бережливым и оставил им неплохое наследство. Получив это известие, Ройял выпил с мистером Филипом в «Империале» и ушел, чтобы провести ночь с женой, а рано утром поехать на похороны отца.

Они лежали в ее душной комнатушке и говорили о будущем. Никогда еще она не испытывала такого радостного волнения. Ройял хотел открыть гастроном в одном из богатых сиднейских пригородов. «Заинтересовать их разными деликатесами, воззвать к их воображению, а не только к желудку».

Она соглашалась, конечно, но не так горячо, как следовало бы — ей, наверно, самой не хватало воображения. Ее лихорадило просто так, без всяких причин.

— И ребеночка заведем, — произнесла она неожиданно для себя.

— Чего?

— Мы могли бы завести ребенка, — прошелестела она.

— Даже двух, почему бы и нет, но сначала надо жизнь наладить как следует. — Он ткнул ее в бок. — А еще практичной считаешься!

Она согласилась, что сейчас это было бы глупо, и Ройял заснул. Ей хотелось погладить его нос, едва различимый при заоконном свете. Или поцеловать его, хотя это и непрактично. Или взять да и откусить.

Ей стало так стыдно, что она слезла с кровати, подошла к умывальнику и выпила пару таблеток аспирина, чтобы заснуть покрепче.

Всю их совместную жизнь она словно заглаживала вину и за свою непроходимую глупость, и за мысли, которые порой приходили ей в голову. Откуда они только брались у нее при явной нехватке воображения — не иначе как подсказывал кто.

В последние годы, когда Ройял нажил себе грыжу, артрит и больное сердце, ей стало легче. Ей, к счастью, хватало сил усаживать его в кресло, укладывать в постель, лечить ему пролежни, подкладывать судно. Но и в Сарсапарилле, когда он еще был здоров, она находила способы как-то

это загладить. Он, конечно, ни о чем не догадывался — она это делала больше для собственного успокоения.

Магазин в Сарсапарилле приносил им хоть и не бешеные, но вполне приличные деньги, однако местные жители упорно отказывались признавать Ройяла существом высшего порядка. Отчасти, возможно, и по ее вине: как-то, не смея сознаться в этом ему, она показала паре своих мнимых подруг фотографию дома в Кенте и рассказала про одну из тетушек, мисс Этель Натуик, приехавшую вместе с братом в Новый Южный Уэльс. Она получила место в резиденции губернатора, но ей там не понравилось, и она вернулась назад, хотя супруга губернатора не желала с ней расставаться. Она знала, что люди смеются над Ройялом, над его тетушкой и над домом — в Сарсапарилле все обо всем знают — и страдала из-за того, что стала причиной этих насмешек.

С Ройялом, конечно, бывало трудно. Он говорил, что у биржевых брокеров вкуса нет, а воображения и того меньше. Австралийцам ничего не требуется, кроме муки, кускового сахара да томатного соуса, говорил он, и многие покупатели за это на него злились. Тут она могла помочь, да и помогала, поскольку Ройял чаще развозил

продукты, чем стоял за прилавком. Смущало ее только, что покупатели думали, будто она держит их сторону, а не сторону мужа. Иногда она выходила поплакать среди чахлых акаций на испятнанном куриным пометом заднем дворе. Даже за сухим руслом было слышно, как она там сморкается, но надо же когда-нибудь и душу излить. Бедный Ройял.

«Хам, эгоист прожженный, сожрет кого хочешь и не подавится», — сказал о нем мистер Огберн. Дальше она слушать не стала. У мистера Огберна была заячья губа, плохо зашитая — этот дефект, даже замаскированный, ее очень пугал. Ее всю трясло после сцены с мистером Огберном.

А так все шло хорошо, вот только детей у них не было. Ее это втайне печалило темными вечерами, когда она искала, не снеслась ли какая-нибудь из кур в папоротниках.

«Знаете, иногда это бывает по вине мужа», — сказал доктор Бамфорт, глядя на свою авторучку. Но она и слышать об этом не хотела, не то что думать, а уж Ройялу нипочем не сказала бы. Мужскую гордость так легко ранить.

Когда они продали магазин и переехали на Парраматта-роуд в дом, который назвали Кутой, ей стало легче и в то же время труднее, ведь они

оба не молодели. Ройял на первых порах был еще туда-сюда, хотя грыжа и сердце его уже донимали. Даже лужайку косил — лужайкой она называла два квадрата сильно закопченной травы перед домом. Косить он не любил и часто говорил ей, прислонившись к веранде: «Давай сделаем, как у соседей — вырвем всё это дело с корнем и положим зеленый бетон».

«Получится, что мы это у них слизали», — отвечала она, надеясь, что он не сочтет это за упрямство. Он вез косилку дальше, а она улыбалась, нагнув голову, и ждала, когда он остынет. Запах скошенной травы перебивал выхлопные газы, напоминая о лете.

«Или гальку положить, — говорил он, прислонившись к другому столбику. — Купим чистую речную гальку, воткнем пару пластиковых кустов, и дело с концом».

Он унялся, только когда артрит загнал его в кресло. Не орать же на жену, раскатывая взад-вперед по веранде — люди подумают, что он спятил.

Но он следил за ней, следил зорко из-под своего козырька. Она чувствовала его возмущение и примирительно говорила, толкая косилку перед собой:

— Ну и что тут такого? Почему бы мне не косить

траву, пока силы есть, я ведь крепкая.

Потом она садилась с ним рядом, чтобы посмотреть на машины, и придумывала разные игры, чтобы его развлечь.

— Никак он? Тот, что проезжает в двадцать минут шестого, — взгляд на часы, — коричневый с розовым.

То, что в шутку посвящены только они, их особенно веселило.

Однажды, когда движение было особенно плотным и с какого-то завода разило химией, Ройял сказал:

— Похоже, его что-то тревожит.

Может, и так, а может, он просто скучал, стоя в пробке. Его руки на руле напоминали ей об опоссумах и обезьянках, которых она видела в клетках. Она шевельнулась, кресло скрипнуло. Зря она прицепилась к человеку, совсем это не смешно.

Ройяла на резиновых колесах она возила легко, особенно после косилки. Поверх ступенек были проложены пандусы, и она иногда вывозила его в садик за домом, где выращивала подсолнухи, штокрозы и кое-какие овощи.

Ройял ни на что не смотрел.

Она никогда не гуляла с ним по теневой сто-

роне, между ними и Доланами, потому что образованный растениями туннель мог навести его на мрачные мысли.

Она любила свой садик.

В тени у нее росли папоротники: олений рог, рыбья кость, венерин волос в горшках. На венериновом волосе даже днем блестели капли воды. Летом казалось, будто вход в туннель затянут желтым целлофаном, но когда дни становились короче, свет делался зеленоватым и мог подействовать на нервы непривычному человеку.

Взять миссис Долан, зашедшую как-то одолжить сахару.

— Ну и напугали вы меня, миссис Натуик. Что вы тут делаете?

— Смотрю на цветы. — Что ж поделаешь, если миссис Долан это кажется странным.

Тогда был сезон цинерарий, которые она тоже сажала в тени, в затишье. Там ветер не мог поломать пурпурно-голубые зонты и конусы, только пришлые кошки представляли угрозу. Кошек она не любила из-за неприятного запаха, но и прогонять их жалела — они так мило валялись в цинерариях, выставив подушечки на лапках и розовые сосочки. Она стояла и рассматривала их, слегка стыдясь этого.

Она хорошо слышала в окно Ройяла, если он ее звал.

— Элла, ты где?

Когда он совсем слег, голос у него высох, как и он сам. Не голос, а шелест какой-то, сонный, болезненный.

— Элла, я газету уронил. Куда ты делась? Ты же знаешь, я сам не могу поднять.

Она знала и виновато бежала к нему, придав глазам и рту веселое выражение.

— Я в саду была, смотрела на цинерарии.

— На что? — Это слово он так и не выучил.

В комнате пахло болезнью и разнокалиберными пузырьками с лекарствами.

— Упала газета, — жалобно говорил он.

Она поднимала ее и спрашивала:

— По-большому не хочешь? — Теперь ей приходилось приподнимать его, чтобы подложить судно, но он не желал отвлекаться и ворчал:

— Что, до сих пор не научилась газету складывать? — Он хлопал по газете, и та, конечно, становилась похожа на растрепанный зонтик. — Страницы надо складывать аккуратно, иначе невозможно читать. Ты сама не читаешь, вот и не знаешь. Надо же посмотреть, кто умер. — Он начинал кашлять, и она спрашивала:

— Дать тебе боврил?

— Боврил я пью утром.

Она знала, что утром, но ей хотелось хоть что-то для него сделать.

Сложив газету как следует, она выходила бочком на веранду. Уличное движение, болезнь и смерть остановить ничто не могло.

Она сидела, сложив руки, и только теперь сознавала, как сильно они болят.

— А его так и не было, — сказала она, посмотрев на часы.

— Кого? — прошелестел он.

— Джентльмена в розовом «холдене». — Он молчал, и она пожалела, что упомянула об этом, но тут Ройял отозвался, шурша газетой:

— Может, колесо проколол. — И засмеялся. — Или выпить куда заехал. Или топором кого-то хватил, как у них теперь водится.

Она закрыла глаза — то ли из-за слов Ройяла, то ли чтобы вспомнить получше водителя «холдена».

Было холодно, но она сидела на веранде, пока не становилось совсем темно. Так и простудиться недолго, а ей ведь нельзя болеть. В дом заходила, только чтобы дать Ройялу на ночь хлеба и молока.

Она смотрела очень внимательно, но его всё не было.

— Кого?

— Джентльмена в «холдене».

— В отпуск небось уехал, — вздыхал Ройял. Она догадывалась, что он хочет повернуться на другой бок, и переворачивала его.

Как-то утром она сказала:

— Знаешь, он мне приснился. Стоял на боковой дорожке, где цинерарии. Я его признала по голове.

— А дальше что? — спросил Ройял, не открывая глаз, — она еще не вставила ему зубы.

— Да ничего, это же просто сон. — Это была не совсем правда: джентльмен смотрел на нее, хотя ничего и не говорил. — Цветной, красный с пурпуром, как цинерарии.

— Я снов не вижу, потому что вообще не сплю. Таблетки не помогают.

Сон помнился очень ярко, и это пугало ее.

— Хочешь яичко всмятку?

— У яиц вкус противный.

— Надо же тебе что-то есть!

Потом, тоже утром, она сказала — и тут же прикусила язык, дура несчастная:

— Я опять сон видела.

— Какой?

— Да глупость, не стоит даже рассказывать. Будто уронила яйцо на боковой дорожке, а в нем два желтка.

Только теперь, поправляя ему подушки, она стала замечать, до чего Ройял похож на свою мать. А может, стал похож, когда заболел. Старики и старухи все похожи.

— Правда же, глупо?

Каждый вечер она смотрела на машины, как будто Ройял по-прежнему сидел рядом. Поглядывала на часы, отворачивалась и порой стискивала свою хилую грудь так, что дыхание перехватывало. Потом заходила в дом и докладывала:

— Не проезжал.

— Должно, случилось с ним что-то. — Ройял взял привычку говорить с закрытыми глазами. — Не в отпуск он уехал, а помер, вот оно как.

— Так он же еще молодой! — Она спохватилась, что снова сказала глупость, и принесла Ройялу молока с хлебом.

Она сидела на краю матраса, чтобы он ощущал ее близость, и он вроде бы ощущал, хотя почти не открывал глаз.

Как-то вечером она вбежала к нему, чувствуя себя глупей некуда с головы до ног, и объявила:

— Проехал! В двадцать минут шестого! В новом кремовом «холдене»!

— Ну, вот видишь? Я ж говорил, что он в отпуске.

Ройял походил на свою мать больше, чем когда-либо раньше.

Теперь он спрашивал каждый вечер:

— Ну что, Элла, проезжал он?

— Нет пока, — отвечала она, стараясь не казаться раздраженной или снисходительной. — Еще только пять часов.

Она смотрела внимательно и гордо выпрямляла спину, глядя на мужчину в «холдене» сверху вниз. Мелкий, незначительный человечишка.

Как-то она вошла, жмурясь — не только от электричества, — и сказала:

— Знаешь, Ройял, мужчины куда лучше выглядели в седле. Они так гордо смотрели на тебя из-под полей своих шляп. Помнишь шляпу, в которой ты приезжал в Кутрамандру?

Ройял тихо скончался в том же году, еще до того, как отцвели цинерарии. Дул холодный западный ветер, на последней странице «Геральда» было тесно от черных рамок. Она держала его за руку до последнего. Напоследок он ничего не сказал, спросил только, вынесла ли она мусор.

Все были очень добры к ней. Не хотелось бы признаваться, но быть вдовой даже приятно. Сидишь себе и пыль подолгу не вытираешь. Поначалу ей и поесть приносили: суп с потрошками, заливную телятину с крутым яйцом, пирожные такие маленькие, что вкуса не разберешь. Потом перестали. Она не обращала на это внимания, как и на пыль. Иногда она мельком видела себя в зеркале и удивлялась, какое у нее спокойное, белое лицо.

Еще бы не спокойное. Никаких чувств у нее не осталось, внутри трепыхался какой-то гусиный пух. Наверно, из-за таблеток, которые прописывал доктор.

— Одиноко вам, должно быть, миссис Натуик? — спрашивали соседи через калитку. С затаенным ужасом, как будто она страдала неизлечимой болезнью.

— Я на седативах, — гордо отвечала она.

— Да-а? Что ж он вам прописал?

— Таблетки. Те самые, от которых умерла та актриса.

И соседи почтительно удалялись.

Вечера становились все длиннее, и она подолгу сидела на передней веранде. Движение текло мимо гладко, как сироп: луковицы авто-

бусов, коконы легковушек — еще не ожившие, прицепившиеся к какой-то своей автоматике, — дальнобойные фуры, дребезжащий порожняк. Иногда женщины, сидевшие в кабинах грузовиков со своими мужчинами, смотрели на нее с тем же безразличием. Подолгу никто не задерживался. За мальчишками в спортивных моделях струились длинные легкие волосы — никогда не подумаешь, что такие способны запинать кого-нибудь до смерти.

Кремовый «холден» каждый вечер проезжал мимо, и она смотрела на часы, как будто Ройял все еще сидел рядом. «Кажется, сегодня он посмотрел в нашу сторону», — произнесла она как-то вслух. Что значит чувствовать себя одинокой?

Она поняла это, выйдя долгим и душным поздним летом в свой заброшенный сад. В субботу и воскресенье «холден», конечно, не проезжал. Что-то такое случилось с ней еще до таблеток, и винить некого, разве только себя. Всё зависит только от тебя самой. Взять хоть сад, он совершенно запущен. Она хотела возразить что-то, но закашлялась, столкнувшись с пораженным мучнистой росой растением. Сначала она просто бродила туда-сюда, как забредшая в сад корова, как заморенная тощая телка. Вся ее былая хватка

пропала. Она наугад ломала и вырывала с корнем сухие стебли. У беленого заборчика вились штокрозы и догнивали подсолнухи. Она походя убила большого белесого богомола и тут же пожалела его.

Тяжело дыша в своем черном платье, она поняла наконец, что ей нужно сделать в саду. При мысли о предстоящих сезонах она как-то сразу устала и пошла умываться. На аптечке стоял стакан с зубами Ройяла. Надо бы убрать их или в Армспас отдать. Пока что она просто сменила воду, чего никогда не забывала делать. У зубов был на удивление живой вид.

Осенью и зимой ее удивляло всё: накопившаяся пыль, старые фотографии, книги, одежда. Что за алое перо, не могла она такое носить. И перчатки с серебристой оторочкой, точно улитка по ним проползла. Да, она покупала иногда вещи, которые не решалась потом надеть, но не помнила ни пера, ни перчаток. И книги. Их набралось порядочно, хотя сама она читать не любила. Старики вечно дают тебе книги, ну и берешь, чтобы не обидеть. «Крестовый поход Губерта», например. Детки с золотыми кудряшками. Может, она еще отцу Ройяла принадлежала? Все когда-то были детьми, и почти у всех были дети. Будь у нее ре-

бенок, она знала бы, какие это хрупкие создания. Вроде богомола, которого так просто убить.

В той же коробке лежала цветная картинка «Содом и Гоморра» — ее она тоже вроде бы раньше не видела. Люди из горящих городов совершили грех, о котором даже говорить не годится, и теперь бежали среди камней — через пустыню, так, кажется? — с длинными застывшими лицами. Немудрено, что они у них застыли после таких испытаний. Даже дрожь пробирает. А пары так и бегут в обнимку — что уж там, раз все равно прокляты. Она их не осуждала.

Коробку она спрятала, как тайный клад.

Осень была тихая, золотая, зима свирепствовала лишь временами — хорошая, можно сказать, зима. Потоки холодного воздуха и темно-зеленого света струились по теневой стороне, где росли ее цинерарии. Никогда еще она не видывала таких цинерарий: остроконечные доходили ей до самого подбородка, круглые шапки поджидали в туннеле, чтобы оглушить ее цветом — пурпурным, синим и тем, что называется винным. Даже вино не опьянило бы ее сильней, чем они.

По вечерам она не только смотрела на машины, но и цинерарии навещала: холод делал их оттенки особенно чистыми и глубокими. Однажды,

почему-то даже не вспомнив о том, проехал ли уже «холден», она увидела фигуру, идущую к ней по туннелю. Она сразу узнала, кто это, хотя никогда раньше не видела его во весь рост и анфас. Узнала по необычной форме головы, которую первым заметил Ройял. Не сказать чтобы видный мужчина, не намного выше ее, но плечистый. Его шаги по кирпичной дорожке звучали решительно.

— Нельзя ли воспользоваться вашим телефоном, мадам? — спросил он. — У меня машина сломалась.

Она всегда предвидела это: попросится кто-нибудь позвонить, да и убьет. Но теперь ей было уже все равно.

Да, невнятно пробормотала она. Как бы человек не подумал, что она пьяная.

Нос у него некрасивый, как и вся голова, но глаза добрые, осмелилась подумать она.

— Холодно, правда? Но зато воздух чистый, — засмеялся он, притопывая ногами по кирпичам.

Только теперь она рассмотрела его рот. Заячья губа, определенно заячья, хотя и умело зашитая. Но она почему-то сохраняла спокойствие и могла бы даже потрогать шовчик.

— Да, телефон… — спохватилась она. — Он вон

там, около кухни. Больше всего времени мы ведь там проводим… и в постели еще.

Зря она так сказала — он ведь может заподозрить ее в каких-то дурных намерениях. Но он только посмеялся опять и сказал:

— Это вы верно подметили. — По-мужски так, не слишком тонко.

Она проводила его к телефону и ушла в кухню — чужие телефонные разговоры она никогда не слушала. Собственная кухня удивляла ее, но его голос звучал знакомо. Она уже не раз вела с ним беседы.

Но до чего же он некрасивый, просто урод. Если б не голос и не глаза… Она уже не помнила, какие они, но знала, что они хороши.

Он выложил у телефона монеты — погромче, чтобы она слышала — и с улыбкой зашел на кухню. Пахло от него тоже хорошо, чисто.

Она смутилась и поскорей проводила его к задней двери.

— Чудесный у вас садик. — Он стоял, выпятив икры. Нахал, конечно, но славный.

— Сейчас-то еще что, — почти сердито сказала она. — Вон там, у забора, растут подсолнухи и штокрозы. Розы у меня знаменитые! — Она в жизни вот так не хвасталась. — Просто сейчас не

сезон, да и запустила я их, когда мистера Натуика не стало. Видели бы вы кассию этой осенью! Теперь-то, конечно, одни стебли торчат. И гибискус. Кремовый, золотистый, вишневый, алый, одиночные цветки и двойные.

Она кружилась в цветнике на высоких каблуках, раздувая пышные юбки.

— Сам-то я не садовник. — Голову он держал вполоборота — может, стеснялся своей губы.

— Да, — согласилась она, — садовничать не все любят.

— Но смотреть на сады мне нравится.

— Муж мой и смотреть не любил. Он не говорил, я и так знала.

Они прошли по заиндевелой траве мимо пустой бельевой веревки. Мужчина посмотрел на часы и сказал:

— Хотел навестить кой-кого в больнице, но не успею, как видно. Эта техпомощь всегда целую вечность едет.

— Надеюсь, у вас не кто-то из близких болеет?

Он сказал, что да, это близкий ему человек.

— Но хоть ничего серьезного?

Нет, это серьезно, сказал он.

Она чуть не прыснула, представив фигуру на койке, всю в бинтах, особенно забинтованное

лицо. Ее и опухоль мозга рассмешила бы.

— Сожалею, — сказала она. — Мне это знакомо, мистер Натуик много лет тяжело болел.

Зубы на аптечке могли смотреть не хуже, чем глаза, но она все равно говорила, что думала.

Они, задевая друг друга рукавами, вступили в темно-зеленый туннель. На небе угасал багровый закат.

— А это вот цинерарии.

— Что-что? — Он этого слова не знал, как и Ройял.

Собравшись объяснить, она перешла на другой язык. Ее горло превратилось в длинную трепещущую воронку, и слова, которые она хотела произнести, вылились через нее долгим страдальческим звуком.

— Что с вами? — спросил он, прикоснувшись к ней.

Ее нечто подобное испугало бы, но он, кажется, не боялся.

— Что с вами? — спрашивал знакомый голос, и руки обнимали ее.

Она, продолжая говорить на новом языке, обняла его тоже, прильнув своим пуховым телом к его твердому. Их снова окружило молчание; лицо его как бы разомкнулось, и заштопанный

рот, почему-то не столь уж страшный, слегка приоткрылся. Она видела, что он тоже узнал ее.

Она поцеловала его выше рта, как будто не надеялась залечить раны, полученные ими обоими за всю жизнь.

Ей было неинтересно, сколько они так простояли. Транспортный поток все так же струился в своих бетонно-кирпичных берегах, не имея власти захлестнуть их двоих.

— Нам лучше выйти на улицу, — мягко сказал мужчина. — Техпомощь вот-вот подъедет.

— Да… техпомощь.

Они пошли по узкой дорожке, все еще держась друг за друга — с длинными застывшими лицами, не иначе. Однако она больше не смотрела на него и не оглядывалась на не остывшие еще радости, которые они испытали вместе.

Расставшись на выходе из туннеля, они увидели машину техпомощи с рубиновым огоньком на кабине.

— Когда придете снова? — спросила она.

— Завтра.

— И останетесь на чай.

Нет, на чай он не останется.

— Всего одну чашечку?

Он вообще не пьет чай.

— Тогда кофе?

— Да, кофейку можно.

Он не оглядывался, идя по двору и открывая калитку. Она не разрешала себе думать о причинах и о возможностях — просто стояла, покачиваясь в потоке ночи.

— Сначала дайте закипеть, ясно? — учила миссис Долан.

— Да-а. — Кофе миссис Натуик не очень-то умела варить.

— Потом добавьте холодной воды, чтоб грязь осела на дно. — Сегодня миссис Долан приходилось смеяться над собственными шутками в одиночестве.

— Это-то меня и пугает, — призналась миссис Натуик.

— Попробуйте и сами увидите, — сказала миссис Долан — ей своих дел хватало.

Купив кофе, миссис Натуик не сразу пошла домой, зная, что будет сильно нервничать в ожидании вечера, но бесцельные блуждания ее тоже не успокаивали — не привыкла она праздно убивать время. В конце концов она остановилась в отделе косметики, словно каждый день это делала, и сказала девушке за прилавком:

— Вот, надумала помаду купить — не подска-

жете ли?

Она хотела обратить это в шутку, но скучающая продавщица даже серебристым веком не повела.

— Пожилые леди обычно предпочитают что-то поярче.

Миссис Натуик (малютка Элла) никогда еще не чувствовала себя такой беззащитной — мама не иначе в могиле перевернулась.

— Вот, например. — Длинные девичьи пальцы обнажили нечто заостренное, пурпурно-бордовое, в золотых ножнах.

— Не слишком ли это в глаза бросается? — снова попыталась пошутить миссис Натуик, у которой дрожали коленки, но седовласая девица и тут не дрогнула.

— Так ведь и хорошо, что бросается!

Миссис Натуик попробовала помаду на руке — она видела, что другие так делают. Девушка пританцовывала, напевая что-то сквозь сомкнутые белые губы — может быть, о возлюбленном своем думала. Как теперь убрать этот столбик обратно в футляр?

Она ушла бы сразу, но скучающая девушка, хорошо владея своим ремеслом, выложила на прилавок румяна.

— Впервые вижу себя с сиреневыми щеками! —

Ну, румяна хотя бы сухие, с ними попроще.

— Так теперь носят.

Миссис Натуик не посмела отказаться, и длинные пальчики с серебристыми ноготками упаковали ее покупку. Они, похоже, побрезговали бы прикоснуться к чему-то кроме косметики — возлюбленный скорей всего ниже их достоинства.

Сдачу миссис Натуик не решилась пересчитать.

Собственное зеркало ей тоже спокойствия не прибавило. Она хотела провести помадой тонкую линию, но рот тут же преобразился в пурпурный цветок. На щеки легли лиловатые тени, сердце вело себя как резиновый мячик для разработки пальцев. Она снова провела по губам помадой — теперь толстый слой жирной субстанции мешал им сомкнуться, а вокруг румян на щеках выступила испарина.

Сотрясаемая позывами наподобие рвотных, она принялась скрести щеки щеточкой для ногтей. Что-то наверняка застрянет в порах, и будет заметно — да и необязательно видеть, чтобы заметить что-то.

Зубы Ройяла на аптечке надо бы спрятать. Что, если кому-то захочется в туалет? Но она так и не убрала их — руки буквально не поднимались.

Около пяти она приготовила кофе, добавив под конец холодной воды, как учила миссис Долан. Если грязь и не осядет, он не заметит сразу, лишь бы кофе горячий был, а подогреть его пара пустяков.

Она ждала на веранде, поскрипывая плетеным креслом. Если б не ее вес, оно ездило бы по плитке, как дощечка, записывающая послания из мира духов.

На перекрестке в этот вечер случилась авария, лобовое столкновение. Из помятых машин доставали тела, и она вспомнила, как выскочила на улицу с одеялами, онкапаринкой Хейзел и подушкой с кровати. Она была благодарна тому погибшему юноше, для которого сделала бы все что угодно. Который так щедро орошал ее своей кровью.

Но в этот вечер она сдерживала себя, поглядывая на часы. Тростниковое кресло поскрипывало, готовое дать ответы на все вопросы. Не ранен ли он? Не убит ли? Что с ним такое?

— Не люблю я эти аварии, — сказала миссис Долан, подойдя к забору со своей стороны. — Крови не могу видеть.

Миссис Натуик смотрела в сторону. Сегодняшняя кровь ее нисколько не волновала, лишь бы

скрипучее кресло не пыталось выкинуть ее из себя.

— Понравился вашему знакомому кофе? — спросила миссис Долан от чистого сердца, без всяких подначек.

— Он не приезжал еще, — взглянула на часы миссис Натуик. — Задерживается.

— Понятно почему, теперь самый час пик.

— Он всегда появлялся минута в минуту.

— Может, заработался. Или день перепутал.

Что тут можно перепутать? «Завтра» есть «завтра».

— А может, он… — Договаривать миссис Долан не стала. — Пойду-ка я, дома меня обыскались.

Погибшие лежали на перекрестке, завернутые в чьи-то еще одеяла, похожие на серые мышиные останки, отрыгиваемые кошками.

Двадцать минут шестого давно прошли — ну не то чтобы давно, но прошли. Небо пылало холодным огнем. Ее город горел.

Наконец она встала, и кресло скрипнуло напоследок, записав свой ответ на плитке.

Нет, это не похоть — пусть бы даже Ройял Всемогущий поразил ее на месте за это «нет». Хотя, может, и похоть. Она страстно тосковала по выражению глаз, которых даже как следует

не запомнила.

Силясь вспомнить их, она напрягала память, а тело ее в это время металось по улицам горящего города, откуда не было выхода. Рано или поздно ты увядаешь вместе с лашеналиями и не в сезон расцветшим гибискусом. Все крикливые рты рано или поздно забьет землей.

Цинерарии были такими роскошными, что она принуждала себя не смотреть, идя мимо них по кирпичной дорожке. Потом задвижка щелкнула, и она увидела, что он идет к ней.

— Я уж думала, ты не придешь! — воскликнула она сердито, хотя и со смехом. — Время к шести!

Спеша к нему, она сломала две-три цинерарии, самых пышных. Знал бы он, что ее часы и вся ее жизнь настроены на двадцать минут шестого, не мешкал бы так.

— Что случилось? — крикнула она через все еще разделявшее их пространство.

Он слишком медленно шел по замшелой дорожке, и она не могла разглядеть выражения его глаз.

— Да так. — Она с трудом узнала этот изменившийся голос. — Нездоровится мне сегодня. — Его деформированная голова болталась на шее.

— Что с тобой? — спросила она властно, по-

мужски или по-матерински, а ведь примеряла на себя роль любовницы, и от нее до сих пор пахло румянами. — Скажи, дорогой! — Неубедительно как-то. В юности она получила письмо от кузины Кэт Солтер, которую едва знала: «Дорогая Элла»…

Они встретились наконец, и ее наполнила сила той самой любви, к которой она так стремилась.

Он не мог соперничать с этой силой. Она говорила с оглушительной мягкостью, и цинерарии с хрустом склонялись у нее за спиной.

— Скажи мне, что с тобой, милый, — говорила она, трубно дыша.

— Да ничего, рука только болит… вот, плечо.

— Ооооой! — Она уткнулась ему в плечо, забыв, что это не ее боль, но тут же вспомнила и сказала: — Мы спасем тебя, вот увидишь.

Это ее следовало спасать. Она пыталась войти в его глаза, утонуть в них, лишь бы не быть покинутой.

Потому что он, несмотря на всю ее волю, ускользал от нее, падал в цинерарии, ломавшиеся одна за другой.

Мимо стрельнула кошка, и она в момент малодушия захотела тоже стать кошкой.

— Ничего, ничего, — говорили оба.

Лежа в сломанных цинерариях, он улыбался

ей страшной улыбкой — не заштопанным ртом, на который она больше не обращала внимания, а глазами.

— Воздуху! Тебе нужен воздух! — крикнула она, ломая пару устоявших еще цинерарий.

Сок застывал на их колючих стеблях.

— О, боже! Любимый! — стонала она, окутывая его руками, волосами, словами.

Слова…

Сам он мог сказать только «ничего», а потом и того не смог. Губы его сжались в белую линию, глаза уплывали.

— Нет… Дорогой — милый — любимый… — Новые слова, слышанные до сих пор только в кино, застревали в ее устах.

Слишком сильные слова. Она теряла его под шум уличного движения, прерываемый выжженными паузами.

Она легла на него пытаясь, поцеловать — нет, вдохнуть в него жизнь, она слышала, что так делают.

Она видела, как индюк с индюшкой, потершись перьями друг о друга, поднимаются словно новый шумящий шелк.

Она приподнялась на колени, все еще касаясь его щек концами волос, и выдохнула:

— Ну что? О, любимый!

Она не успела спросить его имя, прежде чем убила его своей любовью, слишком глубокой и слишком грешной.

Сицилийская вечерня

Пульсация в челюсти сделала их комнату, и без того тесную, еще меньше. Вытянув руку, он мог бы дотронуться до любой из четырех стен, до пузатого гардероба, до кондиционера, который не охлаждал, но на такой эксперимент ему не хватало сил. Он лежал, потел, ворочался на кровати, непрочно соединенной с другой такой же, а зуб, овладевший его телом и душой, запускал свои раскаленные корни все глубже.

— О, господи. — Это он так, вроде междометия — скажешь, и легче становится. Тем более что Айви внизу, в салоне. Он посоветовал ей посидеть там после кофе. В салоне кондиционер работает, если управляющий, конечно, его включил и если там скопилось не слишком много разгоряченных тел. — Господи, господи! — Не хотел бы он, чтобы жене пришлось это переводить.

Шокированный самим собой, он включил свет, скрипнул пружинами и в одних трусах свершил долгий путь в ванную. Он вступил в скудную пору жизни, и морщинистый скальп, сквозящий в растрепанных волосах, придавал ему сходство

с комическим стариком из какого-то жестокого фарса, но правая щека рдела ярким румянцем. Стоя между двумя лампами дневного света, он проглотил веганин, закашлялся и запил таблетку водой из-под крана — инфицированной скорее всего — вместо *acqua minerale, рекомендованной Айви.*

Благоразумие было обычно присуще им обоим, что и делало их брак столь счастливым. Каждый уважал мнение другого — впрочем, они редко расходились во мнениях. Айви, небольшая любительница спорта, могла с интересом посмотреть игру в гольф или слегка поволноваться на скачках, а он старался присутствовать на собраниях ее дискусионной группы, несмотря на свое плотное расписание. После его выхода на пенсию они могли вволю заниматься историей, которой оба увлекались, и проветривать свой французский. Путешествовали они «масштабно», как пишут в газетах, и «не по возрасту», как говорили друзья, с опаской ожидавшие известий об инфаркте или инсульте. Итальянский, правда, взялась учить одна Айви: он, как солидный австралиец, просто не мог заставить себя произносить эти звуки.

Он гордился ее достижениями и сейчас, стоя

над раковиной, представлял, как трепещет ее верхняя губа, когда она произносит *vorrei un caffè — solo — per favore*[18]. У нее это очень хорошо получается.

Ему было шестьдесят шесть, о чем напоминал зуб и волосы на груди, а ей только пятьдесят восемь, хотя кое-кто, как ему порой казалось, подозревал, что Айви убавляет себе года. Самому ему не хотелось думать, что они в чем-то разнятся.

В коридоре послышался смех. Он вернулся в залитый светом номер, который им выделили, не иначе чтобы поиздеваться (иностранцы почему-то предубеждены против австралийцев), и встал у стеклянной двери, которую чуть раньше открыл, преодолевая пыльный норовистый ковер. Огни на набережной пульсировали синхронно с зубом. Вдохнув сицилийский аромат гниющих мидий, нечистот и пота (к сожалению, своего собственного), он зажал нос, но тут же снова дохнул отравленным воздухом — если это его уморит, тем лучше.

Прохожего внизу испугало что-то, происходящее на балконе, и д-р Чарльз Симпсон, Вонга-

[18] Примечания: 18
Один кофе, пожалуйста (*ит.*)

бурра-роуд, 27, Бельвю-Хилл, Сидней (как писала Айви на ярлыках своим крупным наивным почерком) отошел назад в комнату и плюхнулся на желтую модерновую кровать животом. Матрас спружинил совсем чуть-чуть, и доктор застонал от лютой боли и от правды, которую только он и знал о себе. Что сказали бы пациенты, приходившие к нему с дурными предчувствиями и с всамделишным раком — что сказала бы Айви, узнав, что в знаменитом онкологе сидит хнычущий ребенок?

Надо сосредоточиться на Айви, на безупречной Айви. Только из-за ее неприметной внешности он набрался храбрости сделать ей предложение. Бесконечное доверие к жене дало ему то, что сходило за веру в себя, но это была фальшивка. Он всегда делал то, чего ожидали от него она и все остальные, а вот Айви не притворялась. Хотя как бы он распознал притворство, если она понятия не имела о его подлинном «я»?

Мрачные мысли, и виноват в них этот сицилийский кошмар. Зуб полыхает, как факел. Нехорошо, кстати, так ненавидеть сицилийцев, ведь они с Айви всегда любили друг друга хоть и не страстно, но верно, во веки веков, аминь.

Она пришла, должно быть, когда он задремал.

В уличном движении, ворчащем и скрежещущем в самое ухо, образовалась тихая сердцевина.

— Кто тут? — раздражительно прозвучало, конечно.

Он включил свет, разбавленный акриловым абажуром. Она держалась преувеличенно прямо и сдержанно, но напудренное лицо от сострадания сморщилось больше обыкновенного.

— Что, так и не прошло, милый?

— Лучше бы ты осталась внизу. — От альтруистических слов его голос смягчился.

— Как можно… да еще с этими туристами.

В миг их полного согласия зуб ненадолго унялся, и улыбка дошла до флюса. Айви присела на край кровати и приложила его руку к своей сморщенной детской щеке.

— Голландцы! — Впрочем, это у нее вышло мягко, злобы в ней не было.

— Да, французы все-таки лучше.

— Некоторые. Одна американская пара, — Айви хихикнула, — попросилась за мой столик *à l'Américaine*[19], чтобы вместе кофе попить.

— Что за американцы такие?

— Большие и сочные. Не худшего сорта. Нет,

---

[19] Примечания: 19
По-американски (*фр.*).

примерно нашего возраста, я бы сказала. Мужчина со временем, думаю, окажется шумным, а она его женский двойник, но тихая. И всё улыбается.

— Какого рода улыбкой?

— Даже не знаю. Думаю, она проулыбалась всю их совместную жизнь, чтобы скрыть свои чувства. А может, ей попросту сказать нечего.

Обычно Чарльз Симпсон доверял жениному суждению, но заново воспламенившийся зуб не дал ему примириться с ее американцами. Лампочка в акриловом тюрбане мигала, угрожая перегореть.

Айви Симпсон в ночной рубашке, предполагающей отход ко сну, стояла у стеклянной двери, которой вздыбленный ковер не давал закрыться. Она могла бы посидеть на треугольном балкончике, но решила не делать этого. Чуть заметное колыхание маслянистых световых лент намекало на присутствие в темноте моря. Пальмы подрагивали. Время от времени через дорогу перелетал надувшийся полиэтиленовый пакет и тут же опять сдувался. Айви могла бы даже полюбоваться томной загрязненностью ночи, если б не машины, с ревом пролетавшие по Форо-Италико, и не зуб Чарльза. Она непроизвольно постанывала и вздергивала плечо, борясь с его

возобновившейся болью.

Этот зуб мучил их, как ничто прежде. Не смешно ли для двух вполне взрослых людей, выдержавших испытание временем, с самого начала решивших верить только друг в друга вопреки той групповой одержимости, которую называют Верой ее приверженцы.

В некоторые моменты их супружеской жизни она, возможно, предложила бы испытать эту веру, но этому мешали ее рассудительность и опасение шокировать своего доктора. Она и сейчас ни за что не созналась бы в своих судорожных попытках принять на себя его боль. Люди — и Чарльз тоже, подозревала она — лишь теоретически верят в силу любви, а она слишком дорожила его к ней привязанностью, чтобы ею рисковать.

Стоя на пороге кошмарного модернистского балкончика и барочного ночного пейзажа за ним, Айви Симпсон смаковала идеальные отношения, которыми наслаждалась так долго. До сих пор им не угрожали никакие мелкие стрессы. Бездетность, которая могла бы стать трагедией, лишь умножала доброту, с которой они относились друг к другу. Еще смолоду они были скорее чуткими, нежели чувственными любовниками, и она была благодарна за это, как дочь своего отца.

Она так и не забыла полностью свои детские унижения — раны были столь глубоки, что даже Чарльзу не удалось исцелить их. Хорошо, что ее папаша, старый корсар, умер еще до ее встречи с будущим мужем: Обри не одобрил бы Чарльза.

— Что ты там делаешь, Айви?

— Ничего. — В горле у нее пересохло, голос звучал как чужой. — Тебе что-нибудь нужно, милый?

Он не ответил — просто хотел убедиться, наверно, что она рядом.

Она постояла еще немного, нахмурясь — не из-за прошлого, а из-за красной спортивной машины с молодыми сицилийцами в бриллиантине и распахнутых рубашках. Пуританкой она никогда не была, но волосы на груди внушали ей отвращение.

— Так, смотрю, — сказала она. — И думаю.

Он лежал с закрытыми глазами, захлестнутый болью или первыми волнами сна. Она рискнула поцеловать его в лоб. Он не отозвался, да и не нужно было.

Она обходила комнату в поисках какого-нибудь занятия, когда Чарльз спросил:

— Чем он, американец твой, занимается?

— Не знаю. Кажется, он богат.

— Вряд ли они много о себе рассказали, у американцев это не принято.

— Почему же, рассказали довольно много — вернее, он рассказал. Говорит у них он.

Чарльз с закрытыми глазами выглядел нехарактерно капризно — из-за зуба, конечно.

— Их фамилия Шеклок, Кларк и Имелда.

— А сама ты им назвалась?

— Нет.

— Могла бы подыграть душевным американцам.

— Это вышло бы неестественно.

Несмотря на закрытые глаза, она видела, что Чарльз ее одобряет, однако он и вслух выговорил:

— У нас фамилия нормальная, а вот в «Шеклоке» слышится нечто авантюрное.

— Он и правда на пирата похож, поэтому я ему не до конца доверяю. Сам увидишь, когда познакомишься.

Чарльз вспомнил о зубе и повернулся на другой бок, спиной к ней. Она хотела бы выразить свою любовь к нему, но не знала, как это сделать, не показавшись навязчивой.

Она порядком устала, и делать было совершенно нечего. Стирку она еще утром отдала

cameriera[20].

— *Due camicii*[21], — пробормотала она, скрипнув пружинами второй желтой кровати. — Или *-ie*? — Усталость мешала вспомнить, а Чарльз промолчал, поскольку не учил итальянский.

Он часто оставлял без ответа ее вопросы, но она не возмущалась, видя в этом скорее доверие, чем апатию, и разве такой, как у них брак, не предполагает, что на многие свои вопросы ты ответа вообще не ждешь? Чем лучше друг друга знаешь, тем больше их, безответных, накапливается. Так они и будут копиться до самого конца, полагала она.

Когда она уже собралась выключить свет, Чарльз снова к ней повернулся. Смотрел он не на нее, но это побудило ее сказать то, что она откладывала на утро.

— У Шеклоков есть машина. Они приглашают нас съездить завтра в Агридженто. Я сказала, что мы подумаем — не знала, что ты разболелся всерьез.

— Не вижу, почему бы тебе без меня не поехать. — Он произнес это умиротворенно, закрыв

---

[20] Примечания: 20
Горничной (*ит.*)

[21] Примечания: 21
Две рубашки (*ит.*)

глаза — она подумала даже, что зуб у него прошел.

— Ну что ты, милый. — Теперь уже ей стало больно из-за того, что он мог заподозрить ее в чем-то таком.

Уснуть ей не удавалось. Простыня была вся в песке, груди зудели. Фигура у нее безупречная — стройная, как тростинка, втайне думала она, не произнося это вслух. Да и о лице она ничего плохого не слышала, только отец говорил, что она страшная. «Айви как ее имечко, сплошное ай». Сам он был красивый и вечно пьяный. Мать в кои веки настояла на своем, решив, что Айви — это «просто, но мило». Напрасно. Когда ненавидишь отца, так хочется любить мать, ее сдавленную улыбку. Всегда несчастную из-за бедности, измен, из-за того, как он выставлялся на пляже в Мэнли. Мать безусловно заслуживала сочувствия, которым дочь не успела ее одарить при жизни. Вскоре за ней ушел и отец, некогда богоравный красавец. Если ребенок не проявляет любви к родителям, виноваты в этом только они. Даже мать скупилась на чувства. После такого количества несделанного и невысказанного только естественно излить всё на Чарльза. Любить своего мужа с честными несицилийскими глазами.

Никогда не иметь повода для отвращения, отчаяния, стыда. Любовь — или тихая привязанность, которая еще лучше, — растворяет всё.

«Всё драгоценное хрупко», — вздохнула мать, когда Айви разбила вазу Лалика, ее свадебный подарок — буржуазный кошмар, по мнению отца. Обри был художником. У него есть *panache*[22], *говорила одна из дам, спавших с ним* в надежде познать во плоти бравурную энергию, которой его помпезным ню явно недоставало. «Это его дочь? Вот уж не подумаешь».

Вот английская борзая — другое дело, это настоящее произведение искусства, *superba donna. Он гладил свою собаку, пока ожидавший парома Чарльз всё это не отменил.*

Нет ничего мучительнее песков бессонницы.

Пластиковые лилии поднимаются из песка клонятся выпрямляются понемногу. Песок вопреки общему мнению не стерилен. Его загрязняют гниющие мидии черная набивка матрасов груды водорослей разные человеческие выделения, но так приятен у-у между пальцами ног бедная моя lavata camicia da[23] *ночнушка еще служит*

---

[22] Примечания: 22
Размах (*фр.*).

[23] Примечания: 23
Стираная рубашка (*искаж. ит.*)

несмотря на

раздавит ли красная машина лилии самая большая акриловая уже того ты следующая если не выдернешься бледно-розовые собачьи лапы ониксовые гвозди замешаны в сицилийском заговоре красная перчатка лопнет и пуговицы отвалятся если доктор Вонгабурра Симпсон не остановит

конечно он решит не бойся заговорщиков милая

какой заговор разве американцы не за нас

как знать?

Айви следует

Симпсон выпячивает губы поцелуй ли это во всяком случае приглашение сияющая белизна никогда не понимала где честность а где экономия

это стоит между нами

прими это Айви я лишь временный владелец это не просто гнилой зуб а знак моего доверия

самое драгоценное ломается или проливается плевала я на Чарльза Симпсона моего любов то есть мужа эта цепочка из его подбородка всегда висит между нами

всё уже Айви

в нетронутых ножнах арабы привезли из Афри-

ки меч надо думать он его наточил

Боже да вы спасете меня мистер Катлек зачем бы вам еще стоять между нами о Кларк спаси меня от Обри мой грозный муж

— Кларк! Кларк! — Айви чуть не оторвала одну кровать от другой.

— Что с тобой, Айви? — Он включил лампу, свет упал на его перекошенное, испуганное лицо.

— Нога! — Айви, глотая теплый фланелевый воздух, очнулась и объяснила: — Страшенная судорога! — Вскочила, прошлась, вытянула ногу, скрючилась, опять вытянула, попыталась поставить на цыпочки.

— Ты бы лучше полежала спокойно. — Муж, страдающий зубной болью, случайно еще и доктор.

Она послушно легла, и он помассировал ей икру; ее ноги сохранили молодость, как и груди. В этом ужасном сне она на миг стала собакой Эммой, которую отец любил за изящество.

С собакой, по крайней мере, всё ясно. Хорошо, что другие бесформенные образы позабылись и что она нашлась с этой судорогой.

Чарльз поверил — почему бы не верить, она очень убедительно притворилась. Она лежала, трепеща веками, постанывала время от времени

и выгибала спину, а он продолжал массировать ее ногу крепкими, нежными пальцами. Это помогало от сна, который все еще ее мучил.

Обри Тиндалл. Ему нравилось его имя, выгравированное на дорогих безделушках вроде сигаретницы, которую мать называла вульгарной, поскольку было не совсем понятно, кто ее подарил. Он полировал большим пальцем потемневшую от никотина надпись. Дочке предлагалось называть его Обри, но она никогда так не делала, разве что за глаза. «Почему, Айви?» Она не могла ответить. «Папа» — это пошло, а будешь звать меня Обри, все подумают, что ты моя девушка». Это очень глубоко задевало. Он обидно смеялся, прикрыв глаза, чье выражение редко совпадало с его словами. В бороде цвета старого золота застревали песчинки с пляжа, где он целыми днями валялся на животе.

— Ну как, прошло? — спросил доктор Симпсон.

— Кажется, да. Да. Ты мой спаситель. — Она слабо улыбнулась ему. Это Чарльз, и он не обращает внимания, что веки у нее как из папиросной бумаги, а лоснящиеся щеки не мешает припудрить.

Доброте не присуща хрупкость. Она успокоенно закрыла глаза и стала сама массировать плечо

Обри он нажил себе ревматизм бегая голышом в пору южных ветров он сказал что дочка хоть и уродка, но хоть на что-то годится ее рука перешла от плеча к ребрам почти до бедра свет с моря придавал золотистой коже зеленоватый оттенок она втирала мазь убирая зелень растирала этого неприятного мужчину отца с грязновато-золотой порослью на груди.

— Думаю, можно перестать, дорогой, — сказала она, помнится, Чарльзу. — Ты такой добрый. — Песок на подушке оцарапал ей щеку.

Надо было спросить про зуб, но она, изможденная или преисполненная, уже засыпала.

Шеклоки не то что поругались, просто поспорили, по какой дороге ехать в Агридженто: он точно знал, по какой, жена возражала. Айви, изучившая карту перед отъездом, молчала, не желая подтверждать, что прав мистер Шеклок.

— Вы здесь уже трое суток и ни разу не выбирались из этой *albergo*?[24] — *Машину, взятую напрокат, распирало от недоверчивости Кларка Шеклока.*

Чарльз Симпсон на заднем сиденье привстал.

— Прошлись как-то вечером до Виллы Джулии.

---

[24] Примечания: 24
Гостиница.

— Туда, правда, не заходили, — уточнила Айви.

Мистер Шеклок признал, что зубная боль бывает невыносимой, добавив при этом:

— Завидую вашей самодостаточности. Сидят себе в отеле «Гаттопардо», как два комнатных растеньица!

— Он это не в обиду, — повернулась назад миссис Шеклок. — Он очень любит всё, что растет. — И вернулась к пейзажам, сама похожая на кремовую, с золотистым отливом тыкву.

Импульсивный же мистер Шеклок принадлежал скорее к животному царству.

Симпсоны держались за руки, переливая свою легкую иронию через них. Пару раз Айви взглядывала на Чарльза, ничего не выдавая, как она думала, хотя с этими зеркалами кто знает. Ее удивляло, что Чарльз согласился ехать с незнакомыми американцами в Агридженто после такой дурной ночи. Потом взглянула еще раз — проверить, он ли всадил меч ей в живот. Сон так пугал ее, что она всячески старалась его забыть.

— Чарльз, Айви, вам там удобно? — спросил Кларк Шеклок. — Эти «фиаты», задние сиденья уж точно, придуманы для карликов с короткими ножками.

Симпсонам было вполне удобно, но на имена

вместо «мистера» и «миссис» они перешли не раньше Леркара-Фридди.

По дороге Кларк показывал им достопримечательности, и Айви, заранее прочитавшая путеводитель, не могла отрицать, что рассказывает он в основном верно.

Порой от избытка энтузиазма он добавлял что-то вроде:

— Видите ту церковь наверху? Говорят, там перед последними выборами явилась Святая Дева, и христианским демократам это здорово помогло.

Симпсоны переглядывались, наслаждаясь этим. Они уже приготовились сообщить Кларку Шеклоку о своем собственном вероучении, да он и сам рано или поздно не преминул бы спросить. Во что верит миссис Шеклок, оставалось неясным. Айви полагала, что та либо дуется, либо просто не блещет умом.

Когда Имелда смотрела по сторонам, были видны ее довольно полные бледные щеки, когда же смотрела вперед, в поле зрения оказывались крепкая шея и шапка рыжеватых волос. Зато сидевший за рулем Кларк то и дело оборачивался назад. Айви испугалась бы, будь это ее муж, но водительское мастерство Шеклока принимала как должное и спокойно слушала рассказы о

его путешествиях. Он повествовал о них столь подробно, что оставалось загадкой, зачем ему нужно ездить еще куда-то. Возможно, жена, так сосредоточенно любующаяся пейзажем, потом его просветит.

Пейзаж этим жарким утром был бесспорно прекрасным, обширным и пыльным. Люди и животные в нем почти не встречались, но об их присутствии говорило многое: стерня, скошенная правильными геометрическими фигурами, что предполагало некий обряд; аккуратный стог с вырезанным у основания ломтем; коровьи лепешки в оливковой роще; хибара на фоне неба. Хотя Айви и держала за руку Чарльза, который чисто по-мужски выспрашивал мистера Шеклока о каких-то статистических данных, на что тот отвечал без запинки, пролетающий мимо ландшафт, казалось, существовал для нее одной. Она ни за что не созналась бы Чарльзу, что такого рода опыт ему испытать не дано. К счастью, эта тема вряд ли могла всплыть в разговоре, но если бы и всплыла, Айви наверняка стала бы отрицать свою причастность к любой из форм левитации. Чарльз, погруженный в прагматичный диалог с мистером Шеклоком, не замечал, как струятся по ветру ее волосы, как цепляется юбка за ветви,

как рванула она ржавый засов — только ногти на миг побелели, — чтобы заглянуть в темный амбар, притаившийся в кустах у дороги.

Только миссис Шеклок нарушала чувство единоличного обладания. Крепкая складчатая шея вкупе с крупным, но нисколько не дряблым бюстом совершали поклоны вправо и влево, пока «фиат» нес их через очередной перевал. Поймет ли Айви когда-нибудь, что Имелда за человек? Она не думала, что активно ее невзлюбит, не любить не в ее характере (ненависть к отцу истощила в ней запас нелюбви), но вдруг представила распростертое в траве белое тело Имелды со всеми ее подбородками и, что еще тревожнее, с темным пучком между ног.

Чувство вины побудило Айви сместиться на край сиденья.

— Я бесконечно благодарна вам, миссис Шеклок, что вы нас уговорили поехать. Это просто фантастика!

Теперь уже встревожилась миссис Шеклок, вынужденная что-то ответить.

— Да, — выговорила она малопривычными губами, — такой простор, правда? — И устыдилась собственной невыразительности.

Кларк Шеклок как раз в этот момент обернулся

и, между статистическими данными, подмигнул.

— Не говорите только, Айви, что вы романтик! — Его загар и веселость не предполагали обвинения или насмешки, хотя всё могло быть.

Он задержал на ней взгляд достаточно долго, чтобы напомнить, что ее считают дурнушкой. Но он, кажется, не заметил этого благодаря золотым искрам в ее волосах и форме, в которую сложился ее маленький рот.

Она снова пересела поглубже, только теперь вспомнив, что держит за руку Чарльза.

Вскоре, в Леркара-Фридди, Айви стала называть Шеклоков по именам.

Миссис Шеклок — второстепенные решения, видимо, принимала она, — сказала, что можно остановиться и здесь. В недостроенном бетонном ресторане, куда ее муж подъехал среди куч щебенки, грохотал о своем музыкальный автомат. Пройдя сквозь занавеску из засиженных мухами пластиковых полосок, Айви спросила:

— Как по-вашему, Имелда, в здешний *gabinetti*[25] *можно зайти?*

— *А что делать, не терпеть же до Агридженто.*

---

[25] Примечания: 25
Туалет (*ит.*)

— *Может быть, лучше в кустики?*

Эта озорная реплика вместе с опасениями насчет *gabinetti* должна была послужить цементом для скрепления дружбы с Имелдой. Но та либо не знала правил игры, либо не хотела подыгрывать, и Айви, наедине с собственной шаловливостью, увидела в зеркале свои потрескавшиеся губы и спутанные запыленные волосы.

Кларк Шеклок едва взглянул на них обеих, когда они вернулись за столик: он рассказывал Чарльзу о найденных недавно полотнах Караваджо.

— Вся соль в том, что их неожиданно обнаружили в таких скромных, ничем не примечательных церквушках. Все равно что наткнуться на Гойю в мадридском Сан-Антоне.

Симпсоны приняли подобающе вдумчивый вид, и Чарльз, кашлянув, сказал «да». Искусство заставляло его нервничать; он много читал по теме, но так и не воплотил полученные знания в жизнь.

— Мы в Мадриде не были, — признался он. Айви вспыхнула.

— Да что вы! — подскочил на стуле Кларк. Шеклоки, похоже, были везде, и не один раз. — Съездите обязательно, хотя бы ради Гойи. *«Последнее*

причастие святого Иосифа» — величайшее духовное откровение. — Он переводил взгляд с Чарльза на Айви, проверяя, посмеют ли они возразить.

Чарльз с распухшей щекой сделался еще вдумчивее.

— *Я лично предпочитаю* Бертонвильского Гойю, — улыбнулась Имелда, открыв сумку. Очень удобно, должно быть, иметь такую вместительную, хотя старую и не очень-то элегантную. Ее пухлые белые руки украшало одно-единственное кольцо с каким-то дремотным камнем, который Айви не могла опознать.

Имелде, как видно, очень хотелось высказать собственное мнение, но Кларк тут же обрушился на нее.

— Бертонвильский? Черта с два. Намерения у нас, конечно, были самые лучшие, но мы тогда ничего не смыслили в Гойе. Мы и себя-то не знали.

Имелда, все так же улыбаясь, копалась в сумке.

— Я всегда знала, кто я и чего я хочу.

— Ты чертовски упрямая, вот что. Три против одного, что Бертонвильский Гойя — подделка. Нам это написали черным по белому, но ты не хочешь ничего знать.

Айви, которую всегда задевала грубость между

супругами, беспомощно взглянула на Чарльза. Придется, как видно, усвоить, что у американцев другие правила.

— А что значит «Бертонвильский»? — осторожно спросила она.

Кларк, еще не остывший, тут же объединился с ней против жены.

— Бертонвиль — это маленькая коллекция, музей, если хотите. Мы с Имелдой основали его в пору нашей идеалистической молодости, заполучив деньги в руки. Кое-какие приобретения оказались не слишком удачными, как вы слышали, хотя Имелда до сих пор заслоняется от правды христианской наукой.

Имелда со смехом защелкнула сумку; временами казалось, что у них с Кларком нет ничего общего.

— Я бы очень хотела посмотреть ваш музей! — Айви, искренне желая разрядить обстановку, не стала останавливаться на Гойе, который, и подлинный и поддельный, представлялся ей чересчур мрачным.

— И посмотрите, когда будете в Штатах.

Эта туманная перспектива почти не оставляла надежды, что она — или Чарльз — когда-нибудь увидят Бертонвильский музей.

Кларк, которому, видимо, тоже слабо в это верилось, положил конец расплывчатым планам, расплатившись — с приличными чаевыми — за *acqua minerale, которую они заказали. Можно было подумать, что он платит за прежние мир и согласие — быть может, именно для этого он и привлек Айви на свою сторону. Его пухлая нижняя губа с легкой ложбинкой блестела, под расстегнутой рубашкой курчавились черные волосы. Айви сомневалась в духовности Кларка Шеклока.*

Пора было, однако, двигаться дальше, в Агридженто.

Между ними и горами опустился бурый занавес зноя. По дну долины, как морщина, пролегал пересохший ручей. Домики и даже заправочная станция больше не убеждали. Люди в бледно-желтой машине достигли стадии, когда лишь страдания собственной плоти доказывают существование человечества, хотя никто из них, вероятно, не признался бы в таком негативе. Все четверо как-никак получили высшее образование — названия австралийских и американских университетов в разговоре упоминались.

Большие американцы рассекали пространство, более мелкие австралийцы потели на заднем сиденье, и Кларк пересказывал вычитанное в

журнале: сицилийские мальчишки из бедных семей мастурбируют будто бы прямо в классе, не стесняясь учителей.

Чарльз, не без чисто мужской ухмылки, порицал это с медицинской и социологической точки зрения, Айви с гордостью демонстрировала широту своих взглядов, хотя у нее бегали мурашки по коже от этой воображаемой сцены, и как бы она повела себя, если бы нечто подобное рассказал ее муж? Имелде, похоже, хоть бы что — может быть, она к такому привыкла.

Миссис Шеклок предусмотрительно захватила с собой корзину для пикника («на Сицилии это не помешает»). После тягостного осмотра Археологического музея и восхождения к храму Деметры, где Айви определенно ссадила бы коленку, не поддержи ее Кларк, корзинку решили открыть в тени Храма Согласия.

— Здорово, правда, Айви? — прошептал Чарльз. Она подозревала, что это относится не столько к храму, сколько к еде, хотя какой прок от нее бедняжке с больным-то зубом.

— Тебе больно, милый? — спросила она тоже шепотом, но Чарльз промолчал.

Имелда извлекла яства: сэндвичи с фуа-гра, холодную курицу, громадные, лишь чуточку по-

мятые персики и термос с охлажденным вином.

Кларк полусердито-полушутливо, как всегда говорил с женой — если не злился на нее откровенно, — заявил:

— Сицилия себя показала, Имелда. Провоняла твоя корзинка.

— Это, наверно, курица, но она так всегда пахнет. Не противнее, чем чьи-то трусы.

Айви поморщилась.

— Опять чертова христианская наука! — пробурчал Кларк. — Сколько народу, должно быть, не подозревает, что они прирожденные христианские ученые.

От смущения голос Айви стал еще более девчоночьим, чем обычно:

— Я, например, никакого запаха не чувствую. Кроме персиков. — Она с наслаждением втянула в себя их аромат.

И она, и Чарльз нашли угощение «восхитительным», хотя курица, если согласиться с правдолюбцем Кларком, была, пожалуй, действительно с легким душком.

Чарльз из-за зуба налегал на сэндвичи, которые, Айви знала, в другое время счел бы очень уж жирными. Сама она выпила два бокала вина, больше нормы, надеясь защититься этим от

курицы.

Кларк, со своей стороны, умял обе куриные ножки, выплевывая хрящи в сухую траву, и без стеснения облизал еще больше залоснившиеся, как будто даже пополневшие губы. Одновременно он рассказывал историю храма, которую Симпсоны знали и без него.

— И вот в шестом веке почтенную святыню превратили в христианскую церковь.

— Как слишком часто случалось. — Искреннее неодобрение сделало реплику Айви чрезмерно сухой.

Симпсоны тактично не стали развивать эту тему. Кларк, кроме ссылок на христианскую науку и упоминания о Пресвятой Деве, не давал ключей к вере супругов Шеклок или к отсутствию таковой. Симпсоны, склонные надеяться на лучшее, уже не раз сталкивались с весьма неприятными сюрпризами: американский энтузиазм трудно скрыть, но папизм порой таится за самым обманчивым фасадом.

Имелда собрала остатки пиршества — подчеркнуто тщательно, «не будем загрязнять планету еще сильнее», — и они начали подниматься к храму. Имелда шла впереди, двигаясь очень легко для столь крупной женщины. Ее белые, без чулок,

ноги напрягались и блестели на солнце. Айви, отставая от нее на пару ступеней, вспомнила не без чувства вины о съеденной курице и о кусочках жирного мяса на розовой нижней губе Кларка.

Это побудило ее сосредоточиться на храме, сулящем отдых от жары и пыли восхождения. Его золотисто-розовые колонны поддерживали листовое золото неба. Айви прикрыла глаза, и колонны на миг дрогнули, как живые. Впечатление того, что это живая плоть, держалось вопреки щербинам и выбоинам на них. Мысль о плоти почему-то снова вызвала у Айви воспоминания об отцовском плече и массаже. Ничего нет плохого в том, чтобы втирать мазь в плечо страдающего ревматизмом отца. Почему же она тогда всего сильнее ненавидела его, когда это делала? Должно быть, из-за этого запаха разогревшегося самца и из-за белой кашицы, проступающей между пальцами.

Не особенно удивившись, она осознала, что Кларк ведет ее за руку к южному подиуму. Чарльз, наверно, сильно отстал? Чем, в конце концов, можно помочь человеку с зубной болью — только зуб вырвать.

Кларк показывал на что-то в золотой дымке, за которой, согласно карте, лежало море. Айви

удручало то, с чем ей вскоре предстояло справляться — ведь она, будучи молодой и гибкой, была также старой и высохшей. Улыбка на лице ощущалась как тик.

Но ее гид уже делился с ней своей тайной:

— Вон в том доме родился Пиранделло[26].

— Ох! — вырвалось у нее. — Какой это ужас. Кто-то дал мне почитать, в университете еще. — Сделав паузу, она вспомнила, что этим секретом они поделились еще в дороге. — Тогда я, конечно, на английском его читала, — она говорила не слишком связно, тик усиливался, — и вот только недавно попыталась на итальянском. Прочла «Правила игры» — так сказать.

— Так вы итальянский учите, — улыбнулся Кларк.

— Ну, лингвист из меня аховый.

Глаза у него карие, загадочные — может быть, католические?

«Где же Чарльз?» — собралась спросить Айви, но тень от выщербленной колонны преобразилась в Имелду.

— Хочу напомнить, — произнесла та с непривычными американскими флексиями, — что нам

---

[26] Примечания: 26

Луиджи Пиранделло (1867 — 1936) — итальянский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии 1934 г.

еще три храма смотреть и ехать обратно. — Очень сдержанно, не сказать апатично.

Три оставшихся храма оценила, вероятно, одна миссис Шеклок, хотя только мистер Шеклок признавался, что изнемог.

— Посадите меня под большим платаном, дайте кило инжиру и пару галлонов ледяной ледниковой воды. — Он ныл, как школьник на экскурсии — взрослым его не делал даже тяжелый золотой браслет на запястье.

Айви в самом начале заметила этот браслет и медальон на нем с гравировкой КЛАРК. У американцев, вероятно, так принято, надо просто привыкнуть.

Их комната нисколько не изменилась, только лампочка в акриловом абажуре перегорела, пришлось включить прикроватные. Налетевший с улицы пух колыхался при слабых дуновениях кондиционера.

— Милый, ты совсем вымотался, наверно, — простонала она в его горячую ключицу.

— Этот день стоит запомнить, Айви. — Чарльз отталкивал ее сочувствие, подобно расшатанному шезлонгу.

— Нет, кое-что интересно, конечно, — пейзажи, археологические находки, — но как ты выдержал

Шеклоков?

— А что, они мне, в общем, понравились. — Выпирающий кадык подкреплял это.

— Да неужели? Вот уж не подумала бы — человеку свойственно заблуждаться. Она скучная до зевоты, он — ну да, довольно культурный. Если подумать, то они правда не так уж и плохи.

Вспомнив курицу, Айви пошла в ванную, почистила зубы, приняла энтеро-виоформ. Чарльз гримасничал перед зеркалом у туалетного столика. Чтобы скрыть увиденное, он снял рубашку и понюхал ее под мышками — продержится она еще денек или нет.

— Интересно, принесет ли *cameriera нашу стирку domani*[27], — *смакуя звучные слова, произнесла Айви. — Уж такая сицилийка, дальше некуда.*

Чарльз промолчал, и они улеглись каждый на свою кровать, знакомые тела в знакомых ночных одеждах, как будто обрели наконец то, что раньше от них ускользало.

И уснули.

Утром у Чарльза случился рецидив (зубная боль, по мнению Айви, вообще не могла просто взять и пройти, просто Чарльз всегда склонен пре-

---

[27] Примечания: 27
Завтра (*ит.*).

уменьшать). В лимонном свете дня, при влажной сицилийской жаре, в грохоте уличного движения, он выглядел еще более серым и больным, чем позавчера.

— Что ты, Айви?

— Это у тебя надо спросить, что, — резко, учитывая обстоятельства, сказала она.

Айви часто, когда к тому не существовало ни малейшего повода, представляла себя вдовой. Сейчас нельзя было, но какой же он серый, какой больной — правда, не брился еще, конечно, это из-за щетины так кажется.

Айви присела на край желтой модерновой кровати, скрипнув пружинами.

— Я съезжу в «Алиталию», дорогой, закажу билеты. Римский дантист все-таки лучше сицилийского, не находишь?

Но Чарльз был заметно против, как будто боль отняла у него естественное желание избавиться от нее.

— Давай не сегодня, Айви. Мы столько еще не видели, тот же Сан-Фабрицио.

— Как можно увидеть Сан-Фабрицио или что-то еще, когда ты лежишь в этой гнусной комнате? — Пух от ее движения взлетел вверх.

— Ты можешь с Шеклоками пойти.

— С Шеклоками! — Сейчас она даже думать о них не могла. Белые напряженные икры и медальон с гравировкой на золотом тяжелом браслете.

Айви взяла сумочку, чувствуя прилив энергии, несмотря на жару: ее миссия того требовала. Села в такси. Таксист, как и следовало ожидать от бандита-сицилийца, ее обсчитал. Она не протестовала, но ее вера в свой итальянский на миг пошатнулась.

В «Алиталии» ее приняли очень любезно, и она заказала два билета на завтра. Он ведь сказал «не сегодня»? Она бы еще вечером улетела, если б Чарльз не тянул с отъездом, а кассир в «Алиталии» не был таким любезным. Как бы там ни было, билеты она взяла, и совесть ее спокойна.

Она немного прошлась пешком, неся сумочку под мышкой, как великую ценность. (Что за ридикюль у Имелды Шеклок, гладстон какой-то.) Потом села в автобус. (Бедняжка Чарльз чем его покормить паста не годится хотя ее можно размять сначала, но так чтобы больному противно не было.) И еще немного прошлась.

На удаленных от центра улицах, где тихо разрушались палаццо и разило клоакой, наибольшую опасность представляли струи холодного воз-

духа из церковных дверей. Скорей пройти мимо запахов застарелого ладана и соблазняемых собственными муками святых. Ногти на ногах, вот где мучение. Стала бы Имелда пренебрегать педикюром, когда у него зуб болит? Браки, как и зубы, бывают обманчивы.

Упиваясь такими мыслями, Айви заметила нечто висящее на ржавом гвозде, сочащееся бурым, как соты. В качестве исследовательницы она подошла и чуть не ткнулась носом в требуху, узлы кишок, пчел нет, только мухи, сосущие бурую жидкость.

Айви не столько побежала, сколько заковыляла прочь. Ее могло стошнить в сточную канаву, но не стошнило, только память не желала оторваться от требухи на ржавом гвозде. Вот гадость.

Больному мужу она, естественно, об этом не рассказала — больше того, решила умолчать и о билетах, лежащих в сумочке: Чарльз мог разволноваться.

Он улыбался улыбкой, хорошо ей знакомой. Она улыбнулась в ответ.

— Попросим принести тебе pasta in brodo[28],

---

[28] Примечания: 28
Паста в бульоне *(ит.)*.

милый? Она хотя бы мягкая.

— Не сейчас, очень жарко. Может, вечером. — Он пошуршал простыней. — Вечером я ее уговорю.

Они обменялись легким, основанным на взаимопонимании поцелуем, и супруг вспомнил о своем долге:

— Ступай вниз, Айви, зачем пропускать ланч.

Она послушалась.

Сидя в столовой среди голландцев, французов и нескольких итальянцев, она ковырялась мохнатой от сыра вилкой в лазанье, не в силах заставить себя хоть что-нибудь проглотить. Надо было, пожалуй, заказать аньолотти.

Выйдя наконец за дверь, на которую все время поглядывала, она испытала облегчение — возможно, беспочвенное: столь неутомимым туристам, как Шеклоки, и сегодня полагалось отправиться в экспедицию, но тут она увидела, как они протискиваются наружу из лифта — задача при их габаритах нешуточная. Наряду с иррациональным, нервическим желанием не встречаться с ними она мимолетно пожалела, что сесть в лифт сейчас уже не получится; это хорошо показывало трагические диспропорции ее разума.

Шеклоки, чувствуя, возможно, ее состояние, не по-американски смутились; казалось, им тоже хочется проскочить мимо, и их вступительные слова точно подталкивали локтем друг дружку.

— Мы вас нигде не видели, — начала миссис Шеклок, — думали, вы уехали на групповую экскурсию.

— Сегодня экскурсия в Селинунт. — Кларк, покачивась с пятки на носок, чуть заметно кренился — Айви приписала это невидимой тепловой оболочке, окружавшей его.

Оба сочувственно улыбались ей, но о здоровье Чарльза не спрашивали; она сочла это естественным для таких независимых, богатых и, видимо, здоровых людей, как они.

— Нет, сегодня мы для экскурсии непригодны, — сказала она со смехом и не стала развивать эту тему.

— А мы все утро пробыли в Сан-Фабрицио. — Это, похоже, впечатлило миссис Шеклок еще меньше обычного.

— Это что-то! — добавил Кларк.

Айви показалось, что он снова хочет поделиться с ней каким-то секретом, как вчера, когда показывал с платформы Храма Согласия в сторону Порто-Эмпедокле, только сейчас тайна была

поглубже.

— Я твердо намерена посмотреть Сан-Фабрицио, даже если всё против этого! — выпалила Айви на полном серьезе, подпираемая билетами на самолет в сумочке.

Ее желание, почти осязаемое, отскочило от стенки как бы друзей, и коленки у нее задрожали, как при открытии, что в мнимых сотах кишат не пчелы, а мухи.

Но в следующий момент она собралась, и ей стало все равно, увидит она Сан-Фабрицио или нет. В конце концов, они с Чарльзом читали о нем и видели его фотографии в доме на Вонгабурра-роуд — вот что главное.

— Надеюсь, вам понравится ланч, — сказала она, обращаясь в основном к миссис Шеклок, приспустившей плотные кремовые веки.

— По крайней мере мы знаем, чего ожидать, — сказал Кларк.

Уходя от деликатной ситуации — они явно знали, что Чарльзу плохо, но не хотели об этом спрашивать ради собственного спокойствия, — он с улыбкой оглянулся на Айви. Видя, что его превосходные зубы испачканы соусом тартар, она четко представила, как пахнет у него изо рта.

Лифт, как ни странно, ее дождался.

Чарльз Симпсон, скованный то ли сиестой, то ли лихорадочным бредом, силился удержать расползающееся видение. В конце концов он проиграет, конечно. Трещины, белые, как кость, ширились. Челюстная кость, и в центре всего воспаленный зуб в виде спелой лопнувшей фиги. Когда всё кончилось, Айви слезла с него, поняв, что это бесполезно. Главное разобрать мусор на этом пляже: плавник, китовые ребра, подмокшие яблоки. Разобрать и построить. Хотя нет, эти бесконечные белые арки строятся сами собой.

Айви вообще-то сидит на желтой табуретке и смотрит в зеркало в комнате, где они вместе живут. Она оделась и причесалась. Шейные позвонки сильно выпирают над воротником белого платья. Она чистит щетку для волос и сбрасывает очески туда, где должна стоять мусорная корзина.

В это время дня, куда они оба не очень-то вписываются, слишком близко к ночи, чтобы считать прерванный сон чем-то больше непозволительной роскоши, их отношения кажутся до боли непрочными.

Айви сказала, отвернувшись от зеркала, — выходит, она тоже смотрела на него спящего:

— Ты хорошо поспал, дорогой. Не проснулся

даже, когда у меня щетка упала.

— Да, вздремнул, кажется. Позже обычного. — Щетина царапала подушку; совершенство, как эстетическое, так и моральное, смущало его; это всегда дело случая, в то время как он приходил к верным врачебным выводам лишь самым проторенным путем.

Быть может, это белое платье, хотя она довольно часто его надевала, делало ее столь ускользающей и безвременной. Она не казалась такой юной даже при их первой встрече на пароме в Креморне, со ртом, сжатым в полоску, задуманную как твердая линия. И коралловая подвеска на шее, как и тогда. Только волосы другие, не столько прическа, сколько цвет: мышиный припорошило белым, хотя это, возможно, всего лишь сицилийская пыль.

Он надеялся, что его любовь Айви никогда не смущала. А может, и да. Она повернулась к нему, не вставая, с щеткой из слоновой кости в руке. Подобающе серьезная, с влажным взором, но после сна всегда так.

— Я пойду погуляю, — сказала она. — Бриз дует.

Свет и впрямь изменился — желтизна сгустилась и напоминала бы пастилки для горла,

если б не перемещалась все время; Чарльзу вспомнилось, как дрожат листья австралийского баньяна.

— Что ж, сходи, если хочешь. Я, может, встану потом, оденусь. Глядишь, и съем что-нибудь.

— Да, проскочим до столпотворения.

Айви любила употреблять мужские словечки, думая, наверно, что их это уравнивает. Он часто порывался сказать ей, что это звучит как фальшивая нота, но так и не решился, боясь задеть ее чувства.

— Что-нибудь мягкое, но питательное, — заботливо предположила она. — Я слышала, Сицилия своим мороженым славится. — Как будто они оба не слышали или не читали об этом. Люди, живущие в браке, склонны к забывчивости, с какой бы стороны ни смотреть.

— Куда думаешь пойти? — спрашивает Чарльз.

— К Вилле Джулия. — Быстро, не задумываясь.

— Куда-куда?

— К Вилле Джулия, — повторила она без итальянского акцента, боясь показаться претенциозной.

— Разве она не в Риме?

Она знала, что оба они подумали о так называ-

емых «этрусских супругах»[29], будучи на самом деле всего лишь Чарльзом и Айви.

— Нет, дорогой. — В ее голосе прорезались тревожные нотки. — Помнишь сады вдоль улицы? Мы еще в первый вечер за ограду заглядывали. Жуткая сицилийщина скорее всего, но больше здесь, кажется, подышать негде.

Вполне разумно, как он и ожидал. Она склонилась над ним и поцеловала, тоже ожидаемо, в губы, хотя никогда раньше, во всяком случае в шесть вечера, не делала этого.

Айви Симпсон в белом платье взяла было быстрый темп, но вспомнила, что чем дальше на юг, тем позже запирают ворота в парках и что ее ноги при всей их кажущейся молодости могут забуксовать, если идти вдоль ограды. Поэтому она двинулась прямо через алмазную пыль, и этот туземный маршрут столь же неизбежно привел ее к цели.

В саду она пару раз огляделась по сторонам, хотя решила не делать этого. Ей хотелось найти что-то успокоительное — ребенка, к примеру. Вообще-то здесь носились туда-сюда целые стайки детей, но она, если честно, никогда не умела вести

---

[29] Примечания: 29

Знаменитый саркофаг в музее этрусского искусства (Вилла Джулия, Рим).

себя с ними — при ней они замыкались. Деревья в этом чахлом парке тоже не откровенничали, сухие и ломкие, с корой как старая рассохшаяся корзина. Только в одном углу, где вместо пыли лежала грязь от утиного пруда, листья были свежими и мясистыми и к мраморным скамейкам липли освобожденные голоса.

Айви покрылась мурашками. Ее пугала эта чаща, пахнущая утиным пометом.

Еще больше она встревожилась, услышав вблизи за кустами что-то вроде львиного рева. Разве сумеет она спастись на своих подламывающихся ногах, в хорошо видном белом платье? И что тогда будет с Чарльзом?

Она заметила, что все дети теперь бегут как раз в эту сторону, прямо на рев. А вот и он, за лаврами, где в ряду пустых клеток только одна и занята: лысый зад, спутанная грива, одного глаза нет — еще живой, еще способный на ярость. Дети толпились перед загородкой из колючей проволокой у клетки, а лев кидался на них и рычал. Несмотря на запущенный вид, он, возможно, наелся сырого мяса, и из его пасти могла капать кровь. Дети, зная, что они в безопасности, тыкали в него кто тростинкой, кто сорванными лавровыми ветками. Немногочисленные родители, все

в черном, отчего их кожа и зубы казались еще желтее, улыбались с благодушной апатией.

Айви знала, что должна что-то сделать, но что?

– *Non avete pietà per questo animale disgraziato che soffre?*[30] — Итальянская фраза вышла вялой, без страсти и пыла.

Кто-то из черных взрослых хмыкнул, только наполовину понимая сумасшедшую *Inglesa*, машущую тонкими, как куриная дужка, руками, отчего ее смехотворные груди подскакивали под платьем, приличным разве что девочке на первом причастии.

Айви, хуже того, сама понимала, что сострадает так же заученно, как и говорит, и что причина ее волнения куда более личная.

Она прошла мимо пустых клеток туда, где стоял он, ероша волосы на затылке и с преувеличенным интересом глядя перед собой. Теперь она видела, что соседняя со львом клетка тоже занята — больным, жмущимся в угол волком.

— Какой стыд! Неужели ничего нельзя сделать? — спросила она громко, перекрывая рев и показывая на дразнящих зверя детей.

— Нет, — заверил он. — Будь мы местными,

---

[30] Примечания: 30

Неужели вам не жалко несчастного зверя? (*ит.*).

тогда… и того бы не сделали.

Они посмеялись, довольные своим иностранным, выше местного, уровнем.

Айви поняла вдруг, что заморенный волк значит столь же мало, как и лев. Он существует лишь потому, что они с Кларком Шеклоком стоят перед его клеткой, и перестанет существовать, как только они уйдут.

Она подумала, не сказать ли что-нибудь об их удивительной встрече, и решила не говорить. Это обратило бы ситуацию в шутку, в то время как жизнь со всеми уготованными ею проклятиями держатся на серьезности.

Шеклок, как видно, тоже понимал это. Он отбросил обычный шутливый вид, весь покрылся крупными каплями пота, и волны жара из его телесных глубин били в Айви, словно в скалу.

— Я вот думаю, не съездить ли нам в Сан-Фабрицио перед ужином. Такое зрелище нельзя пропускать.

— Да, не хотелось бы, но ведь вы уже были там утром?

— Имелда в первый раз только инвентаризацией занимается.

— Ну, тогда… — согласилась Айви.

Об отсутствии Имелды и Чарльза не упомина-

лось, но она успокаивала себя тем, что оба они знают о недомогании Чарльза.

Следуя с открытыми окнами сквозь влажную серую жару, она сочла нужным заметить:

— Я читала, что там великолепная панорама.

— Если смог позволит ее разглядеть.

Похоже, что не позволит: городские испарения множились вокруг, точно плесень.

— Я всё же надеюсь, — выпалила Айви, ухватившись на крутом повороте за ляжку Кларка.

Он точно не сам положил туда ее руку, поскольку смотрел с нескрываемым удивлением на тронутую веснушками кожу, на облагороженное временем кольцо, на истонченный тем же временем палец под ним.

С ее стороны это было, конечно, вульгарно, хотя опыт Айви по части вульгарности был невелик: она не обращала внимания, когда кто-то пукал, не реагировала на рискованные мужские шуточки и ни разу не напивалась пьяной, хотя порой интересовалась, каково это. Это не она, а трясучий «фиат», исторгнувший из нее теперь что-то вроде хихиканья. (То ли дело их с Чарльзом устойчивый «Ровер»!) Смех, преследующий их на поворотах, мог свободно принадлежать Обри Тиндаллу: отцу бы это понравилось.

— Вы сказали «до ужина»? — пролепетала она, убрав руку.

Кларк проревел, сам хихикнув (а может, и пукнув):

— Аньолотти! *В «Гаттопардо»!*

Следующий поворот уронил ее голову ему на плечо, но ухаб сразу же помог выправиться.

О мой серолицый страдалец! Айви старалась припомнить свою настоящую жизнь, но что значит «настоящая»?

Она держалась прямо несмотря на тряску и натертые мазью мысли, пока они не припарковались на одной из стоянок перед *duomo*[31].

— Сначала клуатр![32] — Кларк хотел выскочить из машины по-молодому, но немного застрял.

Айви проделала это более осторожно, пригнув голову и распрямив ноги, все еще приятно ее удивлявшие. (Никогда она не понимала его любви к этой Эмме ну грациозная красиво двигалась да подумаешь совершенство.)

— Боюсь, не разочаруюсь ли я, — сказала она, поправляя волосы.

— Клуатр попроще, — с некоторым беспокой-

---

[31] Примечания: 31
Купол (в соборе), а также сам собор (*ит.*).

[32] Примечания: 32
Клуатр — монастырский дворик, окруженный крытыми галереями.

ством предупредил Кларк, — но вы подождите до *duomo*. Думаю, там у вас дух захватит — не от фасада, а от того, что вы найдете внутри.

Она одернула себя за то, что уподобилась капризной английской борзой, и настроилась на обещанные ей чудеса.

Обри Тиндалл позволил им дойти до монастыря прилично, даже чопорно в ее случае. Надо будет запомнить все детали для бедного Чарльза.

Руки свои Айви всегда презирала — и старые с обручальным кольцом, и те, что втирали мазь в плечо Обри, и те с обкусанными ногтями, что ковыряли в носу. Только не мой «Лалик», Айви! Именно они разбили мамин бесценный флакон, а зови меня Обри лишь посмеялся над этим.

— Думаю, меня захватит всё в целом, — заверила она, продев свою руку под его, толстую.

Синхронно шагая, они приближались к дворику, который она могла найти чересчур простым.

Кларк один раз оглянулся через плечо, и она простила его: было бы куда хуже, если б он шел слишком легко и весело. Сама она назад не оглядывалась. Отпустив его руку, она промокнула саднящие глаза найденным в сумочке бумажным платочком, выронила его и осудила себя за это.

Клуатр Сан-Фабрицио оказался еще проще и

суровее, чем она ожидала. Медные пропыленные лучи пронзали его сердце сквозь робкие облака, не исторгая, похоже, крови: земля в зачахшем саду спеклась, растрескалась, и лишь самые стойкие растения, привычные к засухе и заброшенности, пережили сицилийское лето. Парным витым колоннам следовало бы чувственно изгибаться, а не стоять пассивно. Закатное солнце изредка зажигало — скорей стеклянным, чем огненным блеском — глаза, которыми зодчий снабдил их, но куда чаще натыкалось на пустые каменные глазницы. Арабские символы веры смотрелись бы здесь куда убедительней, чем экстатическая христианская мистика.

— Я не разочарована, но все-таки другого ждала, — заявила она с интонациями и улыбкой подлинной ценительницы искусства.

Кларк ответил ей подобающе сдержанным смехом:

— Подождите, мы ведь не для того пришли.

Ее уверенность снова поколебалась: сможет ли она оценить *duomo*? Сможет ли подавить достаточную долю того, что любит, чтобы принять то, что внушает ей страх? *Бог, Троица* — даже сами слова заставляли ее поскорее перевернуть страницу, поскольку выходили далеко за пределы

того, что они с Чарльзом согласились считать приемлемым.

— Верно, — хихикнула она в ответ на встревожившее ее замечание, — не для того. — Смешок придал ей смелости продвинуться еще дальше в непохожести на себя; в перспективе она могла даже преодолеть укор арабского аскетизма, державшийся в насквозь продуваемом дворе наряду с ее рациональными принципами.

— Не гарантирую, что вам понравится, если вас романский стиль не заводит, — чуть ли не прокричал он.

Ей показалось, что он дрожит, и она протянула руку удостовериться. Может быть, пока она надеялась, что упругий соблазнитель поспособствует ей в моральном самоубийстве, более роскошном, чем она когда-либо замышляла, он планировал перевести ее в безопасное место по собственному подвесному мосту?

— Посмотрим, — заключила она.

Возобновившиеся смеховые спазмы прижали ее к нему. Они оставались в таком положении дольше, чем было удобно, ее сушь против его мокрой рубашки и да, упругой, каучуковой просто груди, но это больше ободрило ее, чем шокировало.

— Держись, девочка! — Она не знала, в самом ли деле слышала это, но уверенность ее возросла.

Теперь она была готова к встрече с *duomo* со всеми его открытиями и проклятиями.

— Но нам ведь не туда, Кларк? — Ее «р» набралось раскатитости. — Куда мы идем, Кларрк?

— Сначала на террасу. Надо, чтобы огни зажглись.

Она подчинилась, недовольно ворча. Можно было подумать, он уводит ее с танцев, где ее ждал верный позор, держа ее сухую руку в своей, тяжелой и влажной, ее белое платье в сумерках, листья цимбидиума, понимающие смешки с забитых под завязку скамеек. Она споткнулась, вот неуклюжая. (А вдруг полиомиелит, на Сицилии всё возможно.)

— Вот вам и панорама. — Он предлагал ей другой жанр, возможность сменить физический контакт на каменный парапет.

— Холодно, Кларк. — Она накинула невесомый, невидимый газовый шарф. — Пойдемте лучше в *duomo. Он будет chiuso*[33], *если не поторопимся.*

Бриз сдул часть пара с городского котла. Огни загорелись, вокруг запахло растительностью и

---

[33] Примечания: 33
Закрыт (*ит.*).

гнилью. Ей представилось, как гигантское фиговое дерево качается в ночи, тряся черными волосами. Представилось, как набухли ее груди под белым плиссированным платьем.

— Вы правы, пойдемте, не то вечерню пропустим. — Не перекрестился ли Кларк в темноте?

Мужчинам следует быть храбрее. В целом они и правда храбрее женщин. Это она содрогается от ужаса, как будто отец предложил ей какое-то неприличие и она знает, что способна на это. Ей предстоит взмыть ввысь или рухнуть в бездну по собственной воле.

Пройдя сквозь густеющий мрак так быстро, как только позволяли ее неуклюжесть и дремлющий полиомиелит, они достигли раскрытых дверей.

На входе она отпрянула. Вернулось мерзкое впечатление детства, когда один такой выскочил из кладовой для мяса и ударил ее в лицо. Что там, под панцирем? Ну конечно, scarafaggio![34] Черный. Ничего не оставалось, как только размазать его по узорному мрамору.

Чарльз побрился (флюс осложнял дело), натер подмышки дезодорантом, надел темный костюм,

---

[34] Примечания: 34
Таракан (*ит.*).

который они отдавали в глажку — скорей по привычке, чем в ознаменование чего бы то ни было. Галстук, тоже темный, в узкую белую полоску, мог быть клубным или школьным, но не был. (Айви купила его, думая, что ему понравится.) Заправив в нагрудный карман спрыснутый одеколоном платок и посмотревшись в зеркало, он подумал, что незнакомцы, особенно иностранцы, могут счесть, что он выдает себя за кого-то другого. Эта мысль возникла в том числе из-за флюса. Чарльз вспомнил, что у него болел зуб. Повторное мытье рук входило в набор его ритуалов — он как будто готовился осматривать пациента.

Пациенты любили Айви, присылали цветы ее телефонному голосу. Он чуть не задохнулся от духов в тесном лифте, но выскочил как раз вовремя — к вазе с пластиковыми туберозами, над которыми кружила живая пчела.

В салоне было практически пусто, не считая пары неизбежных голландцев. В дальнем углу сидела с книгой (вернее, с двумя) их американка, поставив свою вместительную кожаную сумку на ковер рядом. Он не подошел к ней отчасти из уважения к ее неамериканскому занятию, но больше из-за того, что за их дружбы всегда отвечала Айви.

Сев в другом углу, напротив миссис как там ее — Скадамор? — Чарльз заказал скотч с содой и приготовился к худшему. (Будь с ним Айви, они бы пили кампари, это же намного дешевле, милый. Не намного, но он ни за что бы не стал ей перечить.)

Вот дождется ее, и они пойдут ужинать. Предсказывали лунное затмение: он видел уже несколько таких и одно солнечное — в двенадцать, через закопченное над свечой стеклышко. Несколько раз избежал конца света, который некая эзотерическая организация теперь предсказывает опять. И как его угораздило родиться неверующим? Хотелось бы верить хоть во что-то — не в Бога, это уж слишком претенциозно, — в конец света хотя бы.

Он откашлялся и подумал, не подойти ли к американке, но так и не подошел.

Не забудет ли Айви посмотреть на луну в этом несчастном саду? Надо было напомнить ей. О конце света они ни разу не говорили — каждый заранее знал, что другой даже думать ни о чем таком не желает. Природа и образование чудесным образом избавили их от ожидания апокалипсиса.

Чарльз испытывал сомнения только во сне, в

полусне и в приступах боли, но сейчас зуб у него прошел.

Он сидел на краешке стула, ни о чем особо не думая, и рассматривал свои руки. Ему нравилось думать, что они не столько чуткие (опять-таки претенциозно), сколько рабочие; не руки творца, но много раз помогали продлить чью-то жизнь — трудно сказать задним числом, к добру или к худу.

Задним числом его зазнобило. Он сцепил руки в замок и покосился на американку — заметила она или нет. Вряд ли, Айви никогда не замечала. В его мыслях ни намека на кровь, все его убийства слишком методично продуманы. Он боялся только, что его обвинят в том, что он сотворил неумышленно. Маленькие девочки; ни о чем не подозревающие старухи с пульсирующими зобатыми шеями; его драгоценная Айви с булькающей и брызжущей трахеей в пыли.

Он снова глянул на миссис — Шеклок? — но она листала свои книжки, будто искала ответ в той, что поменьше. Его удивляло, что ей, что кому бы то ни было кроме Чарльза Симпсона, нужно непременно подтверждать что-то.

Подойдя к ней, он спросил:

— Вы знаете, что сегодня должно быть затме-

ние?

— Да, Кларк, кажется, говорил что-то.

Она улыбалась, но Чарльз не чувствовал, что эта улыбка предназначена ему персонально. Однако она отложила книгу, закинула руки за голову, и обвила белыми мускулистыми икрами ножки стула, словно он, появившись в ее орбите, явился для нее скорее приятной неожиданностью, чем докучным вмешательством.

Чарльз взглянул на запястье.

— Если выйдем на улицу, можем его увидеть.

— Оставляю это Кларку. Астрономия — не моя тема.

— Какая же тогда ваша? — Он зачем-то сел рядом с ней, говоря как напыщенный педант с миной неумелого любезника.

— Да я вообще круглая невежда.

Он почти соприкасался коленями с этой сливочной богиней, чья невозмутимость придавала ее зевкам, икрам и даже признанию в невежестве некое растительное достоинство.

— Кларка это устраивает, — продолжала она. — Я могла бы научиться всему, что он и все прочие от меня ожидают, не такая уж я тупица. Но пришла к выводу, что куда лучше просто существовать. Разве плохо?

Будь она богиней или обыкновенным овощем, ему казалось, что из них двоих невежда именно он. Но Имелда Шеклок, как видно, об этом не ведала — может быть, ее целиком занимало то, что она называла существованием.

— Счастливее всего я была, когда мы только что поженились и жили в Вермонте. У нас был каркасный дом и не так много денег — если сравнить с тем, сколько стало потом. Я сама пекла хлеб. Запах хлеба и запах снега самые чистые из всех. Снег лежал почти всю зиму, и я кормила животных, которые приходили к дому. Знала их всех и знала каждый дюйм дороги, ведущей в город, потому что таскала на себе все покупки.

— Муж вам не помогал?

— Помогал, но Кларку всё быстро надоедает. А я пыталась тогда стать писательницей.

— Разве он сам не пишет?

— Нет-нет. Вовремя осознал, к счастью, что это не для него. У него появились деньги, и он приобрел Бертонвильского Гойю — ну, про это вы уже знаете. — Ее большое сливочное лицо принимало его посвящение в культ как должное. — Всё зависит от того, как смотреть, как к этому относиться. Гойя, даже подлинный, не для всех, но это не отменяет его, ведь правда? Отмена значила

бы, что миру недостает поэзии, или безумия, или чего угодно. Поэтому моему Бертонвильскому Гойе нужно позволить существовать для меня и для пары-тройки других людей, потому что это одно из окон. Вы понимаете, правда? Кларк не хочет понять.

Чарльз не понимал, но поскольку он ничего не смыслил в искусстве и нервничал из-за этого, то пробормотал «да», которое можно было принять и за «нет», успокоив тем свою совесть.

— Кларк хочет поклоняться, — продолжала Имелда, — но не прощает изъянов. И в искусстве, и в людях, особенно в женщинах. (В других обстоятельствах бдительность Чарльза могли бы усыпить и мраморные позы богини, и особенно, палимпсест ее откровений.) — Это не дает ему покоя, гонит открывать что-то новое. — Она смотрела на Чарльза с серьезностью, которую ее отстраненность еще более углубляла. — Бывает, что и в буквальном смысле — видит Бог, мы всегда в дороге, — но я скорее имела в виду его отношения с людьми. И картины, которые он собирает. Отказавшись от мысли стать писателем, он полагает, что в нем таится художник. Но он всегда заканчивает там, где и начал: его тормозят изъяны, главный из которых — он сам.

Чарльз пришел к столь ясному пониманию Кларка Шеклока, что мог написать его портрет, если б умел: глаза, горящие от лихорадки вечных исканий, губы, отполированные множеством «отношений», и пара прозрачных яичек, одно из коих значительно ниже другого.

Он закашлялся от таких мыслей.

— Я люблю его, — сказала Имелда с контральтовой серьезностью, в которой специализируются американки.

Чарльз и Айви не употребляли слова «любовь» даже между собой, не говоря уж о незнакомцах.

— Как по-вашему, «фиат» — приемлемая машина? — спросил он поэтому и добавил без надобности: — На ходу то есть?

Миссис Шеклок отнеслась к его вопросу как к естественному результату их разговора.

— Неплохая, учитывая, что мы взяли ее напрокат. Будь она нашей, другое дело. — Обсудив «фиат» не менее серьезно, чем своего мужа, она тоже посмотрела на часы — самые обычные, с потрепанным мужским ремешком. — Кларк, наверно, решил съездить в Сан-Фабрицио еще раз. Некоторые считают мужа поверхностным, но я-то знаю — да и пора бы мне знать, доктор Симпсон, — как устроен Кларк Симпсон. У него

свои законы и свое восприятие. Он всё исследует на свой лад, будь то церковь или живой человек.

Чарльз съехал на самый край стула.

— А с вами он делится своими исследованиями?

— Я не поощряю этого. Никогда. Реакции чуткой души слишком чувствительная материя, не находите? И потом, если тыкать палкой вокруг, можно наткнуться на такое, что вам совсем не понравится. Мы это по опыту знаем, не так ли, доктор? По собственному опыту.

Имелда стряхнула свободно болтающиеся часы вниз, на внутреннюю сторону запястья. На той же руке она носила этот дремотный камень, стоящий, должно быть, целое состояние. Чарльза подмывало спросить, что это — знак любви или просто вещь, с которой ее муж установил чуткую, но недолгую связь. Айви позабавила бы эта мысль — в других обстоятельствах.

Айви Симпсон и Кларк Шеклок очутились в кристалле света и отраженного звука. Слова псалмов капали сонно, как воск: «*il suo cuore è saldo perché confida nel Signore, il suo animo è tranquillo;*

non temeràed infine vedrà la rovina dei nemici»[35], *когда не восходили ввысь с дымом: «…ma il desiderio dell'empio è destinato a perire…*»[36]

Отдельные слова зримо мерцали, прежде чем стеклянно рассыпаться. Святым, заключенным в свои золотые зеркала, с трудом, должно быть, верилось в то, что они видели и слышали за столько веков, не говоря уж о настоящем. Айви отвращала от них лицо свое. Если повезет упасть в обморок, ее вынесут, избавив от позора, который ей уготован; альтернатива, дрожащий апофеоз перед взором Вседержителя, страшила ее куда больше. (Как она объяснит Чарльзу свое отступничество?) Взять и прилечь перед теми стульями… нет, слишком аккуратно для обморока, подумают еще, что это сердечный приступ. Но другой ее план до того тяжел, что придется, как видно, осуществить этот. Обри позаботится, чтобы Кларк не упустил своего; один гнусный самец толкает другого в западню, которую она помогла устроить. Она наперед слышала, как трещат стулья, как проваливаются плетеные сиденья и

[35] Примечания: 35

Сердце его твердо, уповая на Господа, и душа его спокойна; не убоится, когда посмотрит на врагов своих (*ит.*).

[36] Примечания: 36

Вожделение же нечестивца обречено на погибель (*ит.*).

подламываются ножки под двойным весом. Все оборачиваются, шумно дыша, шелковая лестница литургии порвана. Глаза жаждут поучаствовать, отправляющий службу священник больше всего озабочен тем, что предусматривает инструкция в таком случае.

Пока что он, предсказуемо толстый и волосатый, служил перед столь же предсказуемой паствой. Старухи; женщины с букетом увечий; пара-тройка хилых мужчин; девчонки, прыщавая и анемичная; пара монашек — под голубыми рясами проступают толстые спины; карлик-брахицефал, у которого видны только лоб и глаза.

(И я одна из них? Если есть хоть малейшая опасность, надо всеми силами этому помешать.)

— Знаете, Айви, — сказал Кларк, понизив голос из уважения к верующим, — время мы выбрали хуже некуда. Теперь к алтарю не сунешься, а я, помимо прочего, хотел вам показать еще и гробницы. Но главное все-таки общее впечатление — думаю, вы со мной согласитесь. Дневной свет и путеводитель вам его не дадут.

Если он намерен обратить ее посредством благочестивых речей, она будет сопротивляться ему даже и на его территории.

— Архитектура превосходна, — сказала Айви,

воздев очи и скривив рот, — с этим я соглашусь.

Кларк выпучил глаза так, словно на ее месте оказалась его жена.

— Вы определенно первая, кто проявляет такую сдержанность к Сан-Фабрицио.

— Не то чтобы сдержанность, но у меня есть свои рамки. С каким бы презрением вы к ним ни относились.

— Одна мозаика чего стоит! — В порядке убеждения он схватил ее за руку. — Посмотрите, вот «Сотворение мира» в нефе…

Чувствуя, что на них смотрят… *come era in principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli*[37] …они передвигались маленькими шажками, по-крабьи.

— Это «Проповедование святых Петра и Павла». А в алтарной части, куда сейчас пройти не получится, можно увидеть прекрасные «Страсти».

(Страсти какое страшное слово кровавые слезы ты-то никогда их не проливала мертвый ребенок не то что живой даже не мертвый муж в таком невероятном случае ты могла бы склонить голову вместе с этими дамами цвета пыли калеками потерянными душами поучиться у монахинь

---

[37] Примечания: 37
Ныне и присно и во веки веков (*um.*).

восхождению по молитвенной лестнице.)

— Но самое лучшее здесь — Вседержитель, Айви.

Она не для этого пришла в Сан-Фабрицио с Кларком Шеклоком, заурядным потным американцем. На Вседержителя она не станет смотреть. Зажмурится, замкнет разум перед двоемыслием. Познает свое вульгарное, плотское «я».

Она уронила сумочку. Та не разбилась в отличие от маминого «Лалика», но Обри, она знала, одобрил бы это.

Когда Кларк поднял сумочку с мозаики Космати (прекраснейшей, как сказано в путеводителе), Айви вцепилась в него, ища спасения в его массе. Под взором Вседержителя. В окружении сухопарых святых. Суровость слов восходящих ввысь. *«Tu della luce splendida Creatore mirabile che tra la luce fulgida al mondo desti origine…»*[38]

— Что с вами, Айви? Вам нехорошо?

Еще как.

— Все в порядке, — усмехнулась она, — только… пойдемте, Кларк.

Ее могло бы стошнить от бурой требухи, которую они собирались подвесить на проржавевших

---

[38] Примечания: 38

Ты есть свет сияющий, Господи, дарующий свет миру со дня сотворения (*лат.*).

гвоздях под стеклянным *duomo*, но она уже тащила Его (своего Возлюбленного) в темный боковой придел, спотыкаясь на пыльном ковре вздыбленного мрамора.

— А у вас хороший инстинкт, — сказал, пыхтя, Кларк. — Может, и не того класса, что Караваджо, но для Рени неплохо. Воздадим ему должное.

Полумрак почти не позволял разглядеть лицо святого на полотне (инстинктов у нее меньше, чем у *scarafaggio), а кинематографичные выражения человеческих лиц открывались только с крупного плана.*

По причине, которую и он, наверно, начинал понимать, их обоих разбирал смех. Его жирные складки терлись о нее, вызывая приятные ощущения.

Жирное «я», скрываемое мной, никогда не воздавало мне должного, осознала вдруг Айви.

Смех вырвался и отрикошетил.

Одна из изможденных дам, принимавших участие в той другой церемонии, повела носом в сторону неприличного шума. Ноздри чуяли кощунство, хрящ обвинял (насколько позволял рассмотреть кружевной шарф цвета ладана). Благочестие или частичная глухота вскоре умиротворили ее, но Айви продолжало распирать от

непристойного смеха.

— Бисквитные пальчики! — вырвалось из нее, точно резинка лопнула.

Кларк колебался между разделенным весельем и подавленным ужасом. Прихожане, замечал он или нет, сливались в сплошной беж, орошенный светом, — за исключением карлика, чья чудовищная голова составляла свой собственный темный мир, и, конечно, голубых, начиненных салом монашек.

Он уж точно никогда не поймет, как ей больно от смеха, жмущего ее к нему, и от памятных слов *не могу понять Айви как кого-то из Тиндаллов угораздило зачать такой вот бисквитный пальчик* после того, как полные губы отвергли противный на вкус напиток.

Кларк, втянутый в водоворот плохо сдерживаемого смеха, хватался за Айви — или она за него? Трудно разобрать в такой темноте. Она определенно нуждалась в поддержке, как бы зверски ни царапали ее его пуговицы.

— Только б не упасть! — прыснула она.

Из света к ним обернулось несколько анонимных лиц, но вера, безусловно, хранила прихожан от чумного поветрия. Шелковая лесенка, которую плел священник, мешала предаться фантази-

ям. Что до самого священника, он вряд ли мог слышать что-то кроме собственного голоса. Этот голос, набирая реальность, бил по ее совести кулаками.

Зато ее спутник, как видно, уже подцепил заразу: на это указывал лихорадочный жар его щеки во время их совместных корчей среди потухших свечей этого адова грота. Вокруг пахло мертвым воском. Стеклянные святые, которым следовало бы отпрянуть в негодовании, сохраняли благодатный покой.

Не пора ли, однако, верным получить воздаяние?

— А когда они причащаться будут? — с боязливой надеждой спросила она.

Чарльзу, если б он слышал, такой вопрос показался бы не слишком предосудительным — протестантским, можно сказать, даже социологическим.

— Во время вечерни не причащают, — авторитетно ответил Кларк.

Католик, точно католик, как она и подозревала; таким образом, она совершает тройное кощунство: против своего честного мужа, против их общего просвещения и, самое тяжкое, против их взаимной любви.

Теперь смеялся один Обри Тиндалл, сластолюбец, ни разу в своей жизни ее не признавший и не покидавший Айви всю ее жизнь.

Происходящего должно было хватить ей с лихвой, но она представила, с какой жадностью поглотили бы облатку монашки, и пожалела, что не сможет заодно свершить кощунство и против Святого Духа.

От собственного голода, от смеха или от чего-то еще она пустила слюну — мокрый подбородок давал знать об этом.

— Это серьезно, Айви. Давайте я принесу…

Колоколом, книгою и свечою отлучаю тебя.

— Нет, Кларк, останьтесь, поговорим. О личном только и можно так, понимаете?

Он не понимал, потому что было темно.

— Но вам нехорошо, вы больны, Айви.

В пыльном воздухе от его слов пахло мужским испугом. Они бились, как две выброшенные на берег рыбы, одна разбитая морда к другой, на вздыбленной мозаике косматеско. Она обхватила его плавниками, как и было задумано, обхватила скользкими ляжками. Из глаза, следящего за ними из стеклянного купола, скатилась слеза.

И мы плывем соединенные долгое время спустя после тушения огней иногда гигантского дель-

фина седлаю я иногда мои косточки трещат под немыслимым весом падение дает силу чем ниже падешь тем легче выжить не падешь собственно, а воспаришь во мрак который не мешает виденьям я сама стала видением набирая высоту сквозь закопченную листву над лишь слегка шершавыми башнями и куполом я заглядываю в коробку где мой Возлюбленный Муж сбросив с себя простыню восстает из серых складок на желтой кровати вновь предлагая себя в жертву под угасшим акриловым светильником.

Она чувствовала оживающими пальцами узор косматеско. В соборе царил бы кромешный мрак, но стеклянный купол пропускает какие-то слабые проблески. И она не одна здесь, потому что над ней и вокруг нее кто-то дышит. Лица коснулась гроздь бананов или большая рука, щеку задело что-то холодное и тяжелое — не браслет ли?

— Вы как, Айви? — вопрошал Кларк заметно дрожащим голосом.

— Где мы? — спросила она, хотя и так было ясно.

— Там же, где и были.

— Но тут темно!

— Да. И нас, похоже, тут заперли.

От раздражения она чуть не укусила руку, про-

должавшую ее теребить.

— Что? Как же вы допустили?

— По правде сказать, я нарочно затаился, чтобы нас не нашли.

Она стала пробираться ощупью сначала мимо его ляжек — Кларк Шеклок занимает так много места, что его никак не минуешь, — потом через разбавленный светом мрак.

— Но как же Чарльз? Он ждет ужина!

— Они оба будут беспокоиться, что нас нет. — Стены превращали слова Кларка в хорал.

Айви натыкалась на стулья. Они с визгом скользили по мрамору, падали и даже ломались, кажется.

— Притормозите, Айви! — увещевал Кларк. — Если разойдемся, можем вообще не найти друг друга.

Отчаявшейся Айви требовалось кого-нибудь обвинить.

— Сами загнали нас в западню, сами и думайте, как нам выйти. Должен же здесь быть какой-то запасной выход? — Ей ничуть не казалось странным, что она кричит в покинутом duomo на ненадежного и крайне неприятного чужого мужчину.

Они поодиночке бродили во тьме. Какая-то ме-

таллическая птица вонзила клюв в плечо Айви. Если она сломает себе что-нибудь, страдать будет Чарльз, а не этот американец.

— Айви? — Этот шумный — Кларк, что ли? — нашел ее и снова норовил схватить за руку. — Не теряйте голову. Вместе мы скорей найдем выход.

Благоразумие заставило ее послушаться, и они стали блуждать вместе, все так же наугад — а как иначе, тут и при свете дня заблудиться можно. Пробирались во тьме рука об руку, как любовники, из которых страх вышиб всю любовь.

Ему вспомнилась дверца где-то около алтаря — если они, конечно, до нее доберутся.

— Да? Конечно, дверь должна быть — и не одна! Вдруг здесь случайно запрут священника!

— Ну так что ж, проведет ночь в молитве, — сказал Кларк Шеклок — а она уж было начала радоваться, что он здесь, рядом с ней.

Она не выносила этого человека, но вынужденно подчинялась его потной руке.

— Представьте, каково это — совершать бдение со святыми, — ободрял Кларк. — Они всплывают медленно, как рыбы в аквариуме, стряхивают воду — и загораются.

Нет, это просто невыносимо. Чарльз поймет, конечно, что она задержалась не по своей воле —

но что, если он подумает, как и она подумала бы в такой ситуации, что с ней случилось нечто ужасное? Боже!

— Что вы делаете? — спросила она гадкого американца как можно угрюмее — хотя и так было ясно, что.

Огонек зажигалки высветил его брыластые, розовые недавно щеки. Теперь на них проросла черная щетина, удобренная потом и страхом.

Далее ей открылись тощие ноги и скульптурные подолы святых, горящие в стеклянной вечности.

И маленькая бронзовая дверь.

— О, Чарльз… Кларк! Думаете, мы сможем ее открыть?

Если надо она переломает все ногти на своих неумелых пальцах помощи ведь ждать не приходится уж точно не от него.

В итоге она только костяшку слегка оцарапала — засов открыл Кларк. Ей не понадобилась помощь для выхода от спящей заплесневелой тьмы в другую, активную.

— Ну, вот видите — проще простого, — пропыхтел он.

— Не знаю уж, что мой муж подумает, — забормотала она, — бедняжка, с больным-то зубом —

ждет ужина. Он пытается что-то съесть, но ему даже пасту больно — ну, вы понимаете.

— Имелда вряд ли забеспокоится. Я человек ненадежный, она к этому привыкла с годами.

Айви охватывала слабость — оно и неудивительно.

— Ну и напугали же вы меня, — вспомнил Кларк, ища ключи от машины. — Но всё вышло отлично, ведь правда? Сан-Фабрицио прекрасен в любых условиях. Дионисийские полутона, вот что Имелда так и не научилась улавливать.

Грязная бесформенная луна прорезывалась обратно. Миссис Симпсон не видела, но угадывала его отвратительную усмешку над крышей машины.

— Я не совсем понимаю, о чем вы, — произнесла она ровным голосом.

Она могла бы и промолчать, если б думала, что он предложит какое-то объяснение. Ей и Чарльзу, с которым она сходилась почти во всем.

Вестибюль никогда еще не казался таким пустым и безличным. Ночной портье, самый грубый из всех, не желал признавать пару, пришедшую извне к стеклянным дверям. Миссис Симпсон анонимность устраивала. Она не помнила, чтобы она или мистер Шеклок приводили себя в поря-

док после бегства из duomo и, ценя опрятность превыше всего, остро чувствовала состояние своих волос, помятость платья, пыль — если не гальку — на хрупких лопатках.

Она расправила плечи. Ее спутник, к счастью, походил разве что на ходячую губку.

Чарльза, сидевшего к ней спиной, она заметила почти сразу. Ситуацию нормализовало то, что флюса не было видно. Ей хотелось броситься к нему и чмокнуть его в затылок, но она боялась, что ее губы будут дрожать, да и затылок отталкивал ее какой-то византийской суровостью. (Не забыть поделиться этим наблюдением с Чарльзом; он любит, когда она излагает свои впечатления в свете искусства.)

Сдерживала ее также и миссис Шеклок, сидевшая в противоположном от Чарльза углу. Та читала, вернее штудировала, какую-то книгу, то и дело заглядывая в другую, поменьше — вероятно, карманный словарь. Миссис Симпсон позавидовала спокойствию ее круглого сливочного лица и неприязненно отнеслась к полным ногам без чулок — американка сидела к ней боком, ничего не замечая вокруг.

Под носом у ворчливого портье, зная, что непосредственность у нее всегда выходит наигранной,

миссис Симпсон решила все же рискнуть.

— Бедняжки, вы, наверно, навоображали себе невесть что! — Она старалась улыбнуться как можно шире — оставалось только юбкой покрутить для полной картины.

Вслед за ней на сцену вышел и мистер Шеклок.

— Мы ездили в Сан-Фабрицио — жаль было упустить случай, ведь Айви его еще не видала. — Он тоже улыбался, но у него это получалось естественнее.

Миссис Шеклок улыбалась не столь широко потому лишь, что оторвалась от книги только наполовину.

— Я так и думала, — сказала она, подняв голову и веки одновременно — не столько для простых смертных, ожидающих ее милости, сколько для более абстрактной аудитории.

Первое впечатление не обманывает, подумала миссис Симпсон. Миссис Шеклок глупа как пробка.

Эти Шеклоки! Ее волнует только ее бедный Чарльз, никто более. Он уже шел к ней. Она хотела посмотреть, не прошла ли опухоль, но первым делом посмотрела ему в глаза — убедиться, что истина для него по-прежнему превыше всего.

— Пришла! — сказал Чарльз совсем просто. —

Ну и правильно сделала, что поехала.

Он протянул ей руку, которую Айви, не будь здесь Шеклоков, взяла бы менее снисходительно. Знакомое сухое пожатие, знакомые пальцевые суставы (у них обоих руки сухие и начальная стадия артрита, согласно диагнозу доктора Симпсона).

Опять-таки из-за Шеклоков она воздержалась пока от вопросов о зубе, сказав вместо этого:

— У меня одна мечта — ванна! — И засмеялась, смущенная произнесенной банальностью — с ней это часто бывало. — А вот на вас, миссис Шеклок, жара нисколько не действует! — Новый смешок.

Миссис Шеклок, обдумав ответ, решила, видно, не приписывать себе лишних заслуг.

— Я весь вечер только и делала, что работала над своим итальянским, благо кондиционер сегодня работает.

— Вы не говорили, что знаете итальянский! — Удивление и энтузиазм помешали миссис Симпсон расстроиться.

— А зачем? Это самое малое из моих достижений.

Миссис Симпсон, всегда старавшаяся не заглядывать в книги, которые читали ее друзья и даже

незнакомые люди, на сей раз не удержалась:

— Что вы читаете?

— I Promessi Sposi[39].

— Классика, да. Но очень скучная, как я слышала. Говорят, даже итальянцам трудно дочитать ее до конца.

— Ну, я ведь из стайеров. Постараюсь.

Каждая пара, похоже, ждала, когда другая направится к лифту: из салонного вакуума другого исхода не было. На кнопку вызова нажали в конце концов Симпсоны — одновременно.

В тесной алюминиевой кабинке трясло больше прежнего. Айви жмурилась от яркого света.

— Не вижу, зачем нам дальше мучиться на этой проклятой Сицилии, — сказал Чарльз — не лифт ли из него это вытряс? — Ты ужасно выглядишь, Айви.

Вот теперь, когда они наконец остались одни, и спросить бы про зуб, но она, преисполненная благодарности, не спросила.

— Да, оставаться было бы глупо, — согласилась она.

У нее еще много времени впереди, чтобы лелеять его распухшую щеку — мысленно то есть,

---

[39] Примечания: 39

«Обрученные» (*ит.*) — роман Алессандро Мандзони (1827).

физические проявления не в их характере.

— Знаешь, — сказала она, преодолев комок в горле, — я все-таки заказала билеты на завтра, в полдень, — на случай, если мы не сможем больше терпеть.

Она приоткрыла глаза. Чарльз, конечно, смотрел на нее, куда еще смотреть в такой тесноте. Она знала, что он оценит ее благоразумие, как бывало всегда.

— Только про стирку не забудь, Айви, — забеспокоился он.

— Да, я помню. (Вообще-то забыла начисто.) — Потребуем прямо с утра, чтоб вернули.

— Должны вернуть. Хотя круглосуточное обслуживание, заявленное в проспекте, просто обман.

Они стояли к двери спиной и могли не заметить, что она открывается, если б в их алюминиевое пекло не ворвался легчайший вздох.

Она забыла спросить про зуб, чтобы не забыть утром спросить про стирку и чтобы в эту последнюю (слава тебе господи) ночь написать письмо Кларку Шеклоку. Зачем бы, кажется, писать случайному знакомому в иностранном отеле, но мама ее так воспитала *(дорогая убрать за собой как и выразить признательность ничего не стоит).* В неопрятности ее никто бы не обвинил,

а в качестве жены врача она никак не могла поддаваться вульгарным импульсам, проявлять забывчивость и поощрять низменные эмоции.

Она пробудилась от изнурительного полусна с содроганием, в неудобной позе — неудивительно, что в памяти застрял образ большой скользкой рыбы. И нашумела, должно быть, но Чарльз, *милашечка*, спал себе дальше, на что только мужчины способны.

Итак: *«Дорогой мистер Шеклок»*. И миссис тоже? Можно, конечно, и ей написать, исключив его; странно, почему ей раньше в голову не пришло — вежливое безличное письмецо. Хотя нет, вряд ли. Имелда сама такая безличная. Читать прилюдно «Обрученных» в оригинале, подумать только.

Тогда *«Дорогой Кларк»*? Ну уж нет! Она снова уснула наполовину, но проснулась, однако, рано. Лучи света, которые позже сгустятся в каучуковые полосы, лежали на пыльном ковре в относительно бледном, невинном виде.

«Дорогой мистер Шеклок», начала Айви, не зная, как продолжать. Но продолжение последовало быстро то ли благодаря гостиничной бумаге, делавшей этот акт менее личным, то ли потому, что она ночью разрешила часть своих

затруднений.

«…сообщить Вам в этом коротком письме, что нездоровье мужа вынуждает нас уехать раньше, чем мы надеялись и планировали. Утром мы улетаем в Рим. Можете легко себе представить, как мы разочарованы. Не увидеть Эриче и пьяцца Армерина — настоящий удар!

Лишь благодаря Вам и миссис Шеклок мы увозим с собой воспоминания более благоприятные, чем они были бы без знакомства с вами. Вы помогли нам миновать самые опасные сицилийские мели…»

Нет, это как-то не очень. Не слишком ли далеко она заходит? И не слишком ли абстрактно выражается, учитывая, как далеко зашла?

«Чарльз, на чье суждение я всегда полагаюсь — оно почти каждый раз совпадает с моим, — мог бы счесть мои сицилийские впечатления странными, но Вы, с кем я была в Сан-Фабрицио…»

Нет, не станет она впускать этого Шеклока в свой мир расплавленного стекла.

«…лучше поймете, что напряженные и весьма неприятные последние дни усилили его действие на мою нервную систему до крайности.»

Она отстранилась и написала:

«Искренне Ваша Айви Симпсон».

Будь она менее искренной, целое сочинение настрочила бы, наслаждаясь своим умением искусно лавировать. Но лучше уж скрыть свой — нет, не позор: никто, кроме разве что Шеклоков, не вправе судить ее мысли. Она лизнула кромку конверта, приятно пахнущую, но на вкус горькую.

Вопреки Чарльзу, который не хотел сообщать об отъезде американцам (еще в аэропорт потащатся, чего доброго) она отдала письмо портье, когда они расплатились.

— Per il Signor e la Signora Shacklock, — на безупречном итальянском сказала она, хотя письмо предназначалось только ему.

— Мистер и миссис Шеклок утром выписались, — ответил по-английски портье, даже в книгу не заглянув.

— Вот как? Вы уверены?

— Раз говорит, значит уверен, Айви.

А она-то считала этого портье симпатичным.

— Если они, как вы говорите, уехали, то должны были оставить адрес, по которому им писать? — упорствовала синьора Симпсон.

Портье соизволил свериться с записями и ответил мрачно:

— Адреса нет.

Его нахмуренная физиономия и сальные губы могли бы стать ее последним впечатлением от ненавистного города, если б не аэропорт, где толпы дядюшек, тетушек и кузенов встречали рейсы с Пантеллерии, с Липари, с Лампедузы, из Рима.

И расплавленное стекло Сан-Фабрицио о Боже до сих пор колыхалось в ней.

На углу пьяццы недалеко от гостиницы, где они обычно останавливались, Чарльз купил очередную жуткую гребенку у подслеповатого уличного торговца.

— Скажи ему, Айви. По-итальянски.

– *Il signor desidera un pettine*[40]. — Желание Чарльза, переданное ее мелодичным вибрато, звучало скорее как просьба.

Он накупил уже кучу таких гребенок — у нищих, лоточников, калек, слабоумных, в большинстве мошенников скорее всего. Она натыкалась на эти покупки в ящиках комода, в карманах пальто, в чемоданах, в автомобильном бардачке, даже у него в мастерской. Из-за них-то, помимо прочего, она за него и вышла, хотя тогда еще не знала о них.

— Не заглянуть ли нам в нашу церковь, Айви?

---

[40] Примечания: 40
Синьор хочет купить гребенку (*ит.*).

Вспомнить старые времена? — предложил он с извиняющимся смешком.

— Почему бы и нет. — Сейчас ей хотелось одного: дать ногам отдых в тишине и прохладе.

Зимнее солнце все еще ослепляло ее, когда они в сумерках сошли с поезда. Обри потащил ее с собой в горы, и ей это даже понравилось: можно было не вслушиваться в его монолог, который порой вообще прерывался, подавленный окружавшей их тишиной. Их разделяло благословенное молчание и солнечное кружево синих листьев.

Плоский воздух города и слизистый блеск его улиц поначалу казались невыносимыми. Она тут же надулась и плелась позади нога за ногу. Впереди ожидали долгая паромная переправа и математика, с которой надо успеть до утра.

Церковная музыка и пение, к которым ее учили относиться пренебрежительно, подтолкнули его зайти «поглядеть, в чем там, собственно, дело», вместо того чтобы сесть на трамвай до набережной.

Судя по табличке на паперти, шла вечерня — церковный жаргон она понимала плохо. Их как-то водили в церковь всем классом; творившееся там действо смутило и заинтриговало

ее. Возможность познакомиться с ним в более интимной обстановке порадовала бы ее, не будь с ней Обри.

Простую кирпичную коробку не украшали даже пышные облачения и зажженные свечи. «Эстетическая ересь», — определил Обри, не понижая голоса. Но Айви, несмотря на его попытки растоптать как церковь, так и дочкину реакцию на нее, пребывала в экзальтированном состоянии.

Виду она, конечно, не показала. Сидела, сцепив горячие руки, скрывая как эмоции, так и бородавку, не желавшую отваливаться; Айви закрасила ее чернилами в школе, в момент скуки или отчаяния.

Обри же исходил презрением: «Смотри на нищих духом, Айви, и поучайся». Сам он, надо признаться, выделялся среди паствы своим грузным великолепием; свечи золотили его еще не окончательно распавшийся лик.

Прихожане в самом деле подобрались так себе: старушки, горбатая пожилая девушка в макинтоше, колченогий мужчина, мальчики с впалыми глазами. Решив не смотреть ни на отца, ни на них, она слушала плещущие вокруг слова. Ладан заползал в складки одежды, смешиваясь с ды-

мом костра, который она разводила днем. Слова сквозь солнечное кружево синих листьев восходили в горную тишину, и она вместе с ними.

Если б она знала язык, то примкнула бы к голосам священников, горбуньи и колченогого. Ее лишили чего-то — впрочем, не такого уж важного.

— «…доколе царь был за столом своим, народ мой издавал благовоние свое…»[41]

«А все-таки впечатляет!» — подмигнул Обри, источая влагу всеми своими порами.

Священники и служки в дыму воскурений двинулись торжественной процессий через неф, и прыщавый юнец уронил кадило прямо под ноги Обри. Оно задребезжало, не переставая кадить. Обри так опешил, что ничего не сказал.

Нить между Айви и молящимися, бывшими здесь как дома, все же не порвалась — или да? Прыщи на лице служки, поднимающего кадило, придвинулись совсем близко. Она опустила глаза на свой большой палец, где синела чернильная бородавка, не поддающаяся ни медицине, ни магии.

В следующий момент она уже поднялась с места

---

[41] Примечания: 41
Песнь Песней, 1:11.

вслед за своим неизбежным отцом, на которого смотрела в лучшем случае как на потрепанного корсара.

Голоса плыли за ними, не смущаясь присутствием непосвященных; она помолилась бы, если б была здесь одна и знала слова.

— «…левая его рука у меня под головою, а правая обнимает меня…»[42]

Обри, дыша парами виски (он захватил с собой фляжку), наклонился к ее уху.

«Вот так они и продают свои штучки-дрючки истеричкам да голубым. Пошли отсюда».

Ее учили слушаться — возможно, это всё, чему она научилась. Когда Обри, выйдя, смачно плюнул на тротуар, она оглянулась на кирпичные стены (точно фабрика какая-нибудь), чувствуя, что оставляет там частицу себя — то, к чему Обри никогда не получит доступа, то, что она сама никогда не посмеет вернуть назад.

На пароме Обри, к счастью, заснул, хотя и толкал ее плечом иногда. Бородавка на пальце зудела.

— Почему бы и нет, — сказала она.

Они шли через палимую солнцем пьяццу к

---

[42] Примечания: 42
Песнь Песней, 2:6.

своей излюбленной церкви. Они любили Рим за его археологию, архитектуру, историю и прочие рациональные достоинства, приличные австралийцам. (К Ватикану можно повернуться спиной, а чудовищный Святой Петр даже забавен.) Радуясь, что смотрят на вещи одинаково, они переплели пальцы и вошли внутрь. Пусть только попробуют сказать, что это вульгарно: один их возраст препятствует подобным инсинуациям.

Из-за уходящих в глубину арок казалось, что алебастровые колонны светятся собственным светом, витражи одевали лица в пурпурные и багряные маски.

Айви охотно за ними пряталась, зная, что без этой милосердной маскировки выглядела бы совсем никуда. Ноги с обретенной недавно легкостью ступали по черному мрамору, как по водам.

В клуатре молодая пятнистая кошечка с просвечивающими сквозь шерстку сосками играла с веткой жасмина, втянув коготки.

Отсчитывающие время колокола снова вернули Симпсонов в церковь. На пути к гробнице кого-то великого Чарльз, внезапно вспомнив о чем-то, чуть не оторвал Айви руку.

— А про стирку-то мы забыли спросить!

— И правда. — Как же износился ее механизм,

если она поступила так бесхозяйственно. — Оплошала я.

— Оба мы оплошали.

— Нет, я. — Больше она не настаивала, а Чарльз не протестовал: тоже устал, должно быть.

На стулья в боковом проходе они хлопнулись синхронно и молча. О жуткой святой, истекающей кровью рядом, сейчас не хотелось упоминать, но про зуб Айви наконец вспомнила.

— Опухоль сошла, правда, милый? Щека почти в норме. — В этих условиях Айви не могла ее как следует рассмотреть.

— Да, и болеть вроде перестало, когда прилетели. Священный град, что тут скажешь. — Такими шутками, плоскими для посторонних, они утешали себя в минуты усталости.

— Тебе не кажется, что у нас на Сицилии просто воображение разыгралось? Я не про твой зуб, он-то был очень даже реален, но я все время боялась заразиться чем-то ужасным. И все время видела какие-то миражи, то гадкие, то прекрасные. — Она фыркнула и поджала губы привычным Чарльзу манером. — Надо будет, пожалуй, зрение проверить, когда вернемся.

— Если это тебя успокоит. Твои глаза, Айви, лучшее, что в тебе есть. — Услышав это от кого-то

другого — необязательно от Обри Тиндалла, даже от близкого друга, — она вспомнила бы, как некрасива в целом.

Они помолчали, сидя в континууме свой грядущей совместной жизни, будь та длинной или короткой, перебирая выцветшие моментальные снимки, слушая записи своих голосов, соприкасаясь руками наподобие глухонемых, позволяя нажитому опыту столкнуть их с знакомой отмели в темную безвоздушную глубину, когда хватало смелости ей не противиться.

— Что-то мы засиделись, — сказал наконец Чарльз Симпсон. Его учили, что бездельничать дурно.

— Да, пора двигаться.

Они двинулись, и Айви показалось, что он немного хромает.

— Что с тобой, милый?

— Да ничего, нога занемела.

Они пошли дальше по неровному мрамору. Пусть только попробуют обвинить ее в том, что она прибегла к молитве; она только желала бы обрести силу, чтобы поддержать его в случае надобности. И чтобы изгнать фантасмагории, в которые они оба пусть наполовину, но верят.

— Ох, — безнадежно вздохнула она.

Сходя по ступеням на солнце, она споткнулась, и он взял ее под руку.

Какаду

Мистер Гудено, одетый соответственно воскресенью и своей миссии, бежал по дорожке.

Когда ему открыли, он попытался освежить порядком заржавевшую вводную формулу:

— Все тот же Кардиофонд, не хотите пожертвовать? — Он потрогал сердце, приколотое к рубашке.

Она, ожидавшая свидетелей Иеговы, слегка нахмурилась при виде бумажного сердца, но тут же и улыбнулась, почти мечтательно: ей вспомнилось малиновое печенье, разложенное на жиронепроницаемой бумаге в сказочной кухне ее детства.

— Да-да, сейчас. — Она вздохнула и пошла за кошельком — высокая, тощая, желтолицая. Миссис Дейворен и мистер Гудено, как большинство здешних жителей, ограничивали свое общение тем, что здоровались на улице, хотя против соседей здесь никто ничего не имел, исключая Фиггиса, который владел раньше похоронным бюро, а кляузником остался и по сей день.

— Вот, — сказала она, протягивая двухдолларо-

вую бумажку — самый большой взнос, который можно было ожидать от миссис Дейворен. — Цены всё растут и растут, правда?

Его улыбка выглядела чисто условной лишь потому, что он выписывал на коленке квитанцию.

— Инициалы свои не подскажете?

— О. Миссис О. Дейворен.

— А что супруг, не хочет ли раскошелиться?

— Даже не знаю. Его, кажется, дома нет.

— Я видел, как он зашел в заднюю дверь.

— Что ж, может быть…

— Не спросите ли его?

Клайд Гудено переключился на ту улыбку, что заставляла дам забывать о его малом росточке и варикозных венах. Он любил представляться очаровашкой перед малознакомыми — всё, конечно, совершенно невинно.

Уступила и миссис Дейворен — если не его шарму, то осеннему солнцу или бумажному сердцу у него на рубашке; скорее же всего ее тронула собственная щедрость.

Не сводя глаз с сердца, она сказала:

— Мы с мистером Дейвореном не разговариваем уже шесть лет — нет, семь.

Мистер Гудено ушам своим не поверил.

— Но должны же вы говорить хоть что-то — на-

пример, что мусор надо вынести или за молоко заплатить.

— Такие вещи мы пишем в блокноте. Специально для этого завели.

Мистер Гудено, несмотря ни на что, снова включил улыбку.

— Может, и про Кардиофонд напишете?

— Нет, не могу, — сказала она, переминаясь на пыльном крыльце. Всё указывало на то, что она жалеет о своей импульсивности, но слова продолжали литься: — Всё началось из-за попугайчика. Он о нем не заботился. Я поехала в Киаму хоронить Эсси, а он моего попугайчика уморил.

Боже ж ты мой!

— Зато теперь у вас коки, — сказал мистер Гудено, отдавая квитанцию и пряча ручку в карман рубашки. — И, похоже, совсем ручной.

— Коки? — Упомяни он о тигре, она не встревожилась бы сильнее.

— Ну да, какаду. Вон, под деревом топчется.

Длинные ноги миссис Дейворен перенесли ее по бетону за угол.

— Какаду!

Под эвкалиптом, довольно большим для здешних палисадников, расхаживал попугай — похоже, сердитый. Желтый хохолок торчал, как

раскрытый ножик с множеством лезвий. В следующую секунду он заверещал и весьма неизящно улетел в парк.

— О-о! — простонала миссис Дейворен. — Как думаете, вернется он?

— Наверно, клетку забыли закрыть?

— Нет-нет, он дикий, я в первый раз его вижу. Хотя, может быть, и домашний. Вот хозяева-то расстроятся!

Мистер Гудено собирался уйти.

— Может, семечек насыпать ему? — Миссис Дейворен отчаянно требовался совет. — Я читала, что семена подсолнуха…

— Может, и да. — Клайд Гудено дошел до калитки. Сборы на Кардиофонд хороши тем, что есть о чем жене рассказать.

Миссис Дейворен прошла по бетону обратно и скрылась в доме.

Олив Дейворен находила утешение в перемещениях по своему темному дому, но если она слышала, что и Он ходит по своей половине, у нее тут же начиналась изжога. Папа хорошо ее обеспечил: дом в хорошем районе и пай в «Дружеском займе», которым управлял компаньон мистер Армстронг. Дом кирпичный, красно-коричневый, не такой большой, чтоб воров притягивать, но

те, кто вроде бы не ворует, могут и позавидовать. Швы на кладке осыпаются, надо подмазать. И покрасить двери-окна, как снаружи, так и внутри. Но не сейчас. Она не готова иметь дело с Миком, этого ей хочется меньше всего.

Прав был папа, зря она его не послушалась. Ну что про него сказать, одно слово — безнадега — нельзя винить человека за его ирландскую кровь. Даже не верится, какой упрямицей она была в девушках. Обо всем знала лучше всех, будь то замужество или музыка. Теперь вот и пикнуть не смеет, разве что в одном отношении.

Вечером она слышала, как Он (твой ирландец) прокрался по задним комнатам и хлопнул сетчатой дверью. Пошел гусениц обирать с фуксий, что растут у забора.

Что до музыки, то ее скрипка уже много лет лежит на верхней полке гардероба, облицованного под дуб. Вспоминая о ней, она закапывает ее еще глубже под стопкой глаженого белья.

У нее были артистические наклонности. Мама водила ее на валлийские фестивали, расправляла ей юбочку, причесывала перед концертом. Когда выяснилось, что скрипка обе-щает больше, чем декламация, папа ее отправил в консерваторию. Она знала, что любить полагается Баха, да и

любила, но для первого концерта с оркестром выбрала Бруха.

(Мику это ни о чем не говорило; в те годы он любил петь своим ирландским тенорком для друзей или когда брился.)

Но у нее-то было призвание, пока профессор Мамберсон не вывел ее через обитую байкой дверь в коридор, чтобы конфиденциально сказать: «Жаль огорчать вас, Олив, но в таких обстоятельствах…» Что за обстоятельства, она не спросила, потому что не поверила. Спросил папа, но ответ ей по доброте душевной не передал. Он всегда и во всем полагался на деньги, но профессора Мамберсона он так и не сумел подкупить. Он отказывался верить в свою неудачу, как и она (пока не вышла за Мика) отказывалась верить в свою.

Сначала она брала учеников, соседских детей, имевших хоть какие-то способности. Просила недорого. Дети, в большинстве своем ненавидевшие скрипку, душераздирающе пиликали в передней комнате с видом на парк. Когда она сама показывала, как надо, звук тоже выходил неприятным, желтым, как трава под араукариями.

Тогда это, впрочем, не имело значения: шла война, и всё можно было свалить на нее. (Миссис

Дулханти упала с лестницы и сломала ногу, когда японская подлодка в гавань вошла.) Лишь когда война кончилась, стало ясно, какой это был отличный предлог.

Когда они уже поженились, но еще разговаривали, Он сказал ей, что война была лучшим временем в его жизни. Он служил сержантом авиации на Ближнем Востоке и хранил свои медали в жестяной коробке. Сказал, что надеется снова повоевать.

Она как раз поставила перед ним тарелку. «Не очень-то в мою пользу, да? Я, наверно, сам виноват. Кто-то ведь всегда виноват». Ей бы очень хотелось с ним согласиться — если не из-за того, что называют любовью, то и не по злобе. Вот так всё просто.

Он склонил голову набок и засмеялся, глядя на пережаренный стейк (ему такой нравился). Глаз его не было видно. Ей хотелось заглянуть в них, грифельно-голубые, цвета барвинка, как определила она в тот период, который называют ухаживанием и когда она еще желала любовных мук. Он тогда водил междугородний автобус. Они познакомились не то в Милдьюре, не то в Уогга-Уогге, куда он ее привез. Она забыла то, что не должна была забывать.

Он подсмеивался над ней, тогда еще дружески: «Ну и память у тебя!» Но ведь не забыла же она холодок, пробиравший ее от его барвинковых глаз, и помнила наизусть свои несыгранные сонаты.

Олив вытерла нос клинексом, достав его из бюстгальтера, и прошла мимо стеклянной двери на цыпочках, помня о какаду. Из-за коричневых штор свет лежал на линолеуме брусками желтого мыла.

Она отогнула штору в эркере посмотреть, не вернулся ли коки. Теперь их было уже двое, под тем же деревом. Сердце Олив взволнованно билось. Иногда эти птицы бывают злыми, она даже сквозь стекло слышала, как сердито они кричат, и не решалась открыть окно, боясь их спугнуть. Иногда они злобно дерут траву, потом успокаиваются, прижимают хохолки, и в глазах их теплится мудрость, которая, как почти всякая мудрость, склонна к мраку и незначительности.

— Ой-ой, — прошептала Олив, — главное про семечки не забыть.

Что скажет Он, узнав, что она какаду приманивает? Он-то? Презрение нимбом осияло ее волосы, подсиненные в четверг непонятно зачем.

«Ты нарочно его уморил, — сказала она ему. — Потому что я уехала. Ты знал, как я его люблю.

Ревновал, вот в чем дело!» — Охваченная горем, она пренебрегала грамматикой, которую всегда уважала.

«Да он болел у тебя, всякому было видно. Стоило на когти взглянуть».

«Коготки надо было подстричь, — признала она, — но я побоялась. Он был такой слабенький».

«Больной потому что».

(Она попросила показать ей то, что от нее уносили — ребенком оно еще не могло называться. Даже потрогала и потом не позволяла себе вспоминать. Уж не ему, во всяком случае, напоминать ей об этом.)

На этом месте она расплакалась, кажется. Она назвала попугайчика Перком, бодрячком, но он не оправдал своего имени и умер.

И они перестали разговаривать. Сначала всего на несколько дней. Их обоих, вероятно, удивило, что молчание затянулось на такой долгий срок. В ее случае рана не только не зажила, но, похоже, и загноилась, когда во время тайных похорон — она умерла бы, если б кто-то увидел — она выплакала все свои слезы у куста «Миссис Герберт Стивенс».

Со смерти Перка прошло семь лет. До этого у них всё было, что называется, хорошо. Папа

взял «этого ирландца» в свой бизнес, но Мик не прижился там. Не любил сидеть в четырех стенах. Счастливее всего он был, как видно, когда автобус водил и встречал столько разных людей. Незнакомые девушки угощали его конфетами и называли Миком сразу же, когда узнавали имя. Он был брюнет с крепкой шеей и рассказывал в микрофон об исторических местах, которые они проезжали. Да, автобус подходил Мику как нельзя лучше.

Не успели они сесть за столик в кафе, он сказал, что у нее красивые руки. Она, как скрипачка, об этом знала, но услышать это от ирландца было скорее обидно; горло сдавило, и некоторое время она не поднимала на него глаз. Его это, похоже, не волновало: он рассказывал о своем детстве в Лукане[43] — как по воскресеньям сидел, свесив ноги, на парапете и смотрел на реку.

«Разве вам больше нечем было заняться?» — спросила она.

«В Ирландии как раз этим и занимаются, — засмеялся он, и она невольно обратила внимание на его зубы. — Сидят и ждут, когда что-нибудь подвернется».

---

[43] Примечания: 43
Лукан — пригород Дублина.

Два какаду за окном подняли хохолки — не как набор лезвий, скорее как веера. Влажные глазки-смородинки смотрели мудро.

Из-за угла кто-то вышел — Он. Она вопреки своим принципам, хотела открыть окно и сказать, чтобы он не испугал их.

Но он просто шел по дорожке, не глядя на птиц, то ли не видя их, то ли не желая показывать, что увидел.

Он прошел, и черные глазки не утратили своего мудрого выражения.

Его синий костюм лоснился на плечах и сиденье — Мик его надевал на выход с тех пор, как вышел в отставку. Выглядел он довольно моложаво, только из-под шляпы виднелись седые волосы. Он всегда надевал шляпу, когда шел к Ней, всего-то через пару домов.

Олив так разозлилась, что резко задернула штору и, должно быть, спугнула птиц. Она их больше не видела, но слышала, как они замахали крыльями и улетели.

Может, и не прилетят больше, даже если семечек им насыпать. Она поплакала немножко, готовя ужин, к которому Он не придет.

— Шесть лет, сказала — нет, семь. Ни словечка! Если что надо, в блокноте пишут.

— Ну надо же! — Гвен Гудено помешивала в кастрюльке. — Мы бы с тобой до такого не додумались, Клайд.

Вошел мальчик, поглаживая стеклянный пузырек, который держал в руке.

— Кто это семь лет не разговаривает?

— Никто, — ответил отец. Он отцепил бумажное сердце, натруженные вены болели. Самое время пивка попить.

— Люди часто не разговаривают, — заметил мальчик, всматриваясь в свой пузырек.

— Даже когда живут вместе? Я о таком не слыхала, Тим. — Мать больше заботило то, что у нее варилось.

— Они говорят, только молча.

— Ты тут умней всех, да? — почему-то обиделся Клайд.

— А что я сказал-то, — огрызнулся Тим.

— Не дерзи папе, — тут же сказала мать.

Тим на секунду возненавидел отца. Старикан в шортах! Таскается с этими сборами, всем варикоз свой показывает.

Папа выпил свое первое пиво, мама пригубила шерри, все ели хрящеватое жаркое, и Тим Гудено продолжал гладить бутылочку рядом с тарелкой.

— Что это у тебя? — спросил отец. — Зачем же

такую грязь на стол ставить!

— Это старинная склянка из-под мази. Нашел у Фиггиса в мусорке. — Он поднял пузырек к свету. — Смотрите, какой цвет красивый.

Стекло, если присмотреться, отливало аметистом, и пепельно-зеленый тоже угадывался.

Это тревожило отца: не свихнулся бы парень, не стал бы голубым или там художником.

— Выкинь лучше, — посоветовал он. — Нечего таскать домой всякий хлам с заднего двора Фиггиса.

— Я поставлю ее в свой музей.

— Музей? — Это прозвучало бы строго, если б мать вовремя не включила дружеский тон. — Ты не говорил, что у тебя есть музей.

— А зачем говорить?

Отец цыкнул зубом. Казалось, что его сейчас вырвет, но он преодолел отвращение и сказал:

— А знаете что? У Дейворенов в саду дикий коки завелся.

— Кто-то, наверно, клетку забыл закрыть, — сказала миссис Гудено — теперь была ее реплика.

— Я ей так и сказал, а она говорит, что дикий.

— Откуда ей знать? — Какаду миссис Гудено мало интересовали.

— В парке полно диких какаду, — сказал Тим.

На это родители ничего не могли возразить: они не помнили, когда последний раз были в парке. Мистер Гудено вздохнул, спрашивая себя, почему дома его обаяние не работает. Вздохнула и миссис Гудено, подозревая, что у нее начинаются месячные.

Когда они доели консервированные персики, Тим вышел из-за стола и склянку забрал.

— Куда так спешишь, дружок?

— Пойду к Дейворенам глянуть на коки. — Он говорил как маленький, чтобы подлизаться к родителям.

— Я не натуралист, конечно, но знаю, что долго на одном месте они не задерживаются, — сказала мама. — Он скорей всего уже улетел.

Мальчик знал, что это правда, но мало ли какая глупость бывает правдой. Нет попугая у Дейворенов — поищем где-то еще.

Он вышел, напевая — сначала в гараж, поставить склянку в музей.

Экспонаты хранились в старой аптечке за рулонами ковролина и металлической сетки. Череп мелкого зверька, скорей всего крысы, найденный в ливневом желобе. И то, чему Тим до сих пор дивился: серебряный доллар, то есть талер, с Марией Терезией.

«С Европы», — сказал мистер Липски, старый джентльмен, который дал его Тиму.

«А можно мне его взять? Пожалуйста!»

Тот засмеялся, захваченный врасплох.

«Почему нет, бери. Положишь начало коллекции».

«Не надо бы, Тим, — заволновалась мама. — Такая ценная вещь». — Он подметил, что она, сама жадная, подозревает в жадности всех остальных.

Но на этот раз он не просто пожадничал. У него никогда еще не было талисмана — был вообще-то крысиный череп, но и монета ему тоже настоятельно требовалась.

В темном гараже, где воняло отсыревшим ковролином, он мог исследовать череп и монету только на ощупь. Теперь к их мистическому сообществу прибавилась склянка, добытая из мусорки Фиггиса.

После ужина на улицу вышло много ребят с собаками. На их островке между двумя парками жили в основном пожилые, бездетные пары, но недавно здесь поселилось несколько больших семей, чтобы дети могли гулять в парках. Тим Гудено редко играл с другими детьми. Как единственный ребенок в семье, он колебался между повышенным самомнением и застенчивостью.

Его не то что не любили, но и дружить с ним не стремились, а он и не старался завязать с ними дружбу. Нельзя сказать, чтобы они были глупые (некоторые хорошо учились, успешно сдавали экзамены и уже подумывали стать адвокатами или врачами). Просто они не знали того, что знал он — не до конца, но все-таки знал.

Собаки-дворняжки, принадлежащие многодетным семьям, часто бегали за ним, виляли хвостами и лизали ему руки, а хозяевам своим не лизали. Ему это нравилось.

— Куда намылился, Тим-Легаш? — крикнул какой-то мальчишка.

— Так, прогуливаюсь.

Девчонки от неожиданности захихикали, мальчишки заржали, и кто-то кинул в него стручком.

У Дейворенов было темно, коричневые шторы опущены, будто и не живет там никто, хотя старушенция скорее всего в доме или за домом. Какаду Тим тоже не видел, но через забор все-таки перелез и залег под кустом гибискуса. Большие белые цветы распустились в сумерках, красные пушистые пестики блестели от липкой, похожей на росу влаги. На западе, над домом цвета печенки, небо еще чередовало красные блики с золотистыми и зелеными.

Все какаду, конечно, уже спят, да Тиму и ни к чему один попугай. Он может сделать так, чтобы вся стая раскрыла крылья с бледно-желтой подпушкой, поджала черные когти, метнулась к сетчатому небу и улетела в космос мимо каменных дубов и костяных сосен.

Он сорвал один цветок и облизал пестик. Непонятно, что в нем находят пчелы и птицы, но попробовать стоило.

Мисс Ле Корню стояла у калитки, как всегда в джинсах и старых разношенных мокасинах. Ее рубашка белела в сумерках. Взрослая женщина, фыркнул Фиггис, а одевается как девчонка, да и джинсы на ней чуть не лопаются.

Знает ли она, что у них тут дикие какаду завелись, спросил он. Он видел пару под большим эвкалиптом Дейворенов.

Нет, она не знала, хотя, кажется, что-то такое слышала.

— Кого я ненавижу, так это какаду, — сказал Фиггис. — Грязные твари, вечно орут, всё портят. Потравить их, и дело с концом.

Мисс Ле Корню как-то не задумывалась, любит она какаду или нет.

— Все-таки в саду они могут красиво смотреться. Например, на вашей магнолии. — Она

хихикнула, потому что была под кайфом.

Фиггис поймал себя на том, что смотрит на ложбинку в ее декольте. Сами груди, хоть и прикрытые рубашкой, выглядели до странности голыми.

Облегчив душу на предмет какаду, он охотно высказался бы насчет ее тесных джинсов, но не мог и потому просто ушел. Он много кому желал смерти — может, потому, что раньше имел дело с покойниками.

— Дур-дур-дур, дур-дурр, — напевала сквозь зубы мисс Ле Корню.

Она сама не знала, почему ей так хорошо — правда, она приняла целую пригоршню, около пяти штук. Может, и Он придет, сейчас как раз его время. Он приходит почти всегда, так что радоваться особенно нечего, это просто привычка. Из-за этого всё и началось, из-за этого и продолжается. Она нуждалась в чем-то привычном.

В тот первый раз он был как лунатик и вроде бы даже не к ней обращался.

«…говорит, я уморил ее паршивого попугайчика».

Мисс Ле Корню птиц никогда не держала, но что-то толкнуло ее посочувствовать:

«Грустно же, правда, потерять любимое суще-

ство — да еще сразу после того, как похоронила сестру». В тот момент она осознала, что сочувствует вовсе не миссис Дейворен, а птичка — существо необщительное и к хозяевам не привязывается.

Он облокотился на ее калитку, волосы у него на затылке уже поседели. На нее он взглянул лишь из вежливости, целиком поглощенный собственными проблемами.

«Не зайдете ли? — спросила она. — Поджарю вам стейк на косточке».

Было это семь лет назад. До того она не думала о мужчинах, то есть думала, если честно, но находила их неприятными, почти всех. После смерти матери она пригласила к себе жить Марни Проссер, но из этого тоже ничего не вышло: Марни ковыряла в носу и пачкала медом дверные ручки.

Пока он ел стейк в солярии рядом с кухней, она вдруг подумала, что это не просто сосед, которого она сто раз встречала на улице. Это Мик Дейворен. Он ирландец. Слишком фантастично, чтобы над этим задумываться.

«Ну как?» — громче необходимого спросила она.

Он хохотнул, и изо рта у него вытекла струйка красного сока.

«Сыроват малость, а?»

Зубы у него, по крайней мере, были хорошие.

«Отец любил как раз такие, едва прожаренные. Своеобразный был человек, во всех отношениях. Полковник, знаете ли. Приехал в отпуск из Индии, женился на маме и остался здесь жить. Я его, правда, плохо помню, была еще маленькая, когда он умер. Брюки ему гладили каждый день. Вспыльчивый был, вот они и мялись». — Она никогда еще не говорила столько за один раз.

Вытерев рот и отодвинув тарелку с почти нетронутым стейком — достаточно деликатно, — мистер Дейворен спросил:

«Деньги, выходит, были у матери?»

«Да. Она урожденная Базби».

Ей не пришло в голову объяснить, кто такие Базби, а он не стал спрашивать, но помрачнел. Как раньше, когда рассказал ей о попугайчике.

«Мама умерла в прошлом августе — вы, может быть, слышали».

Он признался, что слышал что-то, и продолжал сидеть над недоеденным стейком, глядя не на нее, а в себя.

Никогда еще в доме не было так тихо, подумала мисс Ле Корню.

Она поражалась тому, что это ее дом. Сначала

родительский, потом мамин — это нормально, но не ее! Она никогда не хотела иметь какую-то собственность, нуждалась только в привычке. Отец умер слишком рано, чтобы она успела привыкнуть к нему, а мама — большая, всепоглощающая привычка — ушла без предупреждения, над чашкой горячего молока, с пенкой, прилипшей к губе.

Она искала, чем бы утешиться в этой жизни. Определенно не свободой, если такая вещь вообще существует. Хорошо разве то, что по имени ее уже никто называть не будет. (Ее окрестили Базби[44] в честь маминой семьи, и она выросла соответственно большой и довольно мохнатой.)

И вот Базби Ле Корню, неожиданно для себя, спросила мистера Дейворена — опять-таки слишком громко для окружающей тишины:

«А что вы еще любите? Кроме сырых бифштексов?» Другая бы на ее месте хихикнула, но для нее это было слишком серьезно.

Для него, как видно, тоже, хотя он не совсем правильно ее понял.

«Любил я те времена, когда у меня было что-то свое. Я был парень рисковый, мисс Ле Корню, и

---

[44] Примечания: 44
Busby (*англ.*) — кивер, высокая меховая шапка.

запало мне в голову заняться старательством. Намыл совсем мало, поместилось в одну бутылку — потом я, должно, ее выкинул, автобус начал водить. Но помню небо поутру там, на юге, и как золой от костра пахло».

Тут она расплакалась и из носа, кажется, потекло. Он в испуге встал и обнял ее за плечи, но сразу же убрал руку.

«Вы в порядке?»

«Да».

Но чувство потери в ней обострилось, и она, не зная, что делать дальше, взяла его за руку. Собственное невероятное поведение — раньше она бы ни за что не поверила, что способна на это, — преобразило эту руку в диковинный предмет, жесткий со стороны ладони, но необычайно изящный вверху, где пролегали вены и сухожилия. Нечто такое, что хочется спрятать и сохранить.

Вместо этого она сказала низким, почти мужским голосом:

«Ну, друг дружку-то ведь мы не съедим, мистер Дейворен?»

Они посмеялись, и она разглядела, что глаза у него светлые.

Базби Ле Корню спала с мужчиной всего один

раз, и это тоже неожиданно вышло: он пришел посудомойку чинить. Большого удовольствия это ей не доставило. Раньше ей представился еще один случай, но о нем она предпочла забыть.

Теперь, из уважения как к мистеру Дейворену, так и к себе, она не включала свет, а просто ждала, лежа на маминой кровати. Тело казалось длинным, сильным и белым, груди раскинулись как подушки в свете уличных фонарей. Волосы между ног — «кустик», как сказал слесарь, — в том же свете чернели, как ночь. Она надеялась, что ирландец не станет нервничать. Сама она относилась к происходящему с полным безразличием, без намека на нервы.

Никто из них опять-таки не испытал особого наслаждения. Он разулся, но раздеваться не стал. Его пуговицы поцарапали ее, но не сильно.

Пока он обувался, она сказала — скорей просительно, чем из вежливости: «В следующий раз поджарю как следует. Я сделала с кровью только потому, что отцу так нравилось».

Старая качалка скрипела; отец привез ее из Индии, поэтому мама ее не выбрасывала, хотя порвала об нее немало чулок.

Мистер Дейворен притопнул, надевая ботинок, и качалка скрипнула так, будто с нее встал при-

зрак. «Когда я золото мыл на Маррамбиджи — я вам рассказывал, — дела пошли так плохо, что пришлось работу искать. Нанялся я в одно большое поместье, было как раз время жатвы. Меня и еще пару ребят поставили овес стоговать за жаткой. Сделаем мы, значит, стожок, а какаду тут же и разорят, — засмеялся он. Качалка затихла — видно, он обулся уже. — Видели когда-нибудь, как их стая летит? Как попало, безо всякого строя, но птицы они, конечно, красивые. Злые такие, долбят друг друга клювами почем зря, но бывают и добрыми. Глаза у них добрые. А как рассядутся на дереве, то сидят тихо-тихо».

«Да?» — Она зевнула, желая, чтобы он поскорей ушел. Ей хотелось послушать пластинки — если Фиггис, конечно, не звякнул в полицию.

«Ладно, увидимся. Люблю поджаристые стейки!»

Выражение «увидимся» ей не нравилось: оно, как правило, ни к чему не вело.

Но Он сдержал слово. Вошел в привычку. Все эти годы она стояла у калитки и ждала, когда он придет. Соседи перестали видеть в этом «аморальную связь», даже мистер Фиггис и миссис Дулханти больше не отпускали намеков. Что тут аморального, готовить ужин для мужчины, если

ты не любишь его, а он не любит тебя? Иногда они, конечно, делали это — раза три-четыре от силы, или пять, ну, может быть, шесть, — но только потому, что так принято. Интересно, понравилось ли ему хоть разок. Она читала, что ирландцы считают внебрачные связи грехом, поэтому многие их женщины и стригутся в монахини.

Аморальными мисс Ле Корню находила разве что мысли о той желтой женщине, с которой никогда не разговаривала даже и до того, как легла в постель с ее мужем.

Настроение понемногу портилось. Чем ждать, лучше бы пластинку поставить. Ей хватило бы и этой привычки, самой давней из всех, но хочется ведь еще, чтобы кто-то живой был рядом. Она предпочитала сопрано, лучше всего бархатные меццо; эта материализация ее внутреннего «я» вела ее сквозь фиоритуры к вершине купола, золотого пузыря звуков.

Своему другу Мику Дейворену — он как раз шел по улице в шляпе набекрень — она никогда пластинки не ставила, зная по слухам, что его жена была учительницей музыки в молодости. Интересно, что она любит слушать?

— Я думала, ты уже не придешь. — Она почему-то рассердилась — может быть, даже приревно-

вала его немножко.

— Да, припозднился я, — признался он из-под шляпы, которую надевал для приличия и в которой выглядел еще менее респектабельным.

Он смотрел прямо на нее, но из-за его светлых глаз, сливавшихся с сумерками, казалось, что он, как это за ним водится, смотрит в сторону.

— Пуговица оторвалась, надо было пришить.

Она проворчала что-то, идя к дому под магнолией, растущей у забора со стороны Фиггиса.

— Принес бы мне, я бы пришила. — Она сказала это так, для порядка: мисс Ле Корню не занималась шитьем и починкой — в привычку, сложившуюся у них обоих, эти занятия не входили. — Ужин в духовке, — добавила она уже подобрее; за опоздание она не сердилась — мужчина, любящий пережаренные бифштексы, заслуживает некоторых послаблений.

Со своей горелой подошвой он расправлялся на кухне, а она сидела в качалке, вполоборота к нему; столовой, попривыкнув друг к другу, они больше не пользовались.

Может, она из-за налога не в духе?

— Не помню, платила я налог в этом году или нет, — сказала она, покачиваясь.

Он ей с этим не мог помочь. Если они получили

уведомление, им должна была заняться миссис О. Дейворен.

Доев, он с преувеличенной аккуратностью положил на тарелку вилку и ножик, откашлялся и сказал:

— Когда я шел к тебе, под большим деревом расхаживали два какаду. Давным-давно не видал их, которые дикие. Белые, с желтыми гребешками.

— Да, слышала, — сказала она с преувеличенно громким смехом, раскачиваясь во весь мах. — Фиггис их потравить собирается.

— Кого, моих? — отозвался он с удивившей ее горячностью. — Пусть только сунется.

— Еще неизвестно, захотят ли дикие попугаи твоими стать.

— Я не хочу быть их хозяином, но покормить-то их можно?

Она остановила качалку.

— И чем ты их кормить собираешься?

— Подсолнечными семечками. Они прямо в пакетиках продаются.

Она, точно глядя его глазами, увидела какаду, сидящего на дымовой трубе; второй кружил над ним, остальная стая летела навстречу ветру. Прекраснее всех были те, что сидели на ветках магнолии, сами похожие на белые хмельные

цветы.

— Да, — вздохнула она, потершись щекой о его плечо. — Красиво было бы. Я бы тоже завела парочку.

Когда попривыкнут, можно будет ставить им музыку — меццо-сопрано, чтобы было похоже на ее голос.

Он встал.

— Только не моих, Базби.

Заново вспыхнувший гнев качнул ее кресло.

— Откуда ты взял это противное имя? Только мои родители его знали.

— Кто-то увидел в списке избирателей и сказал. Базби, так тебя звать. — Это прозвучало у него ласково, по ирландски, только нежность относилась не к ней, а к его попугаям.

— Очень мне надо сманивать чужих коки!

Он вскоре ушел. Может, он и Ей скажет — верней, напишет в блокноте, — что к диким какаду прикипел.

Надо было чем-то утешиться. Мисс Ле Корню вытрясла на ладонь таблетки из пузырька и потом не смогла заснуть.

Вокруг свистели белые, с желтыми каемками крылья, во рту назревал попугайский крик. Пришлось принять успокаивающее.

Олив Дейворен продолжала готовить для Него ужины и ставила тарелки в духовку. Когда он не приходил, она съедала сама немножко, без аппетита, а остальное выбрасывала — могла себе это позволить, в конце концов. И шла спать.

Сегодня она ждала дольше обычного, размышляя о какаду. Она выходила один раз посмотреть, а заодно и запереть дверь, и ей показалось, будто что-то шевелится под белым гибискусом. Точно не какаду, все птицы давно уже спят.

Она тоже легла — делать все равно было нечего, — и слышала, как Он протопал по коридору.

Она и забыла уже, какие у нее руки красивые. Или «тонкие»? Подумала про скрипку, погребенную под бельем на верхней полке облицованного под дуб гардероба, и заснула.

Проснулась она вся в поту. Большая морская раковина действительно лежит под деревом на лужайке, как ей и снилось, только дождевой воды в ней совсем на донышке. Надо будет утром помыть ее своими красивыми длинными пальцами, налить свежей воды. Птицам и пить надо, не только есть.

Олив заснула опять, зажав уголок подушки между плечом и щекой, как скрипку.

Семечки она видела и в «Вулворте», и в «Коуле».

Надо только выбрать те, что получше.

Одна из птиц клевала ее чрево, которое Он отверг как пустую шелуху.

Пустая подушка резонировала просто кошмарно.

Она так быстро слетела вниз, что вполне могла забыть что-то, да и забыла. Вернулась, вставила зубы, начала сызнова.

Окруженная прозрачным утренним светом, она наполнила лейку. В раковину уже кто-то налил воды и даже помыл ее предварительно. Она блестела, как новые зубы.

Съев завтрак, который она тоже оставляла в духовке, Он уходил по делам — она слышала, что теперь он так выражается. Один из его приятелей по автобусным временам взял патент на консервный нож, и Мик теперь ходит по домам, продает эту «Чудесную Открывашку» — ей не говорили, насколько успешно. Это началось уже после того, как они завели блокнот, не может же она написать «Как твой бизнес продвигается, Мик?».

Ни на одной из своих работ он долго не задерживался. Говорил, что это война его таким сделала, но скорей всего считал себя выше заурядных, будничных дел. Или не хотел сидеть в четырех стенах. Когда папа взял его в «Дружеский заем»,

он всего несколько недель просидел за столом. Взялся было за садоводство, но сорняки дергать тоже не захотел. Ухаживать за полем для гольфа ему больше понравилось — и свежий воздух тебе, и простор. Там он продержался несколько лет и стал не такой дерганый — она слышала. «Весь секрет в глубоком дыхании», — прочла она как-то в блокноте, но решила, что это просто наблюдение, не предназначенное ей или кому-то еще.

Вот Он, идет по дорожке в своем деловом костюме, несет чемоданчик с товаром. Дышит глубоко, по плечам видно. Без шляпы (шляпу он только к Ней надевает). При виде его затылка можно и прослезиться, если не вспомнить вовремя шляпу, которой сейчас на нем нет.

Поэтому миссис Дейворен просто вытерла нос клинексом, который носила за декольте, а мистер Дейворен шел себе, поглядывая на дерево, под которое прилетали вчера какаду. Он перестал дышать глубоко, но какаду там сейчас не было, и Он проследовал дальше — все еще «статный ирландец», как говорит миссис Дулханти.

Как только калитка за ним закрылась, миссис Дейворен быстренько напудрилась и собралась в супермаркет. Не праздник ли сегодня? Она просто похолодела от этой мысли. Но день был

рабочий. Она купила семян, и подсолнечника и смесь, купила керамическую мисочку и поспешила домой.

Кто-то уже поставил птицам семечки. В керамической плошке. Олив чуть не пнула ее со злости. Слезы брызнули из глаз, и она не стала доставать клинекс.

Какаду прилетели вечером, двое, и стали расхаживать вокруг миски. Такие неуклюжие и такие красивые. Олив смотрела на них, раскрыв рот; их хохолки топорщились грозно, как лезвия, но потом, когда они начали клевать, улеглись желтыми шапочками. Любовь к своим птицам переполняла ее.

Они ведь ее теперь? Кто бы там еще ни сыпал им семечки? Они посланы ей в возмещение.

От волнения она дернула штору, за которой пряталась, и птицы в испуге взлетели на другое дерево, поодаль. Она расстроилась, но что ж теперь делать — остается только ждать и смотреть.

Но кто это прячется за шторой в эркере на другой стороне фасада? Не думала она, что способна так злиться.

Следит за ее птицами, притворяясь, что не видит ее!

Ее не смягчило бы и то, что какаду вернулись

под эвкалипт, но их теперь стало трое — нет, пятеро!

Два наблюдателя чуть не переглянулись в своих укрытиях, но их спасли от этого сами птицы, враждующие друг с другом совсем как люди. Может быть, первая пара не желала терпеть вновь прибывших. Серого цвета хохолки развернулись, клювы лязгали, одна взъерошенная грудь теснила другую, мозолистые когти топтались вокруг миски с семечками. Казалось, что под ними не ровная лужайка, а бурное море.

Ее это так захватило, что она забыла о Нем, а там пора было и ужин готовить.

Она поставила еду в духовку. Он из дома не выходил — она слышала, как он ходит по дальним комнатам.

Обдумав как следует свое предложение, Олив написала в блокноте: «Прояви участие хоть раз…» Зачеркнула это и написала: «Надеюсь, ты мне позволишь кормить их утром».

Наутро этот листок исчез из блокнота, а на следующем было написано: «Про воду не забывай, оч. важно».

Так и договорились.

Утро принадлежало ей: она убирала шелуху, насыпала очищенные семечки, наливала в рако-

вину воды, сама понимая, как это важно.

Вечерами, которые принадлежали ему, они рассаживались в разных эркерах и смотрели, как птицы клюют корм, насыпанный им.

Она уже некоторое время не видела, как он уходит со двора в шляпе. Либо расхаживал по дальним комнатам, либо сидел через стенку от нее и, как она надеялась, думал о ней.

Однажды, глядя в сумерках на своих птиц, Мик Дайворен увидел, что их стало больше: он насчитал целых одиннадцать. Пока что они вели себя мирно, в глазках-смородинках светились мудрость и доброта. Хохолки если и раскрывались, то плавно, как веера в руках дам.

Из человека, смотрящего из комнаты на лужайку, он преобразился в мальчика, стоящего на лужайке и заглядывающего в окно комнаты, где собрались гости. Они сидят на золоченых стульях вокруг полукруглой кушетки, молодые девушки в белом, дамы постарше в сверкании бриллиантов, и ведут беседу, тщательно подбирая слова. Одна пожилая леди залилась пронзительным смехом, точно какой-то секрет открыла, и все вокруг рассмеялись тоже. Они переходят с места на место. Бриллианты сверкают. Между ними какое-то несогласие, но за рамки учтивости ни-

кто не выходит. Появляются джентльмены, тоже смеясь, некоторые нетвердо держатся на ногах, другие спорят, третьи выказывают повышенное внимание дамам. Мальчик за окном отступает под мелкий дождь и чуть не падает, наткнувшись на большую собаку, задравшую морду к водянистой луне.

Мик Дейворен отхаркнулся, и какаду это, как видно, спугнуло: они поднялись зеленовато-белой волной и рассыпались среди араукарий и каменных дубов в парке.

Он украдкой посмотрел на другой эркер, где смотрела в пустоту Олив, женщина, на которой он женился.

Миссис Дулханти читала, что птицы разносят вшей. Скворцы уж точно разносят: вши сыплются с них в дымоходы.

Какаду! Фиггис просто из себя выходил.

Почти все местные ребята их уже видели, передразнивали их, орали на них, кидались камнями — не попадешь, так хоть сгонишь. Один Тим Гудено не видел: из школы он приходил еще до того, как они прилетали, а из дому родители его выпускали только после распроклятого ужина, когда птиц уже не было и только Дейворены сидели у разных окон.

Как-то он спросил мисс Ле Корню, видела ли она какаду, и она ответила таинственно:

— Да-а.

Вообще-то ему и не надо было их видеть. Он и так знал, что творится у них в голове — как и у людей, на которых смотрел в автобусе; знал их желтые хохолки, которые видел в книгах, не хуже, чем если бы сам их трогал. Всё как с людьми, к которым он прикасался, чтобы лучше понять их — и обнаруживал, что уже понимает.

Какаду прилетали всё реже. Иногда не прилетали совсем, иногда всего трое-четверо, иногда только один старичок, приволакивавший крыло. Всё из-за детей, которые пугали их и швырялись камнями. Мисис Дейворен чуть не заговорила об этом с мужем — устно, не письменно, — но принципы все же возобладали.

Тем не менее она жалела Мика, видя уголком глаза, какие страдания причиняет ему неприлет птиц. И прощала, что он пукает там за стенкой.

Сама она принимала соду — не ложками, но дозу все-таки увеличивала.

Когда Мик Дейворен надел шляпу и отправился к мисс Ле Корню, был еще белый день — достаточно белый, чтобы соседи вспомнили старые пересуды. Этим вечером она не стояла у калитки

против обыкновения. На одной из ее дымовых труб сидел какаду и копался клювом под мышкой, оттопырив крыло. Другой попугай, взъерошенный, сидел на терракотовой пожарной каске в саду и кричал на незваного — или на свою былую любовь?

Дейворен прошел по кирпичной дорожке под магнолией Фиггиса.

— Кто там? — спросила она, поспешно застегивая рубашку.

Несколько какаду клевали семя у ее ног.

Дейворен разразился хохотом, мало похожим на смех.

Какаду улетели, уже хорошо. (Можно даже жене рассказать.)

Базби Ле Корню тоже разобрал смех:

— Ах ты ублюдок! Чертов ирландский ублюдок!

В приступе злобы он схватил ее за грудки, и рубашка опять распахнулась. Лицо от псевдохохота налилось кровью.

— Что-то рано ты, — выговорила она, корчась от смеха, — для поджарки-то. Если у меня вообще стейки есть.

Они шли к дому, подальше от соседских ушей и места, где она обманывала его.

Никто из них уже особенно не обманывался.

— Это мои какаду, — крикнул он на крыльце.

— Они — свободные существа и могут выбирать сами, не так ли?

Ага, еще чего выдумаешь.

В комнате, куда привела их судьба, он сорвал с нее рубашку. Пуговицы стукнули о стенную панель.

Дейворен ласкал ее большие плосковатые груди как никогда раньше — если он и делал это, она забыла. И бормотал что-то про какаду. Когда он стал раздеваться (в прошлые разы ему это в голову не пришло), она сняла джинсы и легла на кровать.

В этот час накануне сумерек она дивилась собственному телу, пока Дейворен не воздвигся над ней. Она никогда не позволяла себе смотреть на мужской член, который так часто изображается в виде граффити и описывается в книгах. Теперь посмотрела и нашла, что он просто великолепен.

— Это злоупотребление доверием, Базби, — сказал Дейворен, стоя над ней на коленях. — Я не для того тебе про птиц рассказал, чтоб ты их переманивала.

Он так напрягся, что не мог больше сдерживаться. Обжигающая струя брызнула ей на живот.

Она вздохнула, закинув руку за голову.

— Не вижу, почему мы не можем делиться тем, что никому не принадлежит.

— Жену это огорчило бы, — сказал он, одеваясь.

Она лежала и после его ухода — не было сил подняться. Смеркалось. Она думала, что ей выбрать — принять успокаивающее или запустить фейерверк. В конце концов она ничего принимать не стала и вышла в сад как была. Между кирпичами рос мох, хотя бы ноги порадовались. Она посмотрела вниз и вытерла каплю с того, что слесарь называл кустиком.

Какаду, конечно же, не вернулись — только один, кажется, мелькал в ветках магнолии среди гигантских цветов. А может, это цветы шевелились.

Что бы там ни влияло на какаду, Олив Дейворен ликовала, когда они оказывали ей честь. Как-то утром, когда он рано ушел, она насчитала четырнадцать штук. Несколько мгновений они стояли неподвижно, как фарфоровые, и думали, нужно ли им бояться. Потом успокоились и смотрели добрыми глазами на нее, стоящую у окна.

В это утро у нее и созрела одна мысль. Думая, не нужно ли ей самой бояться, она поднялась

наверх, открыла шкаф и пошарила на верхней полке под стопкой белья.

Открыв стеклянные двери, чтобы какаду могли видеть ее и слышать, она почувствовала себя хрупкой, как скрипка, которой не касалась годами. Настраивая ее, она боялась, что ее увидит с улицы кто-нибудь из людей. Даже взмокла от волнения.

Потом заиграла то, что ей помнилось из самого трудного. Звуки из отвыкшей от них скрипки выходили тонкими, угловатыми, желтыми, но честными и серьезными. Композитор помогал ей, какаду тоже. Неизвестно, что до них доходило, но они все так же покачивались и подскакивали, продолжая клевать.

Так было с «Сарабандой». К «Чаконе» она приступила с более глубокими опасениями, одна, но успешно одолела трудный подъем. Один попугай перелетел на каменный дуб напротив и смотрел на сцену оттуда, прочие оставались на месте и слушали. Им, видимо, казалось, что ее неуклюжесть сродни их собственной.

Лопнула струна, и у нее перехватило дыхание.

Птицы взмыли вверх и разлетелись по всему парку с обиженными, как ей показалось, криками. В самом ли деле она испытала мгновения

экзальтации во время того, что иначе было бы жалкой пародией на «Партиту»?

Она поплелась по коричневому линолеуму прятать скрипку. На будущее у нее есть извинение: струна порвалась.

А вот Базби Ле Корню ничто не мешало поставить очередную пластинку. Она и ставила, когда ей хотелось. И никто, даже Он, не мог помешать какаду прилетать к ней в сад, когда им хотелось.

В первый раз она поставила им пластинку, приняв по ошибке транквилизатор вместо того, другого. Поставила столик с проигрывателем на краю лужайки, куда падала тень от дома, и склонилась над тем, что могло быть ее собственной жалобой на жестокую страсть, которой она никогда не испытывала.

Mi tradì, quell'alma
ingrata, Infelice, o Dio, mi fa…[45]

— чуть ли не подпевала она, паря в воздухе без всякой причины вопреки таблетке, которую приняла.

Какаду взмыли в ослепительный свет. Она осталась одна со своим вторым «я», с голосом.

---

[45] Примечания: 45

Этот неблагодарный предал меня, Боже, он сделал меня несчастной…(ит.). Ария донны Эльвиры из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ma tradita e abbandonata,
Provo ancor per lui pietà…[46]

Две-три птицы, обрызганные солнцем, сопровождали ее дружескими спиралями.

Quando sento il mio tormento,[47]
Di vendetta il cor favella,
Ma se guardo il suo cimento,
Palpitando il cor mi va…

Птицы с осторожностью возвращались к семечкам, которые она насыпала с горкой. Она выключила проигрыватель не потому, что боялась встретиться с Дон Жуаном, просто освещенная луной статуя солнцу не соответствовала. А жаль, птицам Командор мог понравиться.

Он подтащил взятый с веранды стул к самому краю лужайки. С приходом ранней зимы становилось все холоднее. Никогда он еще не сидел так близко от своих птиц. Жена скорей всего не одобрит — он не знал, наблюдает она за ним изнутри или нет.

---

[46] Примечания: 46

Хоть он предал меня и бросил, я все еще питаю к нему жалость (*um.*).

[47] Примечания: 47

Когда меня терзает мука, мое сердце твердит о мести, когда же я вижу, в какой он опасности, мое сердце тревожно трепещет (*um.*)

При резком свете сад выглядел неестественно зеленым, что еще больше подчеркивало белизну попугаев. Сегодня они вели себя беспокойно, не из-за него (его они игнорировали), а потому, что их обуревало желание заклевать своего же сородича. Их перочинные хохолки зловеще торчали на густо-зеленом фоне. Один старый попугай с поврежденным крылом при всей своей твердости и стоицизме восстановил, похоже, всю стаю против себя. Его погнали прочь и устремились за ним в парк, убрав шасси, отсвечивая желтыми элеронами, рассекая крыльями воздух.

Дейворен не видел, чем это кончилось. У него болели глаза (он был подвержен мигреням). Это началось после аварийной посадки, но того ублюдка он сделал. Они напали из облаков; он долго играл с ними в прятки, но потом набрал высоту и зашел им в хвост. Нажал на пимпочку и выдал им по полной, как требовали те суровые времена.

Но он уже терял высоту и падал. О, господи свинцовое грузило и то бы так вниз не шпарило. Врезался в соляные кусты, отскочил. Успел вылезти до того, как самолет загорелся. Лежал в сухом русле, кругом свистел песок и их пули. Потом стало тихо. Он был живой.

Иногда ему все еще приходилось напоминать себе, что он на свободе. А может, и нет? Стул, на котором он сидел, норовил его скинуть. Свирепые птицы, напавшие на своего, оставили за собой вонь, которую он раньше не ощущал. Надо вернуться в дом. Если посидеть в темной комнате, может, и полегчает. Хорошо, что никто не видел. Такого ужаса он не испытывал уже много лет.

Олив Дейворен смотрела, как ее муж тащит стул на веранду, прочь от улетевших в парк какаду. Она не знала бы, что для него сделать, даже если бы они еще разговаривали. Никогда толком не знала своего мужа.

Тим Гудено наблюдал за событиями из-под гибискуса. Старикан испугал птиц, но и сам испугался, ясное дело. Страшновато это, когда старики пугаются. Особенно если ты уж было совсем решился провести всю ночь в парке, чтоб себя испытать.

Вскоре вся округа задалась вопросом, что сделалось с какаду. Уже несколько дней те, в чьей жизни птицы играли какую-то роль, не видели ни одной. Не стало больше воплей на рассвете, возни на шпилях и трубах.

Не в силах больше этого выносить, мисс Ле Корню пошла к миссис Дулханти, которую недо-

любливала, и крикнула ей в окно:

— Как вы думаете, куда они делись?

Жившая над гаражом миссис Дулханти перестала расчесываться и посмотрела вниз.

— Да потравил он их, Фиггис, — громким шепотом сказала она.

— Не мог же он отравить всю стаю!

— Не знаю. — Миссис Дулханти скинула вниз комок серых волос. — Но люди так говорят. Фиггис злился, потому что они ему всю магнолию ободрали.

Интересно, кого поддержала бы миссис Дулханти, если раскрыть ей все карты.

— По-моему, там осталось достаточно листьев, чтобы обеспечить уединение по обе стороны изгороди, — не слишком находчиво ответила мисс Ле Корню.

Сама миссис Дулханти хорошо знала, за кого она. За себя, вот за кого; нечего соваться в чужие дела. Поэтому она поджала губы и повторила:

— Не знаю, так все говорят. — Она отошла от окна и стала чистить расческу, а мисс Ле Корню пошла обратно к себе, надеясь, что никто из Дейворенов ей не встретится.

Дейворены переживали исчезновение какаду тяжелее всех остальных. Они слонялись по

коричневому линолеуму своих темных комнат, чудом избегая встреч. Горе Олив усугублял запах увядших хризантем, застоявшихся в вазах. Требовалось срочно выбросить их. Наметив на пятницу большую уборку, она забыла, чем ей это грозит, и столкнулась с Миком в самом темном углу дома, у чулана, где хранились подметальные щетки и пылесос.

Несмотря на темноту, она различила позабытый, как ей думалось, цвет его глаз. Он вспомнил, как у нее дергается щека — из-за этого, помнится, он ее и пожалел. Щека и раньше была желтоватая, а потом, когда они перестали разговаривать и начали переписываться, пожелтела еще сильней.

Они поймались в ловушку около чулана, где, понятно почему, всегда пахло пылью.

Первой заговорила она, сказав:

— …какаду?

Он сделал шажок вперед.

— Фиггис отравил их. Так все говорят.

И они начали пробираться по незнакомому лабиринту, натыкаясь на мебель. (Она ненавидела синяки, которые под конец приобретали цвет сваренных вкрутую яиц.)

— Кто еще мог это сделать? — спрашивал он.

— Не знаю. Может, иностранцы. Югославы вон

уток стреляют в парке — не слышал ночью?

Он перестал думать об этом. Лежа на кровати, они пытались утешить друг друга; память неслась скачками, как сарабанда, и они продирались через нее вместе и по отдельности. (Не задушили ли они свою любовь еще при рождении — не родилась ли она, хуже того, уродцем?)

Синяки на ней еще не проступили, да это и не имело значения, они ведь не раздевались. Он говорил что-то о своей матери — должно быть, темное платье ему напомнило. Она вдруг устыдилась того, что ее длинные пальцы утратили чуткость — та ушла вместе с музыкой, которую вернули ей какаду.

— А может, это газовщики? Которые трубы промывают. Один мне сказал, что нужно горелки сменить на плите, обещал прийти и поставить.

— Не очень-то ему верь.

— Почему это?

— Уж больно предупредительный.

Они рассмеялись, губы к губам. Он гладил ее руки, которые стали, по ее мнению, бесполезными — а может, были такими всегда.

Они, вероятно, вздремнули и даже про какаду позабыли бы, если б не сумерки за окном. Птицы прилетали всегда в это время. Дейворены вскочи-

ли как ошпаренные и побежали в мятой одежде насыпать им семечек.

И какаду прилетели, расселись на эвкалиптах в саду. Сидя тихо, они слились бы с листвой, но они копошились, ломали прутья, кричали, будто просили о чем-то — один даже что-то выговорил, похоже.

— Где ж они были? — вскрикнула Олив.

— А я почем знаю! Уоронора — Вайонг — Булла-Булла — Монаро!

Дейворены притащили стулья и приготовились к спектаклю. Птицы, то ли прирученные, то ли сильно оголодавшие, слетели вниз. Их перышки, даже желтые хохолки, лежали гладко, спокойно.

Дейворены молчали лишь потому, что в этом новом молчании им открылся дар речи. Один раз он тронул ее за руку показать что-то и без того понятное. Она едва дышала от страха, что ее любовь напугает его; надо сделать вид, что она просто ему благодарна.

Каждый боялся чего-то своего, но тут из-за гибискуса, который она так и не собралась подстричь, появилась причина для реального страха — Фиггис. С ружьем.

— Ты, ненормальный! — заорал Дейворен, оправившись от первого шока. — Только извра-

щенец додумается стрелять в какаду!

— Они опасны для общества! Дырявят крыши, срут на дорожках, ломают деревья, мешают налогоплательщикам спать!

Прокричав это, Фиггис выстрелил. Птицы уже взлетали белым фонтаном, распадающимся на отдельные струйки, только двое бились и дергались на траве.

Тим Гудено всё видел, и это было ужасно.

Он видел, как Дейворен бежит с пригорка совсем не по-стариковски, размахивая руками.

— Убийца!

— Я не из тех, кто пренебрегает гражданским долгом, — заявил Фиггис и прицелился снова.

Целая куча ребят повисла на парковой ограде, чтобы лучше всё рассмотреть.

Фиггис выстрелил бы еще раз, с него бы сталось, но по улице к нему бежала мисс Ле Корню, а Дейворен поспел еще раньше. Двое мужчин сцепились, и между ними крутилось ружье.

Оно выстрелило.

Женщины закричали, дети захихикали.

Дейворен лежал, глядя в небо глазами тихими, как стоячий пруд. Текла кровь.

— Идиот! — крикнула мисс Ле Корню непонятно кому.

Они с миссис Дейворен, стоя на коленях, сначала пытались то ли поднять, то ли забрать себе Дейворена, а потом стали просто гладить его. Как будто помогали уйти уходящей из него жизни. Иногда их руки сталкивались, но они, одинаково бледные, продолжали свою работу.

— Скажи что-нибудь, — просила миссис Дейворен. — Дорогой? Муженек?

(Бедная моя привычка! Ты всё поймешь.)

Тим обрадовался, когда пришел его отец и начал распоряжаться. (В этот день недели папа не демонстрировал свой варикоз.)

Фиггис отказался сдать оружие — сказал, что дождется полиции. Он сидел на бордюре с ружьем, и у него немного слюни текли.

Какая-то малявка подняла вой.

Какой ужасный случай, говорили женщины.

Приехала полиция и «скорая помощь».

— Смотрите! — крикнул кто-то из ребят.

Чуть дальше по улице с полдюжины какаду расселись на столбе и на проводах. Взъерошенные, еще напуганные, они подставляли грудь ветру. Противного серого цвета, точно куры, вывалявшиеся в золе.

Полицейские забрали ружье у Фиггиса и посадили его в фургон.

«Скорая» увезла мистера Дейворена — то есть его тело, наверно.

Ах, причитала миссис Дулханти. Хватит с нее, она поедет в Эшфилд, к Богоматери Снегов. Знакомая монахиня обещала о ней позаботиться.

Всё было кончено.

Только миссис Дейворен, мисс Ле Корню и дети еще не верили в это. Но потом обе женщины осознали, что остались с пустыми руками, и их увели, дрожащих, в разные стороны.

Тим Гудено вспомнил про мертвых какаду. Ему пригодились бы их желтые хохолки, но кто-то уже подобрал их — как сувенир или чтобы похоронить.

В наступающей темноте казалось, что трава ядовитая. Он завыл бы, как сбитая машиной собака, если б не увидел, как красиво блестит лужица чужой крови. Его радовало, что папа, по-прежнему на высоте, приказывает всем разойтись.

Время идет — лучше и сказать невозможно. Фиггиса осудили за убийство по неосторожности, об убитых какаду речи не было. Одни говорили, что Фиггиса увезли на север в Тари, на попечение родственников, другие авторитетно утверждали, что его упекли в психушку, куда ему и дорога.

Тим Гудено считал психушку более вероятной.

Послушать маму с папой, так психов кругом полно — хорошо еще, что не всех знаешь.

Накануне своего девятилетия он решил осуществить план, который вынашивал уже несколько месяцев: испытать себя, заночевав в парке. На днях он начертил перочинным ножиком крест на левой руке, с внутренней стороны, и не поморщился даже — ну, разве чуть-чуть. Значит, и ночь в парке провести сможет.

Выберется из дома, когда его спать отправят, и постель помнет, как будто в ней спал. Возьмет провизию на случай, если проголодается, и ножик свой для защиты.

Когда дошло до дела, о провизии он забыл: очень уж старался уйти так, чтоб не слышали. Папа на ночь выпил пива, мама шерри, чуть больше нормы. Им стало не до него, и он благополучно пролез сквозь прутья ограды в парке.

Сначала он пошел к ливневому желобу, где нашел череп, который хранил в гараже. Миссис Дулханти говорила, что там спят бомжи — удивительно, что их не смыло еще, как крыс. Желоб выходил к австралийскому баньяну, и Тим стал стучать по нему. Луна, немного на ущербе, напоминала устричную раковину.

Он продолжал стучать — получалось гулко.

Миссис Дулханти говорила, что в желобе постоянно сидит человек и стучит. Он не псих — так он дает знать редфернским ворам, кто из жителей в кино ушел и оставил дом без присмотра. Сигналы им подает. А вдруг и он, Тим, бандитским кодом что-то выстукивает? Еще вломятся к ним домой, пока папа с мамой занимаются этим. Или убьют миссис Дулханти, которая еще не уехала к Богоматери Снегов.

Он вылез из желоба и ушел из парка на улицу, где поставили фонари, потому что некоторые леди боялись, что на них нападут — больно они кому-то нужны. Для компании он вел по ограде палкой.

Многие дома были темные, как раз для воров, но у миссис Дейворен в одном окне горел свет — в спальне, наверно. И у мисс Ле Корню тоже. У Баз. (Ее все так зовут с тех пор, как папа нашел ее имя в списке избирателей.)

Он шел медленно, чтобы дольше не уходить с улицы. Успеет еще насидеться в чертовом парке, вся ночь впереди.

Миссис Дейворен, лежа в постели, смотрела, как балансирует луна на верхушке черной пирамиды, которая днем превратится в каменный дуб. Она не боялась жить одна. Никогда не будет

бояться. Никакой причины для страха.

Она поглаживала подушку, где его голова давным-давно не лежала. Он лег головой на мостовую. Она не плакала — отодвинулась далеко, как партита Баха, которую играла для какаду до того, как лопнувшая струна их спугнула.

Хотелось бы ей знать, как справляется с горем Она. Мисс Ле Корню.

Базби Ле Корню, лежа в постели и глядя на луну, запутавшуюся в араукариях, справлялась лучше некуда: она приняла и стимулянты, и седативы. Но умирать не собиралась — ха-ха.

О желтолицей женщине чуть дальше по улице она вспоминала не часто — они ведь видятся иногда, ей хватает.

«Ну, как вы, дорогая?» — спросит, войдя, миссис Дейворен.

«Ничего, спасибо. А вы?» — Базби ответила не так, как от нее ожидалось, но тут ведь, в общем, не знаешь, чего ожидать.

Они идут наверх, взявшись за руки. У Олив ладонь жесткая при довольно тонком строении кисти.

«Надо вам поближе познакомиться с тем, что пишут на стенах», — говорит она.

«Да?» — Нет, Базби ничего на это не говорит.

«Ооо…ооо», — стонет Олив.

Стоя на коленях над ее худеньким телом, Базби крепко, ритмично водит языком по желтому животу. По шраму особенно.

На самом деле они, конечно, сидят в саду, в тени магнолии Фиггиса, ничуть не общипанной. Базби вынесла проигрыватель и собирается ставить пластинку, не столько для Олив, сколько для их исторических какаду.

Олив заходит в дом — в туалет скорее всего, хотя вслух она, воспитанная дочка ростовщика, такого не скажет.

«О, — говорит она, рассматривая конверт, — я так и думала. — Но лицо ее говорит, что Олив всегда хотела бы знать, какая музыка близка им обеим. — Великолепная вещь». — Ее вздох говорит о покорности, с которой она научилась уступать порывам экстаза и мученичества.

Тьфу!

Базби ставит то, что их обеих заводит.

Mi tradì, quell' alma ingrata,
Infelice, o Dio, mi fa…'

поет пластинка, но голос сегодня другой, и какаду не прилетают.

O Dio![48] Олив подается вперед на шезлонге, сдерживая горе, которому могла бы дать волю в случае невезения.

Quando sento il mio tormento,
Di vendetta il cor favella,
Ma se guardo il suo cimento,
Palpitando il cor mi va…

Базби снимает иглу: сегодня она не потерпела бы ни Дона, ни тем более Командора.

Олив уходит, на что Базби и надеялась.

Миссис Дейворен слышала, что мисс Ле Корню музыку «обожает». Лежа одна в постели, она думает, посмели бы они обсудить предмет своего взаимного обожания. Ей бы, пожалуй, этого не хотелось. Она никогда не была, что называется, религиозной, но есть вещи, которые даже в блокноте не напишешь, чтобы их кто-то прочел.

На миг ей померещилось, что Он грохочет чем-то в соседней комнате — но это, должно быть, ее сердце стучит.

Его сердце то грохотало, то сжималось и билось совсем неслышно. Никто из тех, кто спит в этих

---

[48] Примечания: 48
О, боже (*ит.*).

темных домах, не проснется, чтобы спасти его от грядущих ужасов. Ему уже не верилось, что он решил испытать их по собственной воле: это решилось помимо него. Так бывает, когда даже родителей, хотя они совсем рядом, позвать нельзя: они говорят про цены на мясо, про налоги, которые могут поднять, про утечку и газовую компанию. Или ругаются, или трахаются.

Он снова пролез между прутьями в парк. (Будь он чуть потолще, не пролез бы, вот всё бы и отменилось.)

Сначала он пошел к озеру, где кричала лысуха — хоть кто-то живой. Хотя, если по правде, как раз ночная жизнь его и пугала: алкаши, извращенцы, лишаистые старухи со спущенными чулками.

Луна светила ярко. Это должно было придать ему храбрости, но на самом деле он сознавал, что убежать в случае чего не удастся. Деревья махали сами собой. На краю озера сверкала стальная стена тростника. Вот она, голая правда, знакомая по мыслям, которые лезут в голову непонятно откуда. О разных зверствах. О смерти.

Лучше вообще не думать. Он начал было напевать и замолк: услышит еще кто не надо.

Озеро, которое он днем знал тихим, бурым,

довольно скучным, искрилось под луной, словно иней. Он сунул руки в карманы и с облегчением нащупал там нож. Луна временно задернулась облаком, вода стала свинцовой. Что это, труп? Да, к тому же голый — плавает лицом вниз, загороженный тростниками. Тим тихо застонал через нос и крутнулся на месте. Здоровый труп, пухлый — женский, поди. Еще хуже.

Голую женщину он видел всего один раз, когда Баз Ле Корню вышла в сад нагишом, а он как раз залез на магнолию Фиггиса, чтобы за какаду последить. Если гуляешь голой в саду, всего в паре шагов от улицы, тебя запросто убить могут. Или ты такая чокнутая, что сама себя можешь убить. Баз Ле Корню!

Рассказывать, конечно, необязательно. Никто не узнает, что он это видел, но надо же самому посмотреть. Тим потыкал палкой в одну из выпуклостей. Ничего не поймешь — дохлятина и дохлятина. Луна вышла из-за облака, и труп позеленел — долго уже, значит, плавает.

Он ткнул еще раз. Труп качнулся и выплыл на открытое место. Старый надувной матрас — то ли выкинул кто, то ли доставать поленился.

От облегчения Тим даже чуть-чуть описался, и в штанах стало приятно-тепло.

Подумаешь, испугался. Это потому, что ночью всё кажется не таким, как на самом деле. В тот вечер, когда Фиггис убил Дейворена и какаду, он не боялся. Чуть не завыл, правда, но это потому, что фокус оказался не понарошечным.

Он пошел дальше. На краю полянки со льном сидел мужчина.

— Тебя как звать, сынок?

— Том.

— Иди сюда, Том, покажу тебе кое-что.

— Что?

Он не хотел ни на что смотреть и прошел мимо, а мужчина долго ругался.

Две женщины устраивались на ночь, обмотавшись газетами. Стоящие рядом большие сумки бросали тень на траву.

— Иди сюда, Дик, — позвала одна. — Как раз между нами поместишься, уютней спать будет.

Вторая засмеялась. Их загорелые лица казались черными при луне.

— Не, мне еще долго идти.

От них даже на расстоянии пахло телом и выпивкой.

— Ну и вали на хер отсюда.

Уходя, он слышал, как они ворчат и шуршат газетами.

Чтобы чем-то заняться, он стал прыгать на камень и с камня. Его тень козлом скакала по лунной траве.

Он подумал, что это глупо, и ему надоело. Не убивают, не насилуют — так и заснешь, чего доброго. Он плюхнулся наземь в зарослях чайного дерева. Так можно подхватить ревматическую лихорадку, от которой чуть не умер дядя Кев в Норавиле.

Он очень болен ему велят лежать тихо чтоб подействовал снежный компресс на лбу не то он умрет но я не стану сестра не могу я ведь живой преступники должны предвидеть последствия, но я не преступник я просто выстукивал даже код не знал они получили твое сообщение будь спокоен, но я невиновен как мистер Дейворен безвинно убитый даже сам мистер Дейворен тебе ничего не скажет спроси его сам если ума хватит это часы посещений он пришел посмотреть что осталось от преступного пациента Я не мистер Дейв так ведь может я еще хуже Дейворен не может говорить он весь забинтован только глаза видны да и они тебя не увидят если ты тоже не но я-то вижу так ведь значит я еще не Дейворен может только скрипеть сквозь бинты не сможет передать сообщение не зная код он уже уходит

от койки преступника топает между другими койками шкафчиками чтобы не наступить на какаду вот тебе лукарство.

Всё блестит.

Наверно, роса выпала. Утро, всюду капли и птички. Огнехвостки — он узнал их по книге, которую мама с папой подарили на Рождество. Склевывают что-то с листьев чайного дерева. Они принимали его как должное, пока он не вскочил вопреки онемевшему телу. Тогда они прыснули во все стороны.

Чтобы избавиться от кошмара, еще не совсем прошедшего, он побежал. Свет клубился вокруг. Вот это так воронка, просто вертушка. Земля под ногами гремела, но держала исправно. Так и обнял бы всякого, кто ему встретится, даже тех теток или мужика, который хотел показать ему свой отросток. Обнял бы и удрал, пока осложнения не возникли. Он сегодня быстрый, как свет. Зиннг! Он запел бы, если б знал что.

В конце концов он пропел свое имя, и оно засверкало в общем утреннем блеске.

Мне девять лет, вспомнил он еще до того, как увидел ЭТО в траве под чайным деревом у озера. И остановился как вкопанный.

Какаду сначала завопил, потом стал поскри-

пывать, ковыляя в мокрой траве. Его что, стая бросила? Может, другие птицы просто стали человека бояться, вот и не захотели, чтобы старый больной попугай им мешал. Но он как-то продержался без них всю зиму.

Тим поворковал над «бедненьким коки», как делала его мама по случаю болезней и старости, но тут в нем внезапно зародилось желание. Он подскочил, ухватился за низкую ветку, повис, отломил ее.

Какаду смотрел на него с полуоткрытым клювом, волоча за собой крыло.

Зачем притворяться — он сдавался, предлагал себя Тиму.

Мальчик посмотрел по сторонам и ударил. Какаду вскрикнул — не столько от страха и боли, сколько потому, что ждал как раз этого — и сжался в комочек.

Тим бил снова и снова. Скоро всё было кончено. Голова попугая, когда он поднял его, болталась, глаза затянуло серой кожей.

Оглядевшись снова, Тим достал нож и снял с него скальп, как индейцы в книжках. Крови вышло совсем немного, и желтый хохолок лег на его ладонь.

Тим пошел было прочь, но вернулся, взял тушку

и бросил в озеро, которое понемногу загоралось и парило.

Он несся прыжками, бежал трусцой, снова мчался. Хохолок грозил упорхнуть, и Тим зажал его в кулаке.

Выкинуть бы эту штуку, но она теперь вроде как прилипла к нему. Хохолок шевелился в клетке из пальцев; когда Тим осмеливался взглянуть, у него билось сердце и дыхание делалось стонущим.

Вот он, его талисман!

Он пробежал еще немного и вышел из парка через ворота. Он никогда бы не открыл, что таилось в нем и хотело вырваться, если б не пошел туда ночью.

Мисс Ле Корню стояла у калитки, опершись на нее. Будь она больше похожа на тех, кто ведет упорядоченную жизнь, могла бы подмести тротуар перед домом, но поздравляла себя с собственной «нестабильностью», как выразились бы подобные люди. Привычка не по ней, хотя порой и хочется ее завести.

Из одного глаза выкатилась слеза, но мисс Ле Корню ее тут же вытерла, потому что в одном конце улицы показался маленький Гудено, идущий из парка, а с другого приближалась Она.

После события, изменившего жизнь их обеих,

мисс Ле Корню постоянно следила за миссис Дейворен и несколько раз порывалась заговорить с ней — но не решалась, вспоминая соприкосновения их рук и ненадолго разделенное горе. Кроме того, миссис Дейворен, судя по всему, наслаждалась своим вдовством. Зимой она купила себе малолитражку и научилась ее водить. Купила котиковую шубку. Как будто получила наследство от покойного мужа, хотя все знали, что деньги всегда были ее.

Вдова и сейчас была в шубке, но машину оставила в гараже.

Мисс Ле Корню стиснула не слишком чистые руки, остро сознавая, что джинсы у нее порвались (да еще в паху).

— Чудесный день, миссис Дейворен, — сказала она. Соседки они, в конце концов, или нет?

Миссис Дейворен признала, что день чудесный.

Встреча с мисс Ле Корню во плоти после всех воображаемых разговоров нервировала ее. Она часто думала, что при встрече с Ней непременно заговорит о музыке, но сейчас, к счастью, вовремя прикусила язык и сказала твердо:

— Но позже будет довольно жарко.

— Особенно в шубке, — не удержалась мисс

Ле Корню.

Этого миссис Дейворен не ждала.

— Да, — пролепетала она, чуточку брызнув слюной, — но мех, он, знаете, успокаивает… даже в жару.

Мисс Ле Корню ухмылялась до ушей. (Не будем забывать, что Базби сумасшедшая.)

— Да, шкурки отлично подобраны, очень красиво. — Милость провидения помешала мисс Ле Корню добавить «жаль только убитых животных».

Но миссис Дейворен, вероятно, услышала именно это. Боль, отразившаяся на ее желтом лице, застряла у мисс Ле Корню в горле, как зоб.

Всего на одно мгновение — потом их глаза прояснились. Свет струился потоками вокруг них. Облегчение было громадным.

— Вот, собралась прогуляться в город с утра пораньше, — сказала миссис Дейворен. — Пройтись по магазинам, пока там пусто.

Она делала это не реже раза в неделю, выбирая что-то и снова откладывая.

— Удачных вам покупок, — пожелала мисс Ле Корню.

Миссис Дейворен проследовала дальше с этим напутствием, и мисс Ле Корню не удалось ничего

больше крикнуть ей вслед, потому что маленький Гудено как раз подошел.

— Ты где был, Тим? Посмотри на свои ботинки!

— Трава мокрая, — буркнул он.

И повезло же напороться на Баз Ле Корню.

Мокасин на ней сейчас не было, ей нравилось ходить босиком по мху. Задержать бы этого мальчика, показать ему что-нибудь — надо только придумать, что.

Но он уже прошел мимо. Левое его плечо выглядело как вывихнутое из-за чего-то, что он бережно нес в руке. То, о чем никто не должен был догадаться, а увидеть тем более.

Он мог бы еще это выкинуть, но оно уже вросло в него вместе с чувством вины.

У Дейворенов шторы задернуты, но это ничего не значит — здесь всегда так.

С покойным Тим разговаривал только раз. Дейворен читал у калитки подобранную с дорожки газету и сказал, что война началась.

«Всегда думал, что захочу повоевать, если начнется еще одна. — С Тимом он заговорил, как с любым случайным прохожим. — Война сближает людей, знаешь ли».

«Да? — проблеял Тим, чувствуя, что ирландец не видит его в упор. — А вы убили кого-нибудь на

войне, мистер Дейворен?»

«Убил ли? — Тут он все-таки посмотрел — не видя. — Да, пожалуй. Несколько человек. Можно и так сказать».

Казалось, что утро колеблется вокруг них.

Этим утром, когда весы тоже колебались, он первым делом зашел в гараж, открыл старую аптечку за рулонами ковролина и металлической сетки и сунул в темноту хохолок. Другие свои талисманы он не стал трогать. Захлопнул дверцу. Может, он никогда больше ее не откроет, но она все равно откроется. Уже открывалась, у него в мыслях, сама по себе.

В кухне на него пахнуло завтраком и другими вещами.

— Что-то ты рано, и причесался к тому же! Что это с тобой, Тим?

Он правда намочил волосы и пару раз махнул по ним щеткой. Челка липла ко лбу.

— Ради дня рождения, да? Ну кто бы мог подумать! — Она надвинулась и прижала его к своему фартуку. Он ненавидел это: щека сплющилась, плечо вообще как у горбуна. Она чуть не придушила его, но вырываться не полагалось, и перед глазами стояло — видение? раньше они не посещали его — размытое белое пятно с серни-

сто-желтым мазком в середине.

Удовлетворившись наконец, она его отпустила.

— А папа вот припозднился. Вручим тебе подарок, когда он побреется, папа достал его с великим трудом. Знал бы ты, Тим, как много ты для него значишь. Он так гордится тобой.

Он ел овсянку с комками и со всем этим утром, когда горе нахлынуло на него с новой силой. Он чуть не заплакал, когда она открыла духовку, где пекся торт. Да и заплакал, в общем, но сдержал себя — так, пару пузырей из носу пустил.